ИВАН ШАМЯКИН

Атланты и кариатиды



Иван Шамякин

АТЛАНТЫ И КАРИАТИДЫ

Роман

Перевод А. Островского

I

Улица встретила неприветливо. Северный ветер резанул по лицу первым зарядом снежной крупы — коротким, как автоматная очередь. Изодранные ветром, стылые до свинцового блеска тучи стремительно неслись над городом, казалось, совсем низко — над крышами, над мачтами искусных литых светильников. Кстати, светильники эти сконструировал он, Карнач, и немало испортил крови и себе, и Аноху, и кой-кому еще, пока добился, чтоб завод взял заказ на их отливку.

В просветы меж туч смотрят звезды, по-зимнему яркие. Даже светильники, которые здесь, у подъезда дворцу льют на асфальт столько белого бестеневого света, не ослабляют яркости звезд. Летом тут, у фонарей, звезд почти нельзя разглядеть.

Ветер срывал последние листья со старых лип и молодых каштанов и гнал их от сквера к гранитной лестнице главного подъезда. Днем шел дождь, опавшие раньше листья примерзли к асфальту, а те, что слетали сейчас, подсохли на деревьях и с шорохом катились через улицу в поисках затишка.

Обычно после таких больших собраний кто-нибудь предлагал поужинать, и набиралась большая компания, которая сперва шумела в ресторане, а потом закатывалась к кому-нибудь домой — у кого жена поласковее и терпимее относится к ночным визитам.

Сегодня никто его не пригласил. Одни прошмыгивали мимо, будто бы не видя, другие торопливо прощались, вежливо касаясь пальцами шляпы. И Максим еще чувствовал, как странно и непривычно ослабели ноги, когда спускался со сцены после самоотвода. Противное ощущение. И на миг как бы остановилось сердце, когда увидел, как дружно взлетели вверх руки — лес рук. Взлетели, казалось, с радостью, мстительно. Да, могли и мстить, особенно те, кому очень хотелось попасть в высокий орган, кто считал, что его незаслуженно

обошли. Такие могли подумать: нашелся смельчак, цену себе набивает, рекламу делает. Когда объявили перерыв, многие стояли в проходе и пропускали тех, кто шел из первых рядов; его бесцеремонно разглядывали, как, вероятно, разглядывали бы человека, совершившего подвиг или, наоборот, учинившего дебош.

Такое повышенное любопытство нервировало.

Анох, заведующий коммунальным отделом, с которым чаще, чем с кем-либо, приходилось сталкиваться по работе, громко и грубо сказал в фойе: «Тебе не кажется, что ты плюхнул в лужу вот этим местом?» — и хлопнул себя по толстому заду.

Макоед схватил руку, сжал до боли. «Старик, жму твою мужественную руку. Признаюсь, я не отважился бы. Ты победил! Очко в твою пользу!»

А Витька Шугачев накинулся, когда он, Максим, в туалете, помыв руки, причесывался перед зеркалом, любуясь, как хорошо выглядят белоснежные раковины на фоне черного кафеля.

«Прилизываешься, герой? — закричал Виктор, не обращая внимания на людей. — Что ты наделал, цыган ты несчастный?»

«А что я наделал?»

«Ты еще фиглярничаешь? Думаешь, фортуна всегда будет подставлять тебе напомаженную морду? Когда-нибудь она покажет тебе облезлую задницу».

Тогда, после Витькиного взрыва, подумал, что, пожалуй, что-то он сделал не так. Можно бы по-иному: сказать, например, Герасиму до конференции. Нет, не мог он сказать об этом свояку, потому что не знал, рекомендуют ли его. Давать себе отвод, не будучи выдвинутым, смешно, Игнатович мог подумать, что он таким манером напрашивается в состав комитета.

Теперь, когда знакомые проходили мимо, снова

подумал, что своим самоотводом он как бы отдалил себя от определенного круга людей.

Человек легко поддается нахлынувшему настроению, когда свежие эмоции берут верх над тем, что установилось в результате долгих размышлений, многолетнего умственного труда, традиций, обычаев, воздействия постоянной среды. Не раз случалось, что уже на другой день он смеялся над своими вчерашними увлечениями, страхами, выводами или сомнениями, внезапными симпатиями и антипатиями.

Что будет завтра, увидим завтра. А сегодня здесь, под козырьком входа во дворец, на площадке, залитой ярким светом, он почувствовал себя неуютно, одиноко, стало холодно и грустно. Куда пойти? С кем, к кому? Захотелось вернуться назад за стеклянные двери, в теплое фойе, в просторный, темный сейчас зал. Если б можно было, он с удовольствием остался бы здесь, хоть раз один на один со своим творением без комиссий, без шумной толпы — так, как оставался с ним долгими ночами, когда работал над проектом. Тогда он был полный и единоличный владелец дворца. Осмотреть бы не спеша все до мелочей, до деталей: как осуществили строители его замысел, что сделано так, как он представлял еще четыре года назад, когда дворец существовал лишь в его воображении, а что не так, что сделано лучше, что хуже. Но тут же посмеялся над своим желанием. А зачем осматривать? Что он может изменить? Теперь уже хозяин не он, плодами его труда, таланта пользуется множество людей. В этом суть.

Вчера утром он шел сюда не без волнения. Всегда считал, что подлинную радость ему приносит лишь творческий процесс, а не результат его. Однако вчера, как никогда раньше, ему хотелось посмотреть, как примут дворец первые посетители — партийный актив. Конечно, хотелось услышать слова одобрения, может быть, восторга. Посетители приняли просто, как и надлежит хозяевам: нынешний народ не удивишь ни объемами, ни отделкой внешней и внутренней, ни интерьером, ни освещением. А те тонкости, те детали,

которые придают зданию архитектурную неповторимость и ставят его в ряд явлений искусства, не каждый сразу замечает. Нужно известное время, может быть, мнение специалистов, знатоков, и лишь потом придут школьники, студенты, приедут туристы и будут слушать гидов, разинув рты и высоко задрав головы, чтоб разглядеть своеобразный архитрав, фриз, капитель или еще какую-нибудь архитектурную деталь.

Оценки за два дня, пока шла конференция, он слышал разве что такие:

«Ничего домик отгрохали».

«Денег не жалели. Хорошие деньги — хорошее здание. Все нормативы превысили».

Да тот же Анох на вопрос одного из делегатов: «Где такую плиту достали? Импортная небось?» — ответил: «Будет у тебя свояк секретарь горкома, и ты достанешь».

Высказался только один человек — начальник областного управления МВД полковник Курослепов. «Поздравляю... с таким дворцом. Это, — он широко развел руками, оглядывая фойе, — здорово! Москва может позавидовать. Два дня ловлю вас, чтоб поздравить».

Но было это после выдвижения кандидатур, и Максим хорошо помнил, что за два дня сталкивался с полковником много раз.

Дворец комиссия приняла с оценкой «отлично». Но больше говорили о строителях; никто не вспомнил, что все началось с его, Максима, бессонных ночей. Кроме коллег, разумеется. Виктор Шугачев предложил, чтобы на здании была указана фамилия архитектора. С ним согласились, но никто так и не заказал этой дощечки. Не заказывать же самому!

Через много лет историки только из архивов узнают фамилию автора. Подумал об этом и усмехнулся: славы

захотелось! Не в пример некоторым своим коллегам он никогда подолгу не любовался детищем, построенным по его проекту. Чаще, неудовлетворенный и своей работой, и особенно работой строителей, чертыхался, потом, захваченный новым замыслом, скоро забывал и равнодушно проходил мимо своего творения.

Дворец построен лучше, чем все, что он делал до сих пор, поэтому, видно, и любуется он им дольше, и такие странные желания появляются.

Осторожно спускаясь по мокрым ступенькам — мал все же козырек, залетает дождь, — Максим сошел вниз на асфальт. И тут увидел Шугачева. Виктор стоял по ту сторону улицы, под каштанами, с поднятым воротником. Несомненно, ждал его, Максима. Не делегат, он должен был покинуть зал еще перед голосованием, И вот ждет уже полтора часа. Даже издали видно, нос от холода посинел.

Доброе тепло разлилось в груди, как от стакана вина, выпитого на морозе. Стало хорошо и весело. Молодчина, Витька! И если ты опять начнешь кричать и ругаться, черт с тобой, это даже забавно, можно будет посмеяться и подразнить тебя.

Шугачев вышел из тени каштана и, не говоря ни слова, зашагал рядом, отвернув воротник пальто. С мальчишеским озорством Максим решил тоже помолчать — подождать, как, с чего начнет разговор друг.

Виктор сказал:

— Идем ко мне, поужинаем.

Доброе тепло вдруг подступило к горлу сладко-соленым комком, на миг перехватило дыхание.

Максим остановился, повернулся к Шугачеву. Тот, должно быть, догадался, что может услышать что-нибудь сентиментальное, чего они оба не любят, спросил грубо-насмешливо:

— Обо что споткнулся? Не смотри на меня как на балерину, антраша я тебе не выкину!

— Витя! Давай без намеков, — засмеялся Максим.

Какие там намеки. Безо всяких намеков. Шугачев высказал уже свое мнение и может выпустить еще не один залп тяжких и горячих слов. Но он был не из тех, кто машет после драки кулаками. Зачем? Лучше спокойно обмозговать возможные последствия того, что случилось, — вот чего хотелось ему. Он не сомневался, что неожиданный, непонятный шаг Карнача не может не иметь последствий, разумеется, нежелательных, которые не помогут, а лишь помешают им.

Они вышли на центральную улицу напротив большого, на полквартала, залитого светом гастронома.

— Зайдем сперва сюда, — предложил Максим.

— Пожалуй, надо, — согласился Шугачев. — Дома ничего не держим. Игорь, бездельник, прикладывается.

— Родительская наивность. Думаете, вы таким образом убережете его от прикладывания? Ему же не пятнадцать, а двадцать пять.

— Скажи, пожалуйста, все, кого балует судьба, так витают в облаках?

Максим улыбнулся. Они подошли к винному отделу, где в этот вечерний час стояла изрядная очередь, и философствовать тут было неуместно.

— Коньяк? — спросил Максим.

— На коньяк у меня не хватит штанов, — раздраженно и громко сказал Шугачев.

— Я же с тебя штаны не снимаю, — тихо упрекнул друга Максим. Очередь обернулась к ним. С доброжелательными улыбками посмотрели на Шугачева и хмуро — на Максимово новое пальто и шляпу.

Из винного отдела Максим направился к колбасному.

Шугачев, который любил вкусно поесть, нерешительно отговаривал:

— Не надо, Максим. Выдаст Поля и тебе и мне, что ты несешь не только выпивку, а и закуску. Обижает это ее.

— Стареешь ты, Витя.

— Почему?

— Делить начинаешь на мое и твое. Раньше мы делили? Зачем Поле знать детали?

Виктор вздохнул.

— А вообще — стареем.

Молодая женщина из очереди обернулась, оглядела их обоих совсем другими глазами, чем те, в винной очереди, улыбнулась.

Выйдя из гастронома, Максим сказал:

— Никак я не доберусь до этого магазина.

— В смысле?

— Предложить им новый интерьер. Для самообслуживания у них все спланировано бездарнейшим образом. Какой-то чиновник поставил одну-единственную цель — контроль. Все остальное не помогает покупателям и продавцам, а мешает.

— Какой только мурой ты не забиваешь себе голову!

— Какая же это мура, Витя? Это культура города. Эстетика, условия быта...

— Но я в первый раз слышу, чтоб главный архитектор расставлял прилавки.

— Кроме всего прочего, я здесь постоянный покупатель, И я люблю свой город. Равнодушие — примета лености

ума, дорогой коллега.

— Пора торговцам иметь своих дизайнеров.

— Сперва надо растолковать им, что это такое.

— А я ненавижу самообслуживание. Видно, морально к нему не подготовлен. Вот сейчас... Я ничего не купил, а на контроле толстая баба обшаривает взглядом мои карманы. Противно и обидно. Начинаешь чувствовать себя вором. И хочется в самом деле что-нибудь стащить. Когда-нибудь суну-таки в карман банку хрена или горчицы.

Максим засмеялся. Потом подумал, что Шугачев всегда верен своей натуре. Архитектор он не хуже его, может быть, даже лучше, вкладывает в работу всю душу. А вот из-за того, наверное, что, кроме своего проекта, ничего больше вокруг не видит и не хочет видеть, что не хватает ему широты мышления, размаха, а главное — смелости, прописан на всю жизнь в рядовых.

В одном Карнач завидовал Шугачеву — его семье. Подшучивал над его усердием: пятеро детей! В наше время это подвиг. Но любил шугачевских ребят, шумных, веселых, внешне как будто не очень воспитанных, а на самом деле добрых и душевных, как родители. И особенно любил хозяйку. Для Поли весь смысл жизни — в заботе о детях и о людях вообще.

За много лет Максим никак не мог уяснить своего отношения к квартире Шугачевых. Эстет, человек с тонким чувством соразмерности, пропорции, он терпеть не мог плохой мебели, разнокалиберной, неуклюжей, непродуманных интерьеров. Особенно его возмущали разнобой и безвкусица в квартирах коллег, прямая обязанность которых — воспитывать хороший вкус у других.

В квартире Шугачевых мебель была самого низкого качества, устарелых фасонов, собранная с бору по сосенке: заводилась лишняя копейка — покупали новый стол или диван. Три комнаты, в которых жили семь

человек, постепенно загромождались вещами. На шкафах лежали чемоданы, книги, между ними или на них фотоувеличители, чертежные доски, рейсшины, угольники, боксерские перчатки. В узком коридоре на вешалке всегда висело штук пятнадцать пальто и плащей, под вешалкой стояло столько же, если не больше, пар обуви, довольно поношенной и не всегда почищенной. В туалете Максим с опаской поглядывал на двое санок, подвешенных над самой головой, казалось, не слишком прочно. Тут же стояли три пары лыж и две раскладушки.

Проектируя жилье или утверждая проекты, они, архитекторы, ломают голову, как разгрузить квартиры от лишних вещей — вещей сезонного назначения. В собственной квартире Шугачеву ничего не придумать. В их доме нет ни стенных шкафов, ни кладовых, куда б можно было вынести санки и лыжи. Шугачев не раз жаловался на это и ругал своего коллегу — автора проекта дома. А Поля даже перед ним, Максимом, старым другом семьи, каждый раз чувствовала неловкость за беспорядок в квартире, просила извинения.

Но — странно и необъяснимо! — эстет, борец за наилучший дизайн, нигде — ни в собственной, стильно обставленной квартире, ни в богатых гостиничных и санаторных апартаментах — не чувствовал себя Максим так уютно, как тут, у Шугачевых. Это путало все представления, сложившиеся в результате поисков оптимальных архитектурных дизайнерских решений, которые должны украшать человеческую жизнь. Что же, в конце концов, ее украшает, черт возьми? Мебель? Картины? Оригинальный интерьер? Чистота? Или этот вот кавардак?

Только Шугачев сунул ключ в замочную скважину, как за дверью радостно закричали:

— Мама! Папка пришел!

— Узнает по почерку, — довольно засмеялся Шугачев. — У всех взрослых есть ключи, но меня Катька ни с кем

не путает.

В прихожей перед дверью, как на посту, стояла пятилетняя Катя.

Увидев, что отец не один, захлопала в ладошки.

— Максим пришел! Максим пришел!

— Эй, милая, ты с кем побраталась? Надо говорить «дядя Максим».

Но Катька уже подлетала до потолка и визжала от удовольствия на весь дом. Очутившись на полу, девчушка захотела отблагодарить за такую радость дядю Максима. Для этого надо сказать ему что-нибудь приятное, Что? И она вспомнила событие недельной давности и сообщила с радостным блеском в глазах, уверенная, что гостю услышать это — самое большое удовольствие:

— А я видела тетю Дашу! Она ехала в машине.

Максима будто холодной водой обдало. На какой-то миг он даже растерялся. Как принять это наивное, детское сообщение? Спросить: на какой машине? С кем? Когда? Но такими расспросами можно унизить себя перед старшими Шугачевыми.

Странно, выходит, он все еще ревнует? Да нет, давно уже он не ревновал. Да и повода не было. Причина в другом,

Хозяйка вышла из кухни, окутанная аппетитным запахом, увидела его мгновенную растерянность, поняла ее и тут же отправила девчушку в столовую, должно быть, испугавшись, что дочка с самыми благими намерениями может сказать что-нибудь неуместное.

Обычно Максим был благодарен Поле за ее тонкую женскую деликатность. Но тут ему стало горько. Ранило не то, что Шугачевы знают его тайну. Ничего удивительного. Да и тайны нет. От кого другого он мог

таиться, а от Шугачевых скрывать свои отношения с женой он не мог, да и ни к чему. Наконец, надо с кем-то посоветоваться, А с кем? Разумеется, с Виктором и Полей

Неприятно стало от мысли, что Поля как будто жалеет его. Подумал, что, может быть, поэтому Виктор и ждал его полтора часа у дворца. Максим с благодарностью отзывался на человеческую доброту, но с детства ненавидел, когда его жалели. Неприятно было и то, что Поля уже догадывается, — он в ответ на их доброту как бы обязан рассказать им обо всем. А сегодня ему не хотелось говорить о своей боли ни с кем. Должно быть, он не был еще готов к такой исповеди. На счастье, Катька ничего больше не выдала. Мало ли на какой машине могла ехать тетя Даша! Максим, здороваясь, шутливо обнял хозяйку.

— Меряю, насколько ты пополнела.

— Неправда, я уже худею,

— Мама не ест хлеба, — приоткрыв дверь, сообщила Катька торжественно.

Рассмеялись. Отец погрозил:

— Катя, сколько учу тебя не выдавать семейные тайны!

Естественно, что, родив пятерых детей, последнего в сорок четыре года, Поля располнела. Но это была красивая полнота зрелой женщины. Максим всегда любовался ее руками. Никогда они не знали никаких маникюров, только труд, труд нелегкий, но были на удивление красивы — белые, пухлые, с ямочками, как у ребенка.

— Идите в столовую, — сказала Поля. — Сейчас подам на стол.

Функциональное, как говорят архитекторы, назначение комнат в квартире Шугачевых было весьма условно, потому что спали, к примеру, во всех трех комнатах, но семья твердо придерживалась названий, которые

бытовали в других многокомнатных квартирах: столовая, спальня, детская. «Спальня» одновременно служила хозяину кабинетом и была завалена его проектами. В «детской» спали дети — девочки. Но в другое время младших туда не пускала старшая сестра, студентка, там она портила глаза над чертежами. Шугачевы — династия архитекторов. Сын Игорь — архитектор. И дочка учится в архитектурном.

Максим завидовал товарищу, что тот — неведомо каким способом, какими средствами — воспитал в детях любовь к своей профессии. Это редко случается. У музыкантов чаще. У писателей, художников, архитекторов очень редко.

— Вера дома?

— Дома.

— Занимается?

— Занимается. — Полина почему-то вздохнула.

— Тогда на кухню. Не будем никому мешать.

— Ой, у меня там такое творится! — испугалась хозяйка, но особенно протестовать не стала: ради спокойствия дочки можно и покраснеть за беспорядок на кухне, не беда, Максим свой человек. А может быть, догадывалась, что гостю нравится у них на кухне. Максим действительно любил кухню Шугачевых, тесную, примитивно обставленную и загроможденную всякой всячиной.

Поля первая поспешила на кухню, быстро стащила с блестящей медной проволоки Катькины штанишки. На этой же проволоке в углах висели большие вязанки крупного янтарного лука, поменьше — чеснока и пучки каких-то трав. На кухне пахло всем богатством земли и добрым человеческим жильем.

На плите варилась картошка, кипела, даже крышка подпрыгивала на кастрюле, вырывался аппетитный пар.

У двери на балкон стояла большая бочка, прикрытая чистой скатертью.

— Пока я соберу на стол, вы поработайте. Выкатите бочку с капустой на балкон, а то перекиснет, — сказала хозяйка.

— Удалась? — спросил Максим, зная по опыту многих лет, что капуста у Шугачевых всегда отменная, даже и замерзшая, ведь хранить ее можно было только на балконе.

— Не знаю, как кому, а я ем, и еще есть хочется.

— Что-то тебя опять на кислое потянуло, — без улыбки пошутил Шугачев.

Поля залилась краской, как девочка.

— Бесстыдник ты, Витя!

Максим захохотал.

— А что? Подари, Поля, миру еще одного зодчего.

— Да нет, хватит уже. С этими зодчими замучилась. — Она опять вздохнула.

Чтоб открыть дверь на балкон во всю ширину, иначе бочка не проходила, пришлось отодвинуть шкафчик с посудой. Да и над бочкой, в которой было пудов восемь капусты, покряхтели. Шугачев запыхался. А у Максима тут же возникла идея.

— Послушай. Если этот шкафчик втиснуть между плитой и стенкой? Войдет? — Он прикинул. — Войдет. А холодильник переставить к двери. Тогда стол можно поставить здесь. Будет просторнее и удобней хозяйке. Правда, Поля?

Шугачев почему-то разозлился.

— Пошел ты к черту со своими интерьерами! Надоело. Дизайнер несчастный! — Слово «дизайнер» у Виктора

уже давно стало бранным.

Хозяйка ужаснулась от такого обращения с гостем. Поблагодарил, называется, за помощь, за добрый совет.

— Витя! Ты ошалел! Как можно?

— Да ну его! У меня его идеи в печенке сидят, — сказал Шугачев и пошел в ванную.

— Простите его, Максим, — попросила смущенная Поля.

— Не расстраивайся, пожалуйста. Что я, Витьки не знаю? Или впервые слышу от него такие речи?

— Перемываете косточки? Но не забудьте высушить! — уже весело крикнул из ванной Шугачев и, хлопнув дверью, пошел в комнату к детям, которых хозяйка выгнала из кухни, когда выкатывали бочку.

— Вы же знаете, какой он консерватор! Сколько я воюю, чтоб заменить кое-что из мебели. Люди беднее нас гарнитуры покупают. А он ни в какую. У него, видите ли, принцип, — она снова вздохнула и пожаловалась: — Трудно мне с ними, Максим. Каждый со своими выдумками. Верочка такая общительная была. Помогала мне и все институтские новости рассказывала. А теперь… Будто подменили девочку… Недели две уже. Замкнулась. Никому ни слова. По ночам плачет… Я ведь слышу. Может быть, вы, Максим, поговорили бы с ней. Она вам доверяет. Другу семьи дети иной раз расскажут то, чего не скажут родителям.

— А что, если я это сделаю сейчас?

Полина благодарно улыбнулась.

На его стук в дверь Вера ответила не сразу. Через минуту открыла и как будто удивилась, хотя, конечно, слышала его голос.

— Вы? Простите. А я думала, Катька дразнится. Все не дает покоя.

— Добрый вечер, Вера.

— Добрый вечер.

— Можно войти?

— Пожалуйста.

Следом за ним вошла и Катька.

Вера взяла сестру за воротник и довольно невежливо выставила за дверь, повернула ключ.

Катька протестовала, стучала в дверь кулачками. Но вскоре затихла — мать молча увела ее на кухню.

Вера, видно, лежала до его прихода, потому что покрывало и подушка на диване были смяты. Там же валялась раскрытая книжка. На столе к чертежной доске приколот чистый лист ватмана.

Максим поднял с дивана книгу. «Дым» Тургенева.

Вера опустила глаза, как будто ее застали за чем-то недозволенным.

Максим подошел, положил руку на ее острое плечико. Девушка съежилась и еще ниже опустила голову.

— Вера! С самого твоего детства мы с тобой друзья. Правда?

Она чуть заметно кивнула.

— Мне будет горько, если с твоим повзрослением придет конец нашей дружбе. Это не самое лучшее — запираться от близких, от друзей.

— Я запираюсь от Катерины.

— Вера, не хитри. Посмотри мне в глаза.

Она подняла голову, посмотрела на него, попыталась улыбнуться.

— Боже мой! Что с тобой?!

— А что? — испугалась Вера.

— Почему столько печали? Из-за чего? Какая беда стряслась?

Ясная, прозрачно-лазурная глубина вмиг затуманилась слезами. Девушка прижала к глазам пальцы, будто испугавшись, что слезы вот-вот брызнут фонтаном.

— Что случилось, Верунька? — тихо, очень ласково и мягко спросил Максим. И девушка, уткнувшись лицом ему в грудь, прошептала:

— Беда, дядя Максим.

Он не спросил, какая беда. Не спугнуть бы этого птенчика. Ждал. Раз начала, доскажет. Да, нелегко ей было решиться на такое признание, хотя, наверно, скрывать было еще тяжелей. Надо было преодолеть и страх, и стыд.

Снизу глянула ему в лицо уже сухими и горячими до лихорадочного блеска глазами.

— А вы... вы не скажете нашим?

— Ты же знаешь, я из разговорчивых, но умею и молчать.

Вера поднялась на цыпочки, должно быть, хотела дотянуться до уха, не дотянулась, прижалась к шее и не прошептала, нет, Максим не услышал — почувствовал кожей, сонной артерией, как из горячих губ ее вырвались слова:

— У меня... будет... ребенок...

Так просто было догадаться! Какая еще могла случиться беда с восемнадцатилетней девушкой? Но — странно! — если б у Максима были не минуты, а часы и дни на размышления о Вериной тайне, он, вне всякого сомнения, припомнил бы сто человеческих бед, но об

этой не подумал бы, как, наверно, не подумала и мать. Он знал Веру с пеленок, и она все еще оставалась в его представлении ребенком, девочкой.

Максима охватило странное чувство — какой-то страх перед ответственностью за чужую судьбу. Он испытывал его разве что на войне, когда вел разведчиков в тыл врага. Сразу отступили собственные беды, показались мелкими и ничтожными по сравнению с тем, что переживало это юное, беспомощное существо. Можно себе представить, как у нее наболело, если она отважилась признаться ему, мужчине чуть ли не в три раза старше ее.

Вера отступила на шаг и смотрела на него с надеждой и страхом. Он понял, что даже секундная его растерянность может еще больше испугать ее и потушить последний огонек надежды на благополучный, достойный выход из такого положения.

— Он не хочет жениться? — шепотом спросил Максим.

Но Вере показалось, что он говорит слишком громко, она испуганно взглянула на дверь, хотя голоса родителей, ребят доносились откуда-то с кухни.

Максим взял ее за руку, усадил на диван, сам сел на стул напротив, лицом к лицу, как врач перед больной.

— Это тот каштановый красавец?

Карнач читал на старших курсах теорию архитектурной композиции и несколько раз встречал Веру с высоким красивым студентом. Еще тогда он подумал, что у Шугачевой недурной вкус, хотя, правда, и сама она девушка привлекательная — в мать, разве что ростом маловата, особенно рядом со своим другом.

Вера кивнула: он.

— Не хочет жениться?

— Нет, он хочет... Вадим... Он хороший. Но родители... Отец его сказал: женишься, забудь дорогу в мой дом. А

он любит их и не может.,.

— Кто его отец?

— Он живет в Минске. В Госплане, кажется, работает.

— Считай, полбеды с плеч. С плановиками я здорово умею разговаривать. Они ведь должны все планировать. Свадьбы в том числе. Определи меня доверенным лицом, и я все улажу. Договорились?

— Договорились, — уже чуть веселей улыбнулась Вера и, как бы поверив, что есть какой-то выход, спасение, горячо зашептала, все еще опасливо поглядывая на дверь: — Дядя Максим, всю жизнь буду вам благодарна...

— На всю жизнь зарока не давай, дитя мое. Жизнь — дело долгое и сложное. Я одного друга сколько лет благодарил, а теперь проклинаю его услугу. То, что когда-то было добром, стало злом.

— Вам причинили зло? — сочувственно и встревоженно спросила девушка, готовая, в свою очередь, броситься на помощь.

Но за дверью загремел Шугачев:

— Максим! Где ты? Картошка стынет!

Полина смотрела на него, как смотрят на профессора, который только что выслушал ребенка, болезнь которого непонятна и потому страшна для матери. Но «профессор» уверенно поставил диагноз, знает, что смертельной опасности нет, что болезнь не так трудно вылечить, и потому улыбнулся матери весело, бодро: ничего, мол, страшного. И... Полина поверила ему, у нее отлегло от сердца, она успокоенно вздохнула и еще более заботливо стала хлопотать у стола, заставленного по-крестьянски простой, но очень аппетитной закуской — огурцы, капуста, селедка, грибки, жареное сало с домашней колбаской, картошка, над которой поднимался столб пара.

— Что вам еще, мужички?

— Вот теперь я понимаю, отчего пухнет Шугачев. Гляди, можно подумать, что он арбуз проглотил.

Поля засмеялась не столько, должно быть, над бородатой шуткой, сколько потому, что на душе стало легче.

Шугачев между тем разлил коньяк, понюхал.

— Божественный аромат! Пьют же люди! А я на «сучок» только, да и то разве что на троих, могу разориться.

— Витя! Как не стыдно ныть.

— Ладно. Не перевоспитывай ты меня. Поздно. Поехали. За то, чтоб не случилось того, чего боюсь.

— А чего ты боишься? — встревожилась Поля.

— Ты знаешь, что сегодня отмочил этот типус? — хрустя огурцом, прошамкал Шугачев. — Он отвел свою кандидатуру в горком.

— Ну и что? — пожала плечами Поля; ей это не казалось чем-то особенным, прежде, когда учительствовала, она всегда отводила себя на всех выборах, потому что на общественную работу у нее не хватало времени.

— Ну и что? — повторил Полины слова Максим, причем так же искренне и серьезно,

Шугачев бросил на стол вилку и даже подскочил.

— Когда такой вопрос задает моя жена, так для нее нет разницы между школьным месткомом и горкомом партии. А когда ты прикидываешься наивненьким, это меня возмущает.

— Не понимаю, почему тебя испугал мой самоотвод.

— А-а, сам знаешь, что испугал. Да, испугал.

Признаюсь! Испугал, потому что после этого может случиться, что на место главного посадят Вилкина. Макоед — еще не худший вариант. Ты знаешь, к чему свели эту должность в других городах.

— Если стать на голову, то будет казаться, что весь мир перевернулся вверх ногами.

— Нет, врешь. Это ты стал вверх ногами. И тебе ударила в голову...

— Витя! — остановила Шугачева жена, зная, что тот, когда разойдется, не слишком выбирает выражения.

— А я стою на ногах. О, я реалист! Черт возьми, мне легче жилось бы, если б я хоть чуточку был идеалистом. Но я реалист. И не мальчик. Мне шестой десяток пошел. Я знаю людей и знаю обстановку, в которой работаю. Что, скажешь, я плохой архитектор?

— Не скажу.

— Да я не менее талантлив, чем ты!

— Ну и похвальбишка ты, Витя, — легкой, безобидной насмешкой старалась утихомирить мужа Поля. — Лучше выпейте еще да закусывайте. Картошка стынет.

— Наливай, А что я создал за четверть века? Стоящее внимания — лишь в последние пять лет, когда ты после поисков счастья в столице стал главным архитектором города.

— Ты преувеличиваешь мою роль. За тебя. За твой талант.

— Не иронизируй.

— Нисколько. Я совершенно искренне. Будь здоров.

— Черт с тобой. Я выпью и за мой талант Но я пью за тебя, за то, что ты добился, чтоб с тобой считались, с твоим мнением. С твоим и нашим! Чтоб мы не были исполнителями воли архитектурных дилетантов! —

Шугачев опрокинул рюмку, закусил картофелиной, сделал вывод: — Талант требует еще смелости.

— Вот это правда, смелости у тебя никогда не хватало, — как бы с укором сказала Поля.

— Да нет. Детей он делает смело. — Максим пытался обратить все в шутку.

— Случись ему рожать хоть раз, поглядела бы я на его отвагу, — с иронией улыбнулась Поля.

Шугачев на шутку не откликнулся. Слишком большое значение придавал он поступку Карнача и слишком всерьез думал над возможными последствиями.

— Нет, я смелый! Но я смел в воображении, когда сижу за чертежной доской. Однако это для нас, архитекторов, далеко не все. Смелость на практике — вот истинная смелость. Ты смел на практике. В этом твое преимущество над такими, как я. Ты обладаешь пробивной силой. В наше время и особенно в нашей профессии это много значит — уметь пробить, организовать.

— Ты наделяешь меня качествами, за которые бьют. Почитай современные романы.

— Да, неглубокий литератор, послушав Макоеда и даже меня сегодня, написал бы с тебя отрицательный тип. Можно выставить все те качества, которыми я восхищаюсь, так, что ты окажешься отрицательным. Но если б тот же литератор посмотрел на тебя моими глазами, то он увидел бы организатора, которых нам так недостает... — Опрокинув рюмку, которую налила Поля, один, без тоста, без обычного «поехали» или «будь», Шугачев снова вспыхнул: — Черт с ним, с литератором! У меня, как у каждого зодчего, есть славолюбие и самолюбие — желание увидеть свою смелую фантазию осуществленной в натуре полностью, прости, без обрезания. Одна Поля знает, как меня мучает то, что мои дома стареют скорее, чем я. Стареют задолго до технической амортизации. И в этом

повинны не проекты. Дом на Привокзальной так не постареет. Только благодаря тебе мне удалось раза два перенести с бумаги на землю, осуществить в камне, бетоне, стекле свой замысел. Теперь загорелся маяк — Заречный район. Ты представляешь, что это значит и для меня и для людей — построить его таким, каким задумали мы с тобой? Вот почему я не хочу твоего падения. Я эгоист. Думаю о себе.

— Да откуда я могу упасть? — разозлился наконец Максим. — А упаду — невысоко падать, не разобьюсь. Подумаешь, главный архитектор. Кроме умения пробивать, как ты говоришь, которое мне надоело до черта, у меня есть еще что-то за душой — я тоже умею создавать кое-что. И хочу творить, а не пробивать! А я набрался разных должностей и званий, как собака репья, с утра до ночи заседаю.

— Обиделся? — опять успокоившись, спросил Шугачев и, прожевав и проглотив колбасу, добродушно заключил: — Черт с тобой. Обижайся.

— Витя! По-моему, ты пьян! — упрекнула жена, чувствуя неловкость перед гостем и желая как-нибудь незаметно перевести разговор на другое, хотя понемногу и начинала понимать, почему ее Виктор так взволнован. А Шугачев вскинулся опять:

— Нет, ты мне объясни, что случилось. Что это? Отрыжка прежнего пижонства? Так не в том же ты возрасте! Голова закружилась? Отчего?

— Сам думаю, отчего.

— Не прикидывайся дурачком. Ты можешь выйти из многих комиссий, советов, комитетов, где ты иной раз заседаешь без всякой пользы. Но есть такое представительство и такие звания, которые нужны нам не для удовлетворения мелкого тщеславия, не для того, чтоб покрасоваться перед бабами на курорте. Нет, членство в таких комитетах может помочь делать дело, нужное народу. Неужто тебе это надо объяснять?

Нет, это объяснять ему не надо. Откровенность, с которой говорил Шугачев, — свидетельство высшего дружеского доверия. А он, Максим, всегда высоко ценил верность в дружбе. Но слушал он Шугачева неровно — то внимательно и цепко, то с провалами, уходя во что-то другое. В мысли не о себе, о них — Шугачевых. Он думал о Вере. Ее до банальности обыкновенная девичья беда заслонила, отодвинула его собственную драму, кстати, не менее банальную.

«А может, сказать Шугачевым о причине моего самоотвода?» — несколько раз приходило ему на ум, да сдерживала неуверенность: вдруг он сам не до конца понял, что причина именно в этом.

Как-то слабо вязалось одно с другим. Может случиться, что посторонние, даже Шугачев, не поймут и посмеются над ним. Поймет разве что Поля, тут он не сомневался. Если б не Виктор, возбужденный, взбудораженный его поступком и собственными словами, Поле можно было бы все рассказать. Кстати, ей не понадобилась бы длинная исповедь, достаточно было бы нескольких слов: «Худо у нас, Поля», — и она обо всем догадалась бы, поверила и приняла бы к сердцу с душевностью близкого человека. А Виктор может ответить на его признание: «Идиот! Из-за бабы губишь дело».

А может, Поля знает больше, чем он? Не зря же она остановила Катю.

«С кем это она раскатывала в машине, уважаемая тетя Даша? Выходит, мне еще небезразлично. Шевелится еще что-то. Нет, это уже не ревность. Просто не хочется еще и эту пошлость переносить. Между прочим, следовало бы сказать Поле про Веру, хоть он и дал Вере слово. Мать... такая мать, как она, должна знать. Но опять-таки если б без Шугачева. А то этот крикун, чего доброго, тут же наделает шуму. Тогда для Веры это и в самом деле обернется трагедией».

— Ты меня не слушаешь!

— Прости, задумался.

— О чем?

— О чем? — Максим лукаво посмотрел на хозяйку. — Сказать ему, Поля?

Она подхватила шутку, между прочим, уже не новую у них.

— Не надо. Пускай наша тайна помучает Шугачева. Он любит разгадывать чужие тайны, потому что своих у него нет. Чуть появится и тут же вылетит.

— Держите свои тайны под семью замками. Вам же хуже, — вдруг остыл Шугачев и занялся картошкой с капустой.

«И в самом деле хуже», — подумал Максим.

В это время в другом доме два человека тоже обсуждали самоотвод Карнача — Бронислав Макоед и его жена, Нина Ивановна. Все было рассказано и обговорено во время обеда. Но и у телевизора, в затемненной комнате, полулежа в низком мягком кресле, Макоед не столько вникал в сюжет и детали постановки венгерской семейной комедии, сколько думал о Карначе, которому не однажды клялся в дружбе, однако в душе считал врагом, слишком часто стоявшим у него на пути.

Нина принесла кофе. Поставила на столик кофейник и чашки. Макоед любил жить красиво и модно, убежденный: тем, что архитектора окружает, на чем он спит, из чего и как ест и пьет, определяется его художественный вкус. Ему пришлось немало потратить сил, чтоб приучить к комфорту Нину, женщину энергичную, умеющую приспособиться к любой жизни, но стихийную, неэкономную — сколько у нее продуктов пропадало, небрежную — раньше ни одна вещь не лежала, не стояла у нее на месте. Теперь знакомые восхищались вкусом, с каким обставлена их квартира. Интерьер — его область, поддержание порядка — дело

женщины. Но, в конце концов, и в этом его заслуга. Если бы кто-нибудь знал, каких усилий ему стоило «укротить эту дикую кобылку». Хотя вряд ли и укротил. Черт с ней сладит, с этой настырной бабой, из которой не вышел архитектор, но у которой хватило настойчивости написать и защитить диссертацию и занять место заведующей кафедрой. Зарплата у нее больше, чем у него, и поэтому она держит себя независимо. Где же справедливость? Все получила, всему научилась от него, а теперь задирает хвост, даже пытается командовать!

Нина примостилась в таком же кресле по другую сторону столика.

— Они развелись?

— Кто?

— Герои.

— Черт их знает.

— Ты смотришь или спишь?

— Я думаю.

— О Карначе?

— Я дорого дал бы, чтоб знать, что это: проявление его силы или слабости?

— Считай, силы. Карнач — настоящий мужчина.

— Ты знаешь, какой он мужчина?

— К сожалению, нет.

— К сожалению! Не буди во мне зверя, Нина!

— Ах, какой там в тебе зверь! Заяц. Изредка пьяный.

— Ты меня доведешь своими дурацкими шуточками.

— Мне так хочется тебя довести хоть разок! Но до чего?

До чего тебя можно довести? Вот что мне хотелось бы разгадать,

— Ты плохо меня знаешь.

— За двенадцать лет жизни? Не смеши. Притворяйся перед своими коллегами, но не передо мной. Уметь играть — вовсе не значит быть ярким характером.

— Ты себя считаешь ярким характером?

— Не ярким, но бабой с характером, как говорит наш ректор. Про тебя кто-нибудь так сказал?

— Баба с характером, — хмыкнул Макоед.

— Не хмыкай. Когда про меня говорят «баба» — это не укор, не осуждение, а вот когда про тебя так говорят, не думаю, что у тебя есть причина радоваться.

— Тебе поссориться захотелось?

— Нет. С тобой и ссориться неинтересно.

— Не считай мою доброту и мягкость слабостью. Я люблю тебя. А на что не пойдешь, когда любишь.

— Я требую от тебя так мало жертв.

— Нина, не иронизируй, когда я говорю серьезно. Налей коньяка.

— Во-первых, ты уже пил. Во-вторых, я сварила кофе. Сегодня моя очередь, и я честно выполнила свою обязанность, оторвавшись от фильма. Не забывай, что у нас разделение труда. Я не Поля Шугачева.

Макоед не любил Шугачева, но жену его, как и многие другие, ставил в пример. Нина терпеть не могла Полю. За что? Ни разу не объяснила. Но когда однажды Бронислав Адамович стал доказывать, что Поля — идеальная жена, мать, хозяйка, разговор закончился скандалом: Нина разбила дорогую хрустальную вазу, опрокинула торшер.

Его даже испугала ненависть жены к человеку, с которым она не так уж была связана, — обыкновенное знакомство, праздничные визиты. Он потом удивлялся, что Нина не отказывается ходить в гости к Шугачевым и при встречах целуется с Полей.

Макоед вздохнул на слова жены «я не Поля Шугачева». Но даже его сдержанный вздох вызвал у Нины раздражение.

— Грустишь по такой жене?

Он смолчал, потому что чувствовал, что ей все-таки хочется поссориться. Поднялся, достал из серванта бутылку с коньяком.

— Налей и мне.

— А сердце?

— Аллах с ним, с сердцем. Кому оно нужно, мое сердце!

— То, что оно нужно мне, в расчет не принимается?

— Ха! Тебе нужно вовсе не сердце.

— Нина! Ты становишься циничной.

— Тебе просто жалко коньяка. Ты скупердяй, гарпагон. Ты вылизывал коньяк, пролитый на кухонном столе.

— Ну, знаешь! При тебе нельзя и пошутить.

Назло налил ей большой винный бокал: на, мол, пей, чтоб тебя. Себе — «наперсток». Но и это обернулось против него.

— Теперь я вижу, как ты бережешь мое сердце.

В такой ситуации лучше молчать. Но странно, из-за чего, по какому поводу она завелась? За их поздним обедом, час тому назад, была внимательная, ласковая, веселая.

Бронислав Адамович сел в кресло, глотнул из «ампулы»

свой коньяк, отхлебнул кофе. Чтоб перевести разговор, в свою очередь, спросил:

— Развелись?

— Нет. Этот тип похож на тебя.

— Нина!

— Скажи, за что ты так не любишь Карнача?

— Я? Мы с ним друзья и коллеги. Случается, спорим...

— Врешь ты. Ты его ненавидишь. Тебе хочется занять его место?

Терпеть дольше, играть в спокойствие не хватило сил. Он взорвался.

— Хочется! Так же, как тебе хотелось получить кафедру! Сколько человек ты съела?

Нина ответила не сразу. Сказала сдержанно и как бы про себя:

— Это я запомню.

Бронислав Адамович подождал, что еще она выкинет, поглядывал с опаской. Жена молчала, ни слова больше. Он встал и налил себе большую рюмку. Торжествовал победу. Иной раз ненароком бывает прямое попадание. А главное, теперь он знал ее больное место. Настроение сразу поднялось. Кинокомедия, поначалу казавшаяся скучной, захватила внимание, хотя он и отвлекся от сюжета, пока наливал коньяк и парировал удары жены.

II

Максим вышел от Шугачевых поздно. Пошел пешком, чтоб прогуляться. Распогодилось. Высыпали звезды. Ветер утих. Подмораживало. Асфальт подсох. Шаги редких прохожих щелкали, как выстрелы, особенно женские каблучки. Днем они никогда не щелкают, только ночью, на сухом асфальте и к морозу.

Он думал о Вере. Не о самой Вере — о том, как завтра он поговорит с этим каштановым спортсменом. С Вадимом-то разговор будет короткий и простой — он же не против. А вот с его родителями... Смоделировал несколько вариантов разговора с ними — в зависимости от места и от того, как они поведут себя. Если они начнут рассуждать как обыватели... Обосновывая свои удары и контрудары, он воодушевился, начал вслух на безлюдной улице подавать реплики в этом диалоге втроем... Нет, вчетвером. Вадим будет на его стороне, вместе поведут наступление на его родителей.

«Ничего, Верочка, пробьем, спи спокойно. Не таких твердолобых пробивали. Нашлись домостроевцы! Старосветские помещики. Наследства лишите сынка, что ли? От всех ваших аргументов только пух полетит...».

Занятый Верой, Максим уже не думал о собственном гордиевом узле, который вряд ли удастся развязать, придется рубить. Первую подготовку к этому решительному шагу он сделал сегодня. Меньше будет упреков, и не столь высокая партийная инстанция займется его персональным делом, если оно все-таки возникнет.

По ту сторону улицы ярко светились окна его квартиры. Подумал зло, раздраженно: «Устроила иллюминацию среди ночи». И тут увидел Дашу. Фигура ее вырисовывалась в окне спальни. Она стояла перед зеркалом, подняв руки, поправляя бигуди на голове.

Раздражение росло. Только что мысленно боролся с мещанством, пока еще с воображаемыми носителями его. А сам должен опять окунуться в такое же обывательское болото, внешне красивое, стилизованное, но от этого еще более опасное. Чувствовал, что, заведенный сегодняшними событиями, подогретый коньяком, снова не сдержится, скажет что-нибудь, и опять будет ссора. А к чему это теперь, после почти год длящейся отчужденности, холодности, взаимной вежливости, как между субквартирантами, которым волей обстоятельств приходится терпеть друг

друга? Показалось: идти сейчас домой — все равно что в такую осеннюю ночь лезть в трясину, где, кроме сырости и холода, тебя может поджидать и беда. Хотя какая беда угрожает ему? Он уже ко всему готов. А вот она... Он может сказать о своем решении. Интересно посмотреть, что отразится на ее раскрашенной физиономии.

Нет, не сегодня. И не из мести, не из желания полюбоваться ее растерянностью, горем или гневом надо это сделать. Нужно сдержанно, рассудительно, достойно.

Поправив бигуди, Даша стала накладывать крем, старательно массируя лицо, с таким видом, будто от этого зависела судьба человечества. Кто-кто, а Карнач умел распознавать и принимать новое — в архитектуре, в искусстве, в одежде. Не боялся слова «мода». Случалось, ошибался, но никогда не был ханжой. Любил женщин хорошо одетых, с умело наложенной косметикой, с красивой прической. Но Дашино внимание к своей особе перешло все границы. Ее размалевывание перед зеркалом давно уже возмущало, хотя в начале их совместной жизни он сам приучил бывшую деревенскую девушку следовать моде.

Прошел какой-то тип, хмыкнул:

— Подглядываешь за голыми бабами?

Максим сорвался с места, зашагал дальше. Когда миновал свой дом, почувствовал, что вернуться не может. Не может подняться в собственную квартиру, которую когда-то так любил, куда знакомые приходили, как в музей. А теперь все опротивело. До горечи. До сердечной боли. Когда в доме нелюбимый человек, все становится нелюбимым, даже то, что сделано твоими руками, по твоему замыслу.

Вышел на площадь. Город засыпает, а на стоянке такси очередь больше, чем днем. Стоять пришлось долго. Пустые машины проходили мимо, должно быть, шоферы знали, что тут не самые выгодные пассажиры, на

вокзале народ более денежный.

Наконец Максим дождался своей очереди. Назвал адрес:

— Волчий Лог.

Шофер посмотрел на него как на пьяного.

— Деревня Волчий Лог. За Рудней. По шоссе на...

— Знаю. Только я туда не поеду.

— Боитесь? — нарочито язвительно спросил Карнач, чтоб задеть самолюбие шофера.

— Не боюсь, товарищ архитектор, — дал понять, что знает, с кем говорит. — Но кто мне оплатит обратный пробег?

— Я. Хорошо заплачу. Не пожалеете.

Шофер засмеялся. Машина сорвалась с места.

— А вы напрасно бросили со смешком: «Боитесь?» Скажу вам, что и храбриться нечего. Слышали, в Минске таксиста убили? А у меня летом была история...

Максим слушал шофера краем уха, а сам думал о своем.

Когда все началось? С чего?

Была ведь любовь. И было счастье. Как он влюбился когда-то в застенчивую беленькую девушку — студентку университета! Познакомил их Игнатович, Даша — сестра его жены. Игнатович еще учился на последнем курсе механического, но уже два года был женат, Карнач считал себя убежденным холостяком, ему шел двадцать седьмой год. Участник войны, офицер, он только что окончил архитектурный факультет. Почти весь выпуск оставили в столице — строить новый Минск. Тогда уже был утвержден первый генеральный план. Романтически настроенный, горячий, полный энергии и сил, он с утра до вечера, а часто и ночью,

часов до трех (тогда это было в моде), торчал в мастерской. Иногда встречался с девушками. Но о женитьбе не думал.

И вдруг она, Даша, Дашенька, солнце, песня, радость. На некоторое время он даже забыл о своем первом самостоятельном проекте. С нетерпением ждал конца рабочего дня (коллеги видели, как он ежеминутно поглядывал на часы, и подсмеивались), чтоб поскорее встретиться с ней. Водил ее по городу, реже — по застроенной уже и освещенной части проспекта, чаще — по боковым улицам, где так много еще оставалось следов войны, развалин, и рассказывал о будущем города, в котором им жить да жить. Это и вправду была песня, черт возьми, те встречи и его рассказы. Такого города, какой он представлял себе, не построили, хотя совершили, можно сказать, подвиг. Самое удивительное, что тот город, о котором он тогда, два десятилетия назад, рассказывал ей, живет и теперь в его воображении, не постарел от смены стилей, направлений, мод, материалов. Если бы ему предоставили возможность построить совсем новый город, на новом месте, как Светлогорск или Новополоцк, он построил бы тот город — ее город, который он тогда подарил ей. Да, он подарил ей город.

Мелькали новые дома микрорайона, из-за которого он немало попортил крови.

«А Шугачев дарил Поле города?»

С чего же началось?

Первые пять лет их жизни действительно были песней. Он, Карнач, жил, был счастлив любовью, работой, верил в свое призвание и в свои возможности. И Даша верила. Она не очень увлекалась своим преподаванием, она жила его архитектурой. Он покорил ее, заразил своей профессией. Скоро Даша научилась рассуждать о зодчестве так, что даже старые архитектурные зубры не сразу угадывали в ней дилетантку; московский академик весь долгий вечер, проведенный у них в гостях, считал ее коллегой, расточал комплименты.

Очень может быть, на какой-то стадии она сама поверила, что стала знатоком архитектуры и искусства. Должно быть, здесь была его основная ошибка. Надо было научить жену любить ее собственную профессию, любить детей, которых она учила. Надо было воспротивиться ее переходу из школы в мастерские художественного фонда. Но когда это случилось? В конце второго пятилетия, пятилетия нормальной, установившейся жизни, когда окончилась песня и началась рассудительная, чуть скучноватая проза. Даша все свое время отдавала воспитанию дочки. Кстати, первая запомнившаяся ему стычка произошла как раз из-за дочки. Он хотел назвать дочку Татьяной, дать имя своей матери. Даша решительно запротестовала: только Виолетта. В конце концов, это ерунда. Виолетта так Виолетта. Он не стал долго спорить, согласился. Однако поразила недоброжелательность по отношению к имени, которое он предложил, показалось тогда, что даже не к имени — к человеку, к его матери. Но и это он простил: после нелегких родов у женщины могут быть самые неожиданные фантазии, капризы и просто беспричинная раздражительность. Из-за имени она разозлилась еще раз вскоре после того, как девочку записали уже в загсе. Даша услышала, что отец называет дочку не Вилей, как она, а Ветой, и это ей почему-то очень не понравилось. Но тут впервые — странно, что это было в расцвете их счастья — он заупрямился и продолжал называть дочку по-своему. Так она и росла: Виля — для матери, Вета — для отца. Пока была маленькая, во дворе и в детском саду, — Виля, в средних классах школы — Вета, сама так выбрала. Выходит, он победил. Но к этому привыкли и даже в шутку никогда не упоминали, кто тут победил, а кто потерпел поражение. Нет, с Веты не могло начаться, Вета — их счастье. Правда, спорили из-за нее нередко. Сперва спорили, потом ссорились. Девочка не хотела учиться музыке. Мать упорно и настойчиво заставляла ее «развивать музыкальные способности», даже сама научилась читать ноты и — для любителя — очень недурно играть. К ориентированности в вопросах архитектуры прибавились некоторые сведения в

области музыки, что дало ей возможность проникнуть и в музыкальный мир. Максиму поначалу до слез жалко было глядеть, как мучилась за роялем маленькая болезненная Ветка. Казалось, Даша не по-матерински жестоко терзает дочку. Разговоры их на эту тему подчас напоминали ссору. Но, в конце концов, это была обыкновенная семейная жизнь — во втором пятилетии. Даша добилась своего. Во всяком случае, считает, что тут одержала полную победу — Виолетта поступила в консерваторию. Даша хвастает результатами своего воспитания. Гордится. Однажды он имел неосторожность сказать: поступление еще ничего не доказывает, он по-прежнему не очень уверен, что Ветино призвание — музыка. О, что тут поднялось! Какими эпитетами он был награжден! Волосы краснели за нее, женщину, считающую себя всесторонне образованной и интеллигентной. Но это произошло два года назад, когда было уже немало трещин.

Нет, все-таки началось не из-за Веты. Из-за чего же?

Пожалуй, из-за того ребенка, который не появился на свет.

Он очень хотел второго ребенка. Уговаривал Дашу. Обычно разговор этот происходил в постели, в моменты нежности, и Даша смеялась, целовала его и отговаривалась по-своему: «Почему тебе хочется поскорее закабалить меня? Я хочу еще немножко пожить так. Когда же и жить, если не сейчас — Виля подросла, мы устроились, живем в достатке?» О беременности, неожиданной для нее, сообщила ему с гневом, с обвинениями: «Ты это нарочно. Но знай, его не будет», — и решительно объявила о своем намерении сделать аборт. Максим ужаснулся. Просил, умолял Дашу сохранить дитя. «А вдруг это будет сын? Наш сын! Мы возьмем няню. Хочешь, я привезу свою мать?» Нет, никакие уговоры не действовали. Слушать не хотела. Без его согласия, даже не предупредив, пошла в больницу.

Ее поступок перевернул ему всю душу. Он, правда, ходил в больницу (ее не сразу выписали), радовался,

когда она выглядывала из окна, побледневшая, виновато улыбающаяся.

Когда забирал ее, Даша по дороге к машине с благодарностью сжала ему руку, шепнула: «Прости меня». Она стала добрая-добрая и тихая, покорная, прямо как в первый год после замужества. Но доброта ее была какая-то другая, не такая, как раньше. Она на сближала, наоборот, отчуждала как-то. Во всяком случае, Максим почувствовал это в первый же миг, когда в вестибюле больницы почему-то смущенно и неловко поцеловал ее в белую напудренную щеку. Это был совсем иной поцелуй, не тот, каким восемь лет назад он тут же, только с другого, более парадного, торжественного, подъезда встретил ее с дочкой — маленьким свертком, перевязанным розовой лентой, который протягивала ему сестра. В том поцелуе была теплота его любви, нежности, признательности. В этом — обязательная учтивость.

Очевидно, Даша почувствовала его вежливую, тихую отчужденность и ответила на нее неожиданно и довольно странно: удвоенным, утроенным вниманием к своей внешности, нарядам и таким же непомерным, почти оскорбительным требованием его внимания к себе.

Раньше все покупалось как-то само собой, без особых расчетов. Чаще всего он сам делал покупки, особенно когда ездил в Москву, в Вильнюс, в заграничные командировки. Было приятно привозить подарки ей, Бете. Знал женскую психологию и не осуждал ее. Их радость — его радость.

Вскоре после аборта Даша начала требовать у него деньги на обновки, тратя как бы между прочим весь свой заработок. И тогда ему расхотелось привозить ей из командировок подарки. Он явно становился скупее. Одно вело за собой другое. Возникала некая цепная реакция отчужденности.

Начала раздражать ее косметика. Столько времени тратится на ерунду. Налепив на лицо идиотскую маску

из смеси сметаны, яиц, кремов и еще черт знает чего, она может час и два сидеть перед зеркалом. Но он, верно, тоже виноват: у него не хватало прежнего такта, деликатности, мягкости. Он стел разговаривать с ней другим языком.

«Тебе не противно смотреть на себя в таком виде?»

«А тебе противно?»

«Более того».

Ссора.

«Послушай. Для кого ты так мажешься? Если для меня, то говорю тебе совершенно серьезно: мне это не нужно! Ты мне нужна настоящая, а не выпотрошенная и размалеванная».

По-видимому, он ударил по больному месту. Не надо было говорить этих безжалостных слов! Впервые сна рыдала до истерики. И он искренне просил прощения. Простила. Целовались. Взаимное тяготение и та короткая радость, которую давала физическая близость, — единственное, пожалуй, на чем держалось их супружество. Тогда они еще могли запылать страстью через час после ссоры. Существовали какие-то не открытые и не объясненные наукой душевные токи, биотоки, импульсы, которые связывали их. Потом, очевидно, и они оборвались...

...Шофер мешал думать — все время разговаривал. Хорошо еще, что он не вынуждал говорить собеседника, задавал вопросы и сам на них отвечал, видно, был из той категории людей, которые с наибольшим удовольствием слушают самих себя.

— Когда мы перестанем строить конурки? Разве это квартира? Я не говорю уже, что гроб нельзя вынести...

— Сейчас габариты увеличены.

— Да, с гробом уже можно развернуться. Но ведь строим мы для живых... А мне дай простор. Я простор

люблю. Чтоб пригласить гостей, потанцевать у себя дома...

— Танцевальный зал для каждого — дорогая роскошь. Сколько ваших товарищей не имеют квартиры?

— Да у меня самого нет квартиры. Четыре души на восемнадцати метрах. Потому и говорю. Стою в очереди на улучшение. А что мне дадут? Две комнаты, двадцать шесть метров? Нет, если я столько ждал, то дайте мне пожить просторно. Я простор люблю...

...Да, дальше начало рваться самое главное. Почему? Кто виноват? Были бы причины, как у других. Измена, например. В семье только измену нельзя простить. Но ему и в голову никогда не приходило, что Даша может изменить. У нее же, правда, и раньше, в безоблачные дни, прорывалась иногда беспочвенная ревность. Но она не раздражала, наоборот, может быть, даже тешила его, забавляла! В конце концов, это одно из проявлений ее любви. Жена, которая не ревнует, — скучная жена, будничная. Но, оказывается, это проявление любви начинает перерастать в нечто болезненное, уродливое, оскорбительное, что разъедает лучшие чувства, как коррозия металл.

Так случилось у них.

При явной душевной отчужденности Даша каждый раз находила повод, чтоб устроить сцену ревности. По любому случаю. Задержался на работе. Вышел из автобуса вместе с женщиной и разговаривал с ней, хотя она могла быть совершенно незнакомой. Звонил по телефону — она подходила и бесцеремонно прислушивалась, чтобы разобрать слова в трубке. Упаси боже, если женский голос был так слаб, что Даша не слышала его, стоя рядом с ним.

«Почему она шептала? Зачем так прижимал трубку к уху?»

Нет, ревность была более поздней стадией этой невидимой и опасной коррозии. Ревность, пожалуй,

была тем последним, что оборвало нити их душевной и физической близости. Более ранняя стадия сразу после непомерного увлечения косметикой — требование чрезвычайного внимания к себе.

Однажды в гардеробе оперного театра он заговорился со знакомым и забыл помочь ей надеть шубку.

Не застегнув пуговицы, с пуховым платком в руках она бежала по лестнице, расталкивая людей. Он не сразу сообразил, что случилось, и догнал ее уже в сквере на безлюдной, слабо протоптанной в снегу дорожке. Попробовал пошутить:

«Дашок, идешь не в тот бок».

«Пошел прочь! Ты хам! Хам! Хам!»

О, сколько злобы и презрения было в этом слове!

Он набрал в туфли снегу и, однако, должен был часа два ходить по скверу, чтобы утихомирить ее. Ему не хотелось ссориться, более того, казалось низким и оскорбительным поднимать шум из-за такой мелочи. Скажи, пожалуйста, трагедия — не помог одеться! Но в ту ночь его поразило другое. Даша высказала ему все обиды, которые он якобы причинил ей за десять лет жизни. Обид было сотни. Он не помнил и десятой доли, а если что и помнил, то не придавал им такого значения — чего не бывает в семейной жизни! Она помнила все до мелочей, смеху подобных. Она словно регистрировала свои обиды, вела им бухгалтерский учет.

Слушая длинный перечень своих недостатков, какой он эгоист, мерзавец, хамло, Максим впервые тогда подумал, что женщина эта никогда не любила его так же самоотверженно и самозабвенно, как любил он, она играла в любовь, потому и сохранила в памяти всю житейскую шелуху, пену, мусор, потому и занималась бухгалтерией его проступков и семейных неурядиц.

Даша создавала проблемы там, где ни одна жена, не

только такая, как Поля Шугачева, но самая обыкновенная, молодая, глупенькая, не вздумала бы становиться на дыбы.

Так было с его назначением сюда на должность главного архитектора. Пригласил его Игнатович, выбранный здесь председателем исполкома горсовета. В архитектурных кругах должность главного архитектора города и до сих пор иногда невысоко ценится, потому что сидят на этом месте чаще всего нетворческие люди. Он решил доказать, что дело не в должности. Кроме того, он почему-то любил этот город, видел в нем больше, чем где-либо, возможностей для интересных архитектурных решений и в центре, и в новых районах. Он верил в Игнатовича: с таким руководителем можно что-то сделать. А Даша вдруг уперлась: не уеду из Минска. Причина — Вета в музыкальной школе. Не помогали и уговоры ее сестры, жены Игнатовича. Он возмутился и впервые не уступил — уехал один. Как она проклинала его в письмах, угрожала разводом. Он перестал отвечать. Не выдержала, приехала, Но очень похоже, что стала мстить за свое поражение. А он тоже заупрямился и все реже и реже шел первым на примирение. Во всяком случае, не через час после ссоры. Она же подхватила эту тактику и довела ее до абсурда: ах, ты молчишь день — я буду молчать неделю. И молчала. Сначала по неделе, потом по две и по три. У него не укладывалось в голове, как можно, живя вместе, столько времени не разговаривать с близким человеком. Сила воли, черт возьми! Однако на что направлена эта сила воли? Для него, горячего, но отходчивого, ее молчанке было мукой. Читая книгу, ломая голову над новой композицией, он имел обыкновение в паузах высказывать свои мысли, делиться своими замыслами, сомнениями. Так он и делал сначала. Но Даша надувала накрашенные губы и выходила из комнаты.

Особенно его возмутил один случай. По какому-то поводу Игнатовичи собирали гостей. Зван был Сосновский. А у них как раз шла долгая молчанка. Максим думал, что Даша не пойдет. Но, к его

удивлению, как только позвонила сестра, она сразу согласилась. В такую компанию она не могла не пойти. И в гостях она проявляла такое внимание к мужу, такую заботу, что, наверное, не один мужчина позавидовал: везет же архитектору! Красотой, нарядом — есть же у чертовой куклы вкус! — Даша, безусловно, затмила всех присутствовавших женщин. Максим сам невольно залюбовался ею и был рад, что неожиданный случай помирил их. Он танцевал с нею, нарочно — пускай завидуют! — целовал руку. За столом они так нежно ухаживали друг за другом, что, наверное, потом многие жены советовали своим мужьям поучиться у главного архитектора, а мужья, в свою очередь, указывали своим половинам на Дашу: вот идеальная жена!

Каково же было его удивление и возмущение, когда за дверью квартиры Игнатовича Даша снова замолчала — ни слова ему в ответ. Выдерживала срок! Такого лицемерия он стерпеть не мог и дома так разошелся, что она не только заговорила, даже заголосила по-бабьи.

После этого она уже не устраивала столь долгих сеансов молчания. А его отношение к ней перешло в следующую стадию отчужденности, более опасную: тогда оставалось физическое влечение, теперь уходило и оно.

Должно быть, она скоро почувствовала это. Стала приветливой, хотя приветливость эту, как перцем, приправляла подчас иронией. Тогда и он взял иронический тон, легкий и безразличный.

Раньше она восторгалась его новаторством. Теперь его поиски такого, что не повторяло бы построенного другими, она считала издевательством над людьми. Женщина теряла всякую объективность по отношению к своему мужу.

Однако и в это последнее, четвертое пятилетие их совместной жизни, казалось, безнадежно тягостное, бывали просветы: внезапно она тянулась к нему, полная

прежнего огня. Он в таких случаях не отталкивал ее, каждый раз надеясь, что у них что-то изменится, бывают же чудеса.

Но кончалось это примерно так.

«Ты можешь всегда быть таким?» — спрашивала она с девичьим безрассудством.

«А ты?»

Слово за слово, начинался перечень обид, и все летело к дьяволу. А на душе — будто тебе дали конфетку, начиненную отравой. Сперва сладко, а потом гадко до тошноты.

...Ночью в фантастическом свете фар самые знакомые места и предметы не узнаешь. Ездил тут сотни раз и все равно пропустил поворот на Волчий Лог. Опомнился, когда выехали к мосту. Пришлось разворачиваться.

Дорога в лесу была разбитая и грязная. Шофер боялся застрять и три долгих километра плакался:

— Тут среди ночи сядешь — покукуешь. Знал бы, не поехал.

Набивал цену.

Максим отвалил ему плату, не жалея. Парень сразу помягчел. Вглядываясь сквозь белые березы в силуэт темного строения, спросил:

— Один будете ночевать? Не боитесь?

— А чего бояться?

— С доброй бабешкой было бы веселей.

— Да, кабы с доброй. Но где они есть, добрые?

Шофер захохотал:

— Это верно. Счастливо вам.

III

Организовывался в отделах горсовета садово-огородный кооператив. Людей потянуло к земле. Началась садовая лихорадка, «садовый Клондайк».

Максим сперва отнесся к этому скептически, тем более что и Даша фыркнула: «Не думай, что я буду работать у тебя на огороде. Капусты тебе не хватает?»

Но уговорила практичная Поля Шугачева: «Берите, Максим, участок, не пожалеете».

Поля жаждала добраться до земли, работа на огороде была для нее радостью.

За участки шла борьба. За лучшие, те, где мог расти сад, куститься клубника. Организаторы из инициативной группы, когда делили, даже пошли на мошенничество, о котором много судачили потом в кулуарах: номерки на самые выгодные участки остались в карманах у членов комиссии — для себя и для друзей.

Максим не тащил жребия. Он попросил участок с краю, у леса, — крутой косогор, заросший березняком. Никто из членов кооператива не возражал, потому что там не только яблони посадить нельзя, но и грядки под лук невозможно было выкроить.

По примеру многих других кооперативов и здесь не придерживались положения о размерах и формах застройки на садовых участках, мало кто ставил типовой летний домик, все возводили хоть и небольшие, но фундаментально построенные дачи. Старались друг перед другом. Действительно «лихорадка». Забывали про сон и еду, а некоторые и о службе государственной. Разговоры в отделах шли только об одном: кто где достал шифер, трубы, цемент, навоз, кто какие сорта яблок, крыжовника, смородины посадил на своем участке. Все вдруг стали архитекторами, строителями, агрономами.

Максим сперва подсмеивался над этой болезнью, над

частнособственническими бациллами — какие живучие! А потом сам увлекся. Но не огородом, не клубникой — строительством, архитектурой. Как-то во время передышки после сдачи проекта дворца — вон какая хоромина! — он набросал маленький сказочный домик, использовав мотивы народной архитектуры, которая произвела на него впечатление в польских и словацких Татрах. В последние годы он часто несколькими легкими взмахами карандаша набрасывал на бумаге такие вот экзотические домики. Подсознательно хотелось попытаться включить элементы этой архитектуры в проект какого-нибудь современного здания. Он начал открывать их во многих старых постройках в Полесье, особенно в деревянных церквах. Но постепенно убеждался, что это невозможно, что современный стиль и современные материалы решительно противятся такому сочетанию. Злился. Не мог примириться с мыслью, что созданное за века мудростью народа, его коллективным художественным гением должно исчезнуть навсегда.

И вдруг эскизный рисунок навел на мысль построить такой домик на своем участке, кстати, и ландшафт — косогор, березняк — подсказывал именно такое, вертикальное решение, а не плоскостное. Нравилась еще одна сторона этой идеи: подарит Вете и Даше сказочный теремок. Как всегда, увлекшись, он проявил недюжинную энергию, инициативу, настойчивость. Заказал на деревообделочном комбинате деревянный каркас по своему проекту. Директор, добрый старый знакомый, которому Максим оказал немало дизайнерских услуг, выполнил этот специальный заказ. И продал необходимый материал. Больше Максим ни к кому не обращался. Ни одного рабочего не нанял. Все делал сам. Иногда только Шугачевы помогали — Виктор, Игорь, малыши. Они чувствовали, что возводится что-то необычное, и работали тут охотнее, чем на строительстве своего простого, стандартного домика.

Два года нелегкого труда были лучшей радостью и лучшим отдыхом. Впервые за свою немалую

архитектурную практику он сам с топором, ножовкой, долотом и молотком в руках осуществлял собственный проект. Так работали строители древности. Особое удовлетворение давало то, что он имел полную возможность без конца совершенствовать проект. Ничто не связывало — ни сроки, ни чужие инженерные расчеты, ни материалы, ни стандарты, ни утверждение и согласование в инстанциях. Он не просто строил себе дачу. Он творил. Работал так, как работает живописец над большим полотном, писатель над романом. Едучи сюда, в Волчий Лог, в выходной день, каждый раз чувствовал, как колотится сердце от нетерпеливого желания поскорей встретиться со своим созданием, поскорей нанести на «полотно» еще один «мазок» или, наоборот, убрать то, что показалось лишним, ненужным, слишком декоративным.

У него с детства было пристрастие — резьба по дереву, это, между прочим, определило выбор профессии. Пока возводил дом, он так набил руку, что хобби почти стало второй профессией.

Пока он строил, дача была одним из поводов стычек с Дашей. Она зло высмеивала его увлечение и больше года принципиально, не наведывалась сюда. Но когда Поля Шугачева затащила Дашу на участок и та увидела, что и как строится, притихла, стала наезжать. В позапрошлом году она и дочь прожили здесь все лето, и это были, пожалуй, самые спокойные и счастливые месяцы второй половины их совместной жизни.

Люди со вкусом, специалисты больше, чем игрушечным внешним видом, восторгались внутренним убранством дачи. Кроме кухонной посуды и матраса, тут не было ни одной вещи, купленной в магазине. Вся мебель — столы, лавки, полки — сделана самим Максимом, сделана оригинально, в народных традициях, и в то же время современна по форме. В создании интерьера Максим дал полный простор своим дизайнерским способностям.

Игнатович, по-родственному посетив дачу, сперва даже несколько растерялся: как к этому отнестись? Ходил,

осматривал, часто повторял: «М-да», — и ничего определенного не говорил, уступив эту прерогативу жене. Лиза, которая здесь уже бывала и слышала разговоры Максима о замысле и его решении, об архитектурном эксперименте, вела себя, как заправский гид перед любимым произведением искусства.

За столом Игнатович предложил, чтоб Максим передал чертежи мебели фабрике. Максим отшутился:

«Выдадут патент, заплатят хороший гонорар, передам».

Неожиданно серьезно возразил Шугачев: «Это ценно именно в одном экземпляре, в оригинале».

Игнатович сказал: «Куркулями вы тут делаетесь, вижу. Надо будет за вас взяться, а то совсем окулачитесь».

Слова секретаря горкома приняли как застольную шутку. Только Лиза поняла, что муж не шутит, она вдруг стала горячо защищать коллективное садоводство и индивидуальные дачи.

Максим боялся одного — на даче не будет света. Еще в августе кто-то дал команду отключить их поселок от энергосистемы. Пришлось ему тайно договориться с электриками, чтоб подключили к линии, иначе жизнь тут очень бы усложнилась. Отсутствие электроэнергии создавало множество проблем и трудностей. Во-первых — свет, во-вторых — тепло и все прочие удобства. Правда, внизу сделан камин для дров. Но он не любил нижних комнат — перестарался в их отделке, сделал их слишком музейными, более пригодными для праздничного парада, показа, чем для повседневной жизни. Может быть, не любил еще потому, что это были е е комнаты, о н а любила их. Хорошо и уютно чувствовал себя в своей комнате наверху — в мансарде, куда вела узкая винтовая лестница с оригинальными перилами. Комната эта была необычной многоугольной формы, под стать крыше с ее причудливыми выступами. Получились ниши, которые очень продуманно были заполнены сделанными Максимом столами, полками,

диванами. Комната служила и кабинетом, и мастерской, и спальней. Лежали свертки ватмана с проектами, стояли липовые чурбаки — заготовки для резьбы — разных размеров: от маленьких, с кулачок, из которых можно было вырезать куклу, до ствола чуть не в рост человека. Все, кто приходил сюда, удивлялись, как удалось втащить на второй этаж такое бревно и зачем оно архитектору. Никто не знал, что была у хозяина давняя, с юношеских лет, мечта — создать скульптуру, которую признали бы настоящим произведением искусства, а творца ее — скульптором. Были заветные сюжеты и множество проб на эти сюжеты, но пока ни одна из них его не удовлетворяла, и он их безжалостно уничтожал. Поэтому несколько лет нетронутой стояла главная заготовка.

В последнее время Максим все чаще и чаще сомневался, что когда-нибудь осуществит свою мечту. О ней знала одна Даша. Даже Витька Шугачев и тот вместе с другими удивлялся его пристрастию, особенно когда он искал эту липу, чтоб была без дупла, ровной структуры. Жена когда-то относилась с почтением, с гордостью к его хобби — художник! Теперь при случае издевалась. И это иной раз заставляло Максима сомневаться в себе. Внимание его все больше сосредоточивалось не на эстетической выразительности или оригинальности, а на функциональной целесообразности зданий, которые он проектирует. Может быть, прав Шугачев: постепенно и незаметно он, признанный архитектор и непризнанный скульптор, превращается в дизайнера. Обо всем этом Максим думал как-то одновременно, сумбурно. Мысли, как тучи, разгоняемые ветром, летели стремительно.

Не раздеваясь — холодно! — он сел на низенький табурет и включил электрический камин. Как и все остальное, камин был оригинальный, не такой, какие продаются, а сделанный друзьями-электриками по его проекту.

Сперва включил лишь маленькую лампочку-ночник в форме старого уличного фонаря, висевшую над

диваном. Мягкий свет ночника всегда успокаивал. Но шумел вентилятор камина, колыхалось красно-синее «пламя», забивало спокойное, матовое свечение фонаря светом дрожащим, нервным, неестественно театральным. И в этом свете все показалось неестественным, деланным, игрушечным — все, чему он отдал столько труда, силы, энергии, чем он любил похвастаться перед друзьями. В самом деле, к чему этот музей? Зачем это делалось? Для кого? Не лучше разве так, как у Шугачевых, — просто, безалаберно, тесно, шумно, но уютно и... счастливо?

Еще сильнее почувствовал холод, а с ним пустоту и одиночество. Он всегда боялся одиночества, его всегда тянуло к людям. Правда, с годами чаще приходило желание побыть одному. Но тогда, когда не было этого страшного, как неизлечимая болезнь, сознания одиночества, когда хотелось работать и радоваться — природе, результатам труда и собственным мыслям. Сегодня ничто не радует, а это страшно.

Он выключил вентилятор камина. Исчезли эффекты, осталось одно тепло. Подошел и выключил фонарь. Посмотрел в окно. Светил ущербный месяц — странно! — тоже какой-то неестественный, театральный. Звезды, правда, как звезды. Внизу — он забрался выше всех — белели крыши, отливали каким-то синтетическим светом. Видно, на них, застывших, не растаял снег, падавший с утра (на земле его уже нет), или, может быть, лежал иней. За поселком темнела стена леса. Молодой соснячок. Но сейчас, ночью, в этом искусственном свете лес — что гора, огромный и зловеще черный. И ни огонька. Ни души. Верно, он один в этом диком урочище, которое недаром зовется Волчьим Логом.

Максим подошел к окну в коридорчике, куда выходила лестница. Он больше любил это окно. Из него не открывался широкий вид, однако мир отсюда и не казался тесным. Тут, на косогоре, росли березы. Они подступали к самому домику, протягивали ветви в окно. Как хорошо шумела их листва летом! И сейчас в тени

дома их мягкая, ласковая и, казалось, теплая белизна выглядела такой естественной. И шумели березы, как живые существа, тихо-тихо, нежно, как бы боясь потревожить его покой.

С березы на балкончик прыгнул большой кот. Жалостно мяукнул. Максим улыбнулся.

— Ах, бандит, шлялся и хозяина прозевал. А я уж беспокоился, где ты, не извели ли тебя кошки. Небось голодный?

Открыл дверь, впустил кота. Принес из холодильника колбасу.

На миг показалось, что появление живого существа прогнало одиночество и тоску.

Включил все лампы — люстру, настольную, ночник, подсветку в камине. Иллюминация так иллюминация!

В комнате потеплело и стало уютнее. Максим огляделся вокруг. Хотелось, очень хотелось, чтобы все эти вещи, сделанные его руками, плоды его фантазии, вызвали прежнюю, привычную и добрую радость. Но радость не приходила. Все казалось ненужными детскими игрушками, мишурой, как театральный реквизит после спектакля, при обычном, будничном освещении.

Кот терся о ноги и довольно мурлыкал.

Максим сел в кресло, взял на колени кота, погладил пушистую шерсть.

— Завидная у тебя жизнь, Барон. Никаких проблем. Если б ты мог понять, сколько их у меня. Ты знаешь, какое я сейчас сделал открытие? Что здесь, в комнате, подлинное, настоящее и имеет истинную ценность? Только вот эти заготовки, эти бревна. Обычно гости подсмеиваются над ними. Чудаки. Не понимают. Разумеется, можно распилить их на дрова и сжечь. Но только вот этот чурбак, больше ничто, может дать мне радость. Труд и ожидание чуда. Надежду, что наконец

из-под моего резца выйдет что-то стоящее внимания.

Опять — в сотый раз! — он задумался над тем, что бы ему вырезать из этой заготовки, чтоб не погубить исключительный материал. Какой замысел мог бы вдохнуть жизнь в это покуда мертвое дерево?

Кот засыпал на коленях, мурлыкал все тише, тонко, как котенок.

А хозяин не мог успокоиться. Нет, не только о резьбе он думал. Он снова перебрал в памяти все пережитое, то, что его больше всего волновало. Работа, архитектура, сегодняшняя конференция и самоотвод, его причины. И опять вернулся к тому, что делал здесь, в этом доме, своими руками. Ради кого он тратил столько времени, энергии, даже таланта, делая все эти игрушки?

— Я, Барон, пилил, строгал, долбил, орудовал резцом. До мозолей на руках. Да, я люблю эту работу. Но, не только для своего удовольствия я поднимался в пять часов утра... Вдохновляло другое — сознание, что мой труд порадует еще кого-то.

Кот недовольно мурлыкнул и ударил хозяина хвостом по руке.

— Я мешаю тебе спать? Дармоед! За то, что я тебя кормлю, ты мог бы проявить больше внимания. Походи и послушай, — Максим беззлобно столкнул кота с колен. Тот, решив, что в чем-то провинился, стал снова виновато тереться о ноги. — Я открою тебе, Барон, одну истину, о которой, пожалуй, никому больше не скажу. Я строил школы, дворцы для людей... Для множества людей... Некоторые люди, сотни или тысячи... пожалуй, могут быть благодарны мне. А вот этот маленький теремок я строил для н и х. Ты понимаешь, Барон, для кого. Да, для двух человек, самых близких мне тогда. Для Веты и для... нее... Черт возьми! Ты видишь, Барон, до чего дошло? Мне не хочется называть ее имя, которое я тысячу раз шептал с нежностью и умилением. Это нелепо, Барон. Да, для Даши. Для Веты и Даши, Для Даши и Веты. Мне хотелось дать им еще

одну радость. И мне хотелось почувствовать их благодарность. Тебе, представителю паразитического сословия, не понять, как это дорого — благодарность. Но благодарность людей вообще — это вещь абстрактная, хотя и она приятна. Благодарность людей близких, людей, которых ты любишь, — это величайшая радость и, может быть, главный смысл жизни. Тогда, пять лет назад, я верил в такое счастье. Я нарочно решил все сделать своими... вот этими,., руками. Можно осуждать меня, Барон, за проявление таких... не знаю, как назвать эти чувства. Но мне хотелось, чтоб тут все, к чему они будут прикасаться, чем будут, любуясь, пользоваться, чтоб все-таки напоминало им меня. Разве это дурное, позорное желание? Да нет же, нет, Барон!

Максим встал, прошелся по комнате. Скрипнула половица. Целый год она скрипит. Целый год он собирается поднять ее, подложить что-нибудь, чтоб убрать этот скрип. Сто раз думал об этом и ничего не сделал. Вот если б там, внизу, были о н и и он знал, что этот скрип их раздражает... Для себя же делать не хочется, для себя он редко когда что-нибудь делал.

Выключил люстру. Кот тревожно мяукнул, должно быть, ему показалось, что хозяин опять собирается уйти. Кот тоже боялся одиночества.

Максим понял его тревогу и снова сел, но уже не перед камином, а между книжными полками, где обычно любил читать.

— А что я встретил, Барон? Какой отклик? Они прожили одно лето... Но видел ли я тогда истинную радость? Больше потребительское удовольствие от дачного комфорта и удовлетворение мелкого тщеславия от посещения «экскурсантов» знакомых и незнакомых. Но во мне жили еще какие-то иллюзии, вера, что я трудился не зря. Прошлым летом Вета... Виолетта приехала сюда однажды на часок... попросить денег, чтобы поехать с друзьями в шумный и пыльный курортный город. Знаток Бетховена и Шопена, она осталась равнодушна к этой музыке в дереве. А может быть, нет ее, никакой музыки? Сегодня мне так

показалось. Это страшно, Барон! Так я могу однажды открыть, что и во дворце моем нет никакой музыки. Мне страшно думать об этом, Барон! Что ж мне тогда остается? Даша этим летом не появилась ни разу. Выдерживала характер. И не появится. Я знаю, ты не будешь скучать, она тебя не любит… А кого она любит? Кого, Барон?

Вдруг снова вспомнились слова Кати Шугачевой: «А я видела тетю Дашу. Она ехала в машине».

И снова почувствовал, что в душе шевельнулось что-то, похожее на Барона, — мягкое, но с коготками, и когти эти больно царапнули там, внутри.

«Неужто ревную?» — он хотел, чтоб этот вопрос самому себе прозвучал иронически. Но иронии не вышло, потому что тот, внутренний «барон», опять больно царапнул. Живой Барон вскочил на колени. Максим со злостью столкнул его. Барон забрался под письменный стол и оттуда настороженно и недоуменно, поблескивая в полумраке глазами, следил за хозяином, стараясь кошачьим своим умом понять, чем не угодил властелину и кормильцу.

Максим поднялся и зашагал по комнате, нарочно с силой ступая на скрипучую половицу. Скрип ее пугал Барона. Он вздрагивал и забивался глубже под стол. Но Максима впервые не раздражал этот скрип. Пускай скрипит все. И пускай разваливается.

Остановился перед хитро замаскированным баром. Открыл свой тайник, посмотрел на бутылки; их стояло там немало, маленьких, сувенирных, с этикетками многих фирм и стран, но все были пустые. Осталось только полбутылки «Плиски».

— Нет, дорогой Барон, мы не станем пить этот ординарный коньяк. У меня есть бутылка — давно уже стоит — для торжественного случая и особо дорогих гостей. А что у нас может быть торжественного? Пожалуй, сегодня и есть тот случай, который следует отметить и запомнить. А гости… К черту гостей! Их

много перебывало здесь, и немало таких, кто просто хотел выпить за наш счет, Барон. В будущем тут выпьет только тот, кто привезет свое. Остальные пусть пьют… смолу, как говорил мой отец…

Кот почувствовал, что настроение хозяина изменилось, и вылез из-под стола; потерся о ноги, довольно мяукнул, одобряя такую перемену.

Из-за толстых томов «Строительных норм и правил» Максим вытащил плоскую бутылку «Арарата», подаренную когда-то ереванскими коллегами. Из бара достал рюмки. Две. Придвинул журнальный столик и сел у камина. Но налил не сразу. Несколько минут сидел закрыв глаза. Потом произнес:

— Нет! Нет! Нет! …

И тогда налил. Две рюмки. Как на поминках — одна для покойника. Минуту назад ему представилось, что в этот момент кто-то другой… обнимает Дашу. И в груди царапнуло так, что хотелось закричать от боли. Отогнал видение и обрадовался. Не сказал вслух, даже Барону не доверил этой тайны, этой неожиданной радости. Подумал только:

«Черт возьми! Действительно ревную! Ревную и хочу ее. Значит, люблю. Еще люблю. Даша! Почувствуй это! Пойми!».

Чокнулся с рюмкой, стоявшей на столе.

— Я пью с тобой, Даша. Еще раз. Будет горько, если это в последний раз. Горько всем нам. Неужели ты не понимаешь этого? Неужели ты так ослеплена? Кем? Я не верю, что кем-то. Или чем? Да, чем?

Пил. И не пьянел. Но все больше и больше распалялся ревностью и жаждой ее близости и ласки. Странно и непривычно, кажется, впервые сливались эти два противоречивых чувства. Это все больше убеждало его, что любовь, которую он хотел похоронить, еще жива.

Почувствовал, что больше не может сидеть здесь, в

Волчьем Логе, и разговаривать с котом. Он должен увидеть ее. Сейчас же. От этой встречи, может быть, зависит его жизнь, его работа. И ее счастье. И Виолеттино тоже.

Максим еще не встал, только решительно закупорил бутылку, а Барон уже почуял его намерение и жалостно замяукал.

— Ах, Барон. Люди часто так вот, как ты сейчас, думают лишь о себе, только бы им было хорошо. Из-за этого большинство наших несчастий. Из-за эгоизма, себялюбия, глупых принципов. Кто-то первым должен сделать шаг, протянуть руку. Иначе нельзя жить в согласии и счастье. Я где-то читал... Распадающийся брак выявляет самое дурное у обоих супругов. Если бы мы научились видеть это дурное в себе и вырывать его с корнем, как сорняк...

Знал, что завести старенький «Москвич» не удастся — залегли кольца и вдобавок сел аккумулятор. Уже полмесяца машина не заводилась.

Пошел пешком в надежде, что на шоссе его подберет какая-нибудь попутка. Пока добирался до шоссе лесом, вымазался по колено; обходя лужи по дороге, исцарапал о ветки руки и лицо.

Была поздняя ночь, и на шоссе не попалось ни одной машины. Пятнадцать километров отмахал за каких-нибудь два часа. Почувствовал усталость, давно не делал таких переходов. Но решимость добраться до дому, поговорить с Дашей не проходила. Наоборот, росла по мере приближения к городу. За дорогу он придумал такие слова, от которых, казалось, должна рухнуть любая стена враждебности, отчуждения, злобы.

Только в микрорайоне удалось остановить позднее такси.

Решительно, не боясь нарушить ночную тишину дома, он поднялся на второй этаж. У него был свой ключ. Но дверь оказалась на цепочке. Пришлось звонить.

Дашины шаги послышались очень скоро. У Максима екнуло сердце.

«Не спала. Почему не спала?».

Даша спросила:

— Кто?

Он ответил:

— Я, — и испугался своего голоса, такой он был хриплый и неестественный.

Она щелкнула выключателем, сняла цепочку.

Он переступил порог, громко захлопнул за собой дверь.

Даша стояла в дверях спальни. Сквозь легкую ткань ночной сорочки, как сквозь туман, обрисовывалось ее тело — грудь, живот, ноги.

Максим едва сдержался, чтоб не броситься, не подхватить ее на руки, как некогда в молодости, и не понести в спальню.

Удержал ее взгляд — она оглядывала его, брезгливо скривив припухлые, все еще красивые губы.

Он сам посмотрел на свои заляпанные грязью туфли и штаны.

Она спросила со злой иронией:

— Что, Максим Евтихиевич, вместе с Бароном по крышам лазал?

— Я шел пешком из Волчьего Лога.

— От волчицы ты шел. Придумал бы хоть что-нибудь более оригинальное.

Он шагнул к ней. Она, как бы обороняясь, прикрыла рукой грудь, смяв сорочку.

— Даша! Я шел к тебе.

— Ко мне? Скажи, пожалуйста, какой рыцарь! Не думала. Растрогана до слез.

— Даша! Нам надо поговорить.

— О чем?

— Я люблю тебя, Даша.

Она деланно захохотала.

— Не смеши. Соседей разбудишь. Откуда такие нежности? От винных паров? Смешно. Он меня любит! Иди проспись! — и вдруг злобно закричала: — Я твоей любовью сыта по горло! Паразит ты! Деспот! Садист!

Рванулась в спальню, хлопнула дверью и... повернула ключ. Щелкнул замок.

Максим знал Дашин характер, готов был от нее все что угодно услышать. Идя сюда, твердо решил любую обиду принять спокойно. Иначе невозможно будет начать серьезный разговор. Его не обидели ее слова, пусть бы говорила что хочет, пусть бы ругалась до утра. Но ключ... Это уже новое. Запираться от него?

Возникло непреодолимое желание ударить кулаком по узорному матовому стеклу двери. И все. Считать, что это конец. Точка. Но он потратил столько душевной энергии, чтобы убедить себя сделать еще один, последний шаг к примирению. Шел, как юноша, чуть ли не всю ночь. Ради чего?

Стало обидно, что так унизил себя. Какое-то мгновение стоял неподвижно, опустошенный и равнодушный ко всему на свете. Не знал, что делать. Потом ощутил, что не может в эту ночь оставаться с ней в одной квартире — еще сотворит глупость, которую потом не простит себе.

Двери закрыл за собой осторожно, бесшумно. Спускался по лестнице на цыпочках, как ночной

злодей. Не боялся шума — было стыдно самого себя.

Только на дворе вдохнул полной грудью морозный воздух и смело затопал по тротуару. Подумал, что нужно уважать себя, даже когда ошибаешься; если поступки продиктованы искренним душевным порывом, никогда нельзя раскаиваться и казнить себя.

Через час он тихонько позвонил в квартиру Шугачевых. Поля даже не спросила кто. Будто ждала.

— Почему не спрашиваешь? — шепотом сказал Максим. — А если воры?

— Дураки они, что ли, воры? Не знают, к кому лезть?

Максим засмеялся.

Поля удивленно посмотрела на него: с чего это он?

— Я тебе все объясню.

— Не надо, Максим, чего не бывает! — вздохнула Поля, кутаясь в халат. — Я вам сейчас постелю. Раздевайтесь.

Максим опять весело подумал: «Где она постелет? В каждом углу сопят дети».

IV

Максим ждал, что Игнатович на следующий же день вызовет его для объяснений. Не мог не вызвать. Своим неожиданным самоотводом Карнач в каком-то отношении подводил горком и, конечно, первого секретаря; их родственная и дружеская связь известна всему активу. Но с родством Игнатович, строгий и бескомпромиссный блюститель законов и норм партийной жизни, партийной морали, не посчитается. Милости не жди.

Максим чуть не с озорным любопытством (после ночной сцены с Дашей он почему-то весь день был в веселом настроении) пытался представить себе, каким образом Игнатович выразит свое недовольство.

Сперва удивился, что тот не вызвал ни в первый день после конференции, ни на второй. Потом с тем же озорством подумал о деликатном положении, в которое попал секретарь горкома: попробуй найди кару такому черту, как он, Карнач, да еще за поступок, не противоречащий Уставу.

Однако неписаный этикет он все же нарушил, к чему Игнатович — Максим это знал — ни в коем случае не может остаться равнодушным. Почувствовал уважение к уму свояка: выбрал единственно правильный метод — официальное молчание и соблюдение дистанции. В конце концов это, пожалуй, и есть самое тяжелое наказание, так как при всей несхожести их характеров, суховатости Игнатовича Максим любил этого человека, высоко ставил его преданность делу, честность, принципиальность — всегда хозяин своему слову. Такие качества руководителя нельзя не ценить, особенно ему, главному архитектору, которому ежедневно приходится решать бесчисленное количество самых неожиданных и часто каверзных вопросов. О, как ему помогала деловитость секретаря горкома! Любил с ним поговорить, поспорить, иной раз довольно горячо, но всегда уходил с сознанием, что спор пошел на пользу городу. Чувствовал, что Игнатович тоже охотно спорит с ним, потому что не формально, а как партийный руководитель стремится проникнуть в архитектурные тайны, разобраться в них. Архитектура города для него не просто еще один нелегкий участок работы, лишняя забота, а часть — и немалая! — жизни, так же как и для него, Максима. На этом сблизились. И даже подружились. Дружба была сдержанная и глубокая, более серьезная и прочная, чем дружба тех, кто часто встречается за чаркой и доверяет друг другу интимные подробности своей жизни. За обеденным столом они встречались лишь в обкомовской столовой, в гости друг к другу ходили редко — раза два в год, в большие праздники или на именины жен. Своих дней рождения не отмечали, на «сердечные темы» никогда разговоров не вели.

Максим даже был несколько разочарован, когда только

на третий день позвонила секретарша и передала, что Герасим Петрович просит зайти к нему сегодня в двенадцать двадцать. Обычно звонил сам и почти никогда не назначал так точно время, просто говорил: «Максим, сын Евтихия, загляни часика в четыре», — хотя все в городе знали пунктуальность Игнатовича — в приемной никто из вызванных больше десяти минут не ждал. И никто, наверно, не удивился бы, если б его пригласили к секретарю горкома на десять часов двадцать девять минут.

Но Максим не ожидал, что Игнатович т а к пригласит его и так явно даст понять, по какой причине.

В приемной работала приятная женщина — Галина Владимировна. Мало кто знал ее фамилию, но все знали имя и отчество. И все уважали, даже, не будет преувеличением сказать, любили за приветливость, аккуратность: все объяснит, запишет, выполнит. К ней обращались чаще, чем в отделы. Пожалуй, рассчитывали на нее больше. Работники обычно говорили: «Хочешь, чтоб документ (или вопрос) не мариновался, попроси Галину Владимировну».

Кроме уважения как к секретарше и благодарности — она не раз помогала ему «протолкнуть» некоторые неотложные вопросы — Максим испытывал к ней еще другое: в последнее время, когда произошел окончательный разлад с Дашей, он иногда в бессонные ночи думал о Галине Владимировне как о женщине. Ни о ком больше, только почему-то о ней, хотя за два года, что она работала здесь, в этой строгой горкомовской приемной, он ни разу не позволил себе говорить с ней в том легком и шутливом тоне, которым завоевывал симпатии женщин в горсовете, в институте и даже порой продавщиц в магазине.

Максим поздоровался с Галиной Владимировной за руку, как всегда, но на этот раз задержал ее руку в своей чуть дольше и почувствовал ее теплоту, ту теплоту, которая всегда волнует, когда касаешься женщины, нравящейся тебе. Может, и она почувствовала что-то подобное, потому что взглянула

на него внимательнее.

— Один? — кивнул Максим на полированную дверь.

— Нет. У Герасима Петровича ректор института Ковальчик и ваш коллега Макоед.

— Я опоздал? — посмотрел Максим на часы.

— Нет. Вас просили подождать здесь.

— Подождать? — Он удивился.

Если там Макоед и Ковальчик, значит, решается планировочный вопрос, скорей всего речь идет о месте для общежития, и Макоед отстаивает посадку своего «сундука» на Московском проспекте. И в этот момент его просят подождать? Он рванулся было к двери, но тут же вспомнил, почему, по какому поводу вызван сюда, повернулся, зашагал из угла в угол, не замечая Галины Владимировны.

Неужто он, Максим, должен разочароваться еще в одном человеке, которого уважает? Он боялся таких разочарований.

Игнатович никогда раньше не заставлял его ждать, даже когда разговаривал с людьми, далекими от архитектуры.

«Может, потому я и киплю? — подумал Максим. — Задета гордость. Но ведь ты же сам этого желал. Тогда ты был членом горкома и от тебя не могло быть секретов. Теперь ты себя отвел. Чего же ты хочешь?»

Немного успокоенный этим, он вдруг почувствовал, что Галина Владимировна внимательно и настороженно следит за ним и, очевидно, догадывается, о чем он думает. Пристыженный тем, что выдал себя, он взял стул и сел у ее стола, прямо против нее.

— Галина Владимировна, кто ваш муж?

— Почему вдруг такой вопрос? — Галина Владимировна

попыталась улыбнуться, но улыбка получилась какая-то вымученная.

Он подумал, что у этой приветливой и всегда спокойной женщины, видно, далеко не безоблачная жизнь,

— Считаю со своей стороны хамством, что до сих пор о человеке, который мне нравится, я не узнал больше того, что необходимо для официальных отношений.

Она ответила шутливо:

— Как мне это понимать? Как признание в любви?

— Пока что нет, — серьезно ответил Максим.

Улыбка исчезла с ее лица, и в глазах проступила грусть.

— У меня нет мужа. Он погиб. Три года назад. Он был военный летчик. На реактивном...

Максим накрыл своей ладонью ее руку.

— Простите, Галина Владимировна.

Она не отняла руки, и глаза ее затуманились слезами, теми слезами, которые не проливаются.

— Простите, ради бога.

— Не надо, Максим Евтихиевич, а то я могу расплакаться. А я давно уже не плакала. К счастью, меня никто еще не доводил до слез — ни начальство, ни посетители. Отпустите руку. А то войдет кто-нибудь, что подумает?

Он отпустил ее руку. Глянул в лицо. Она встретила его взгляд спокойно, не смутилась, не отвела глаз. Подумал, что назвать ее красавицей, пожалуй, нельзя, но как привлекательна: лицо светится добротой и умом и какой-то очень теплой женственностью. Хотел спросить, есть ли у нее дети, но не решился: если их нет, это может ранить ее еще больше, чем вопрос о муже.

— Никогда не делала этого, но вам могу выдать тайну, — кивнула на дверь кабинета. — Герасим Петрович недоволен вашим самоотводом.

— Я знаю.

— Сказал: дожил до седых волос, — взглянула на него, — хотя их еще не видно у вас, а ведет себя как мальчишка. От зазнайства, сказал Довжик. Но Герасим Петрович не согласился, что от зазнайства. Зачем вы это сделали? Неразумно — таково мое женское мнение.

— Когда-нибудь я вам объясню, и вы его измените.

Галина Владимировна засмеялась.

— А вы самоуверенны.

Из полированного «шкапа» первым вывалился Макоед. Увидел Карнача, удивился, как будто растерялся, даже испуг мелькнул в глазах, словно Максим застал его за чем-то недозволенным.

— И ты тут?

— Да вот... жду приема.

— Ты ждешь приема? — Макоед спросил это тихо, но так, точно закричал от радостного удивления на весь дом. Галине Владимировне показалось, что он подскочил и тут же преобразился — как водой смыло его смущение, и сразу, в один миг, всплыла наглость победителя; он объявил, точно кукиш поднес: — А мы с Сидором Ивановичем общежитие «привязали». Окончательно и прочно, — засмеялся, довольный тем, что тут произошло.

— Чудесно, — с сарказмом бросил Максим. — Поздравляю. Одним гробом будет больше на проспекте.

В свое время Максим отклонил несколько проектов Макоеда, но тот упорно, изо всех сил лез на проспект.

Ректор, седой красивый мужчина, по виду и манерам

похожий на старого официанта дореволюционной выучки, застегивал на столе свою толстую, набитую бумагами папку. Сказал с чарующей улыбкой:

— Напрасно вы, Максим Евтихиевич, так отзываетесь о студенческом общежитии. Мне проект нравится. И место, которое мы предложили, одобрил Герасим Петрович.

Максим собрался было сказать и одному и другому пару теплых слов, настроение для такого монолога было подходящее. Но перехватил красноречивый взгляд Галины Владимировны: «Не натворите глупостей. Идите в кабинет».

Он послушался.

Игнатович стоял в углу у маленького столика и наливал из сифона воду. Пошел навстречу со стаканом в руке, радушно улыбаясь. Прежде чем поздороваться, по-домашнему объяснил:

— Лиза селедкой накормила. Любит соленое. А у меня печень. Уже заныла.

— Послушай! Посадить макоедовское общежитие на проспекте можете только через мой труп. А пока я отвечаю за архитектуру города...

— Отвечаем все. Горком — в первую очередь, — выпуская его руку, нахмурился Игнатович, но тут же улыбнулся. — А ты, вижу, верен своему принципу: лучшая форма обороны — наступление.

— От чего и от кого мне обороняться?

Игнатович обогнул письменный стол, сел в кресло, и обстановка сразу изменилась: теперь Максим находился не в гостях у свояка, а на приеме у секретаря горкома.

Оба они готовились к официальному разговору, поэтому такой внезапный поворот не захватил ни одного из них врасплох, не удивил, не поставил в неловкое

положение. Правда, Игнатович сделал попытку несколько сгладить эту официальность.

— Сегодня обороняйся от меня, — улыбнулся и залпом выпил стакан воды.

Максим услышал в шутке скрытую угрозу: смотри, как бы тебе не пришлось обороняться перед бюро горкома.

Игнатович поставил стакан на край стола за стопку новых журналов и помолчал — ждал, что Карнач сам начнет объяснение. Максим сделал вид, что не понимает, чего от него хотят.

Игнатович разочарованно вздохнул и вынужден был пойти напрямик:

— Надеюсь, объяснишь свой фортель, который ты выкинул на конференции. — Он повторил слова секретаря обкома Сосновского; тот во время перерыва в буфете сказал как бы между прочим, но так, что услышали все: «Выкинул твой своячок фортель».

— Разве я нарушил Устав?

Игнатович разозлился, потому что думал об этом и чувствовал уязвимость своей позиции в предстоящем разговоре.

— Не прикидывайся простачком. Мы слишком хорошо знаем друг друга.

Тогда Максим ответил серьезно:

— Хорошо. Я объясню. Закурить разрешаешь?

Игнатович обрадовался. Сам он не курил и знал, что Карнач тоже, по сути, не курит, закуривает лишь в трех случаях: во время напряженной работы над проектом, когда волнуется и после чарки за праздничным столом.

— Кури, — и подумал с удовлетворением: «Ага, все же волнуешься. Это хорошо».

Но он ошибался: кажется, никогда Максим в этом кабинете не был так спокоен, как в эту минуту. Просто ему понадобилась пауза, чтоб подумать, с чего начать — сразу с основного или немного походить вокруг да около.

— Ты знаешь... мне захотелось проверить свой характер... И закалить.

Начало не понравилось Игнатовичу, он хмуро ухмыльнулся: мол, давай городи дальше.

— Всю свою сознательную жизнь я стараюсь утвердиться как художник. Черт его знает, может быть, потуги мои напрасны. Правда, кое-что я сделал, стоящее внимания, но меня все время заносило... прямо тянуло... в колею административную, чиновничью...

— Думаю, что это разные вещи, — сказал Игнатович.

— Может, и разные, но я со страхом замечаю, что я часто думаю как чиновник, а не как художник. Даже не думаю, чувствую, вот что страшно. Чиновник не всегда тот, кто становится формалистом и бюрократом в своей деятельности. Таким я, кажется, еще не стал. Чиновник тот, у кого появляются... опять повторяю... даже не мысли, мыслей он боится, как черт ладана, а переживания, эмоции мещанина. Вот это, скажу тебе откровенно, меня испугало. Конкретно? На собраниях избирают президиум, а у меня уже учащается пульс: выберут или не выберут?

Игнатович улыбнулся так, как улыбнулся бы наивному детскому признанию.

— А не выберут — ночь не сплю. Где уж тут думать о высоком искусстве.

— Не обожествляй своего брата. Любой художник в первую очередь человек. Если б он не знал человеческих эмоций, как бы он творил? Поставь на свое место драматурга.

— Эмоции надо знать. Но не согласен, что лишь они

возвышают художника. А вот еще. Еду в Минск, в Москву... Сколько тут езды? В тамбуре можно доехать. Нет, дай мне мягкий вагон. Но таких, как я, много, очень много. Все стали богатые, и все хотят в мягком. А всем не хватает. И я бегу к дежурному, к начальнику вокзала, показываю все свои книжечки, выкладываю все свои заслуги перед народом. Я им, чертям, дом строил, а они мне мягкого места не дают... Не место нужно — признание...

Игнатович опять нахмурился и, показалось Максиму, хотел перебить.

— Или вот такой факт. Ты ездишь на «Волге», да еще на новой, с казенным шофером, а я на своем разбитом «Москвиче». Разве не завидно? Завидно. Опять не сплю и думаю, где бы мне раздобыть денег на новую машину. Деньги могу найти, но найду ли новое в архитектуре?

— Да, явные черты обывательской психологии, — протянул Игнатович и резко встал, взял стакан, пошел к сифону.

— А о чем же я говорю! Выкладываю свои грехи, как на исповеди. Но как ударить по такой психологии? Кто человеку поможет, если он сам не одумается, не спохватится?

— Что ж, пожалуй, ты правильно ударил, — наливая воду, угрюмо заключил Игнатович. Сперва ему показалось, что Карнач дурачится, он не раз уже слышал, как тот некоторые бесспорные истины для смеха переворачивает вверх ногами. Но его признание в зависти насторожило и почти заставило поверить, что все это серьезно. Такой цыган в результате самоанализа может выкинуть любое коленце.

Игнатович подумал, как объяснить все это Сосновскому. Как тот примет такую, мягко выражаясь, ахинею? Либо безжалостно высмеет с присущим ему сарказмом, либо, если примет всерьез, упрекнет: вот как ты воспитал свояка и друга.

Игнатович снова жадно выпил воду и со стаканом в руке прошелся до двери, как бы проверяя, плотно ли она закрыта.

Максим следил за ним с веселым озорством, нравилось, что тот так серьезно задумался над его словами.

Игнатович остановился перед ним, широко расставив ноги: в институте он увлекался боксом.

— А ты думал, отчего это произошло?

— Отчего? — в тон ему повторил Максим, и чертики запрыгали у него в глазах.

— От преувеличения своей роли, своей персоны. Тебе начало казаться, что без тебя в городе ничего бы не построили.

— Неужто я так считаю? — притворно удивился Максим,

— Скажу откровенно. В этом виноваты и мы. Горисполком. Горком. Лично я. Кому из твоих коллег было дано столько, сколько тебе? Ты знаешь, что такое главный архитектор в других городах?

— Знаю. К великому сожалению, обыкновенный маленький чиновник.

— Тебе дали исключительные права.

— Разве это пошло во вред городу?

— Тебе дали возможность получать зарплату в трех местах...

Озорные огоньки погасли в глазах Максима.

— Я получаю ее не за представительство, а за работу — за проекты, над которыми сижу ночами, и за обучение студентов. Ты преподавал когда-нибудь?

— Теперь я начинаю понимать свою ошибку.

— Погоди, Герасим Петрович, — остановил Максим Игнатовича. — Поняв свою ошибку, неужто ты серьезно думаешь, что я удовлетворился бы ролью планировщика участков под застройки и надзирателя за тем, чтоб частник не построил лишнего хлева или уборной? Ты хорошо знаешь, что я могу сделать кое-что побольше. Потому и пригласил меня на эту должность. Если я уже не нужен, давай распрощаемся по-хорошему.

— Ах, вот оно что! Разгадка простая! Как же мы не додумались? Нашел местечко потеплее? За спиной у горкома? А не кажется ли тебе, Максим Евтихиевич, что ты забыл про одну вещь — про партийную дисциплину? С какой формулировкой нам тебя освободить?

Максим поднялся со стула.

Игнатович, должно быть, испугавшись, что Карнач скажет что-то, что может принизить или оскорбить его как секретаря горкома, настороженно обошел опасного посетителя и вернулся на свое место за столом: кресло — самая надежная броня от нежелательных высказываний.

Но Максим проводил его добрым взглядом и, видно, понял, чего Игнатович боится. В глазах его опять вспыхнули озорные огоньки. Он сделал несколько шагов следом за Игнатовичем, заставив того еще больше насторожиться, но остановился возле стола.

— Не отгадал ты, Герасим Петрович. Не нашел я более теплого места. Не искал. Прости, я тебя немножко, грубо говоря, разыграл. Но ты меня знаешь, не обижайся. А теперь скажу настоящую причину моего фортеля, как ты это назвал. Я развожусь с женой.

Игнатович от удивления, будто язык проглотил, молчал добрую минуту, разглядывая свояка совсем иными глазами.

— Ты разводиться с Дашей? — спросил и засмеялся, вдруг почувствовав облегчение, которое не сразу

осмыслил.

— Смешного мало. — Смех Игнатовича неприятно удивил Максима.

— Прости. Смешного вовсе нет. Это я просто так, своим мыслям. Садись. Рассказывай. Что случилось? — Игнатович вдруг засуетился, чего с ним никогда не бывало, как будто он должен был оказать человеку скорую помощь, но не знал, как это сделать, не умел. — Чего вы не поделили? Любви к Вете?

— Это сложно. В двух словах не расскажешь.

— Кто же из вас виноват?

— Считай, что я.

— Завел любовницу?

— Пока еще нет. Но заведу.

— Смотри! — Игнатович погрозил пальцем.

— Один весьма авторитетный для нас с тобой человек сказал: когда любовь иссякла или вытеснена другой, то расторжение брака является благом как для индивидуума, так и для общества.

— Не прикрывайся Энгельсом.

— Мне нечего прикрываться. Я просто хочу, чтоб ты понял...

— Но для этого я должен знать, что же случилось. Мне ты можешь довериться?

— Могу. Но давай как-нибудь потом.

— Как хочешь. Как хочешь. Как бы не было поздно. Может, еще можно наладить?

— Нет, нельзя.

— Подумай. Ты человек настроения. Цыган, как говорит

твой друг Шугачев. Не поддавайся настроению. Расскажи. Подумаем, порассудим. Черт возьми, свои же люди. Я знаю, Даша с бзиком. Но кто из них, чертовых баб, без какого-нибудь бзика? Думаешь, Лиза — идеал?

— Герасим Петрович, ей-богу: не могу сейчас говорить на эту тему. Отпусти, — серьезно и учтиво попросил Максим, потому что в самом деле теперь его снова охватило мрачное настроение.

— Что ты умеешь удивлять, я знал. Но чтоб так, чтоб так... — говорил Игнатович, провожая Максима до дверей,

— Раньше, чем начал удивлять я, удивили меня.

— Развода требует Даша?

— Нет.

— Сплошные загадки.

— Попытайся разгадать, — грустно усмехнулся Максим.

— Ладно. Попытаюсь. Один только вопрос. Это не секрет? Лизе можно сказать?

Максим на миг смешался, застыл, взявшись за ручку двери. Нехорошо, что о его решении Даша узнает от сестры. А может быть, так даже лучше? «Все равно ты скажешь, разрешу я тебе или нет», — подумал об Игнатовиче.

— Кричать о своей беде на площади я не собираюсь. А Лиза все равно узнает. От тебя или от нее, какая разница.

Игнатович помрачнел.

— М-да, подкинул ты мне проблемку.

Только у двери из приемной в коридор Максим вспомнил о Галине Владимировне — не попрощался с ней. Обернулся с виноватой улыбкой. Она внимательно

и мягко смотрела на него, словно все знала, все понимала.

— Простите, — попытался пошутить. — Думы мои, думы, лыхо мени з вамы! Вот так всегда, за делами, за мыслями забываем об интересных женщинах.

Вернулся к столу, чтоб попрощаться. Теперь уже она задержала его руку и душевно, как близкий человек, спросила:

— У вас неприятности?

Он ответил весело, и это не было игрой, просто внезапно изменилось настроение:

— Знаете, я начал на все смотреть диалектически. Есть неприятности, которые могут стать в результате радостью. И бывает наоборот.

Игнатович с минуту стоял и смотрел на дверь, закрывшуюся за Карначом. И вдруг осознал, почему почувствовал облегчение, когда этот ветрогон (впервые так назвал Карнача) открыл истинную причину своего неожиданного и непонятного поступка, причину, которой нельзя не поверить.

Хотя Сосновский не требовал никаких объяснений, словом не обмолвился, но Игнатович хорошо знал: ждет все-таки, и не от кого другого, от него, не только потому, что горком отвечает за людей, которых рекомендовал, но прежде всего потому, что Сосновский знает о его родственных и дружеских отношениях с архитектором. А как можно было объяснить? Игнатович прямо испугался, когда в начале беседы Карнач начал пороть всю эту чепуху про президиум, машины. Попробуй рассказать это Сосновскому! А так все просто и понятно. И ни на кого, кроме самого Карнача, не падает тень. Семейные отношения — темный лес, ни один суд в них еще надлежащим образом не разобрался, ни один психолог и писатель, даже Лев Толстой.

Наконец, при таком повороте сам Карнач в истории с самоотводом выглядит совсем неплохо. Хотя по форме это сделано было неправильно, но нельзя не признать, что поступил Карнач честно и мужественно. Кто-нибудь другой не отважился бы, скрывал до последнего...

Игнатович подошел к столу и набрал номер Сосновского. Сегодня они уже виделись, и потому приветствие и все прочие слова были не нужны. Сказал без всяких подходов:

— Леонид Минович? Только что у меня был Карнач. Объяснил причину своего фортеля, — опять он употребил его, Сосновского, слово.

— Ну? — заинтересовался секретарь обкома и этим подтвердил уверенность Игнатовича, что ждал-таки объяснения.

— Разводится с женой, чертов цыган.

Сосновский громко крякнул. И умолк. Долго молчал. Игнатович подумал, не прервалась ли связь. Окликнул для проверки. В ответ загремел голос Сосновского:

— Хреновые мы с тобой, Герасим, руководители. Если мы не знаем, чем живут, что думают, чем дышат наши свояки, сыновья, зятья, то что мы знаем о других людях, скажи, пожалуйста? — и положил трубку.

Игнатович трубку опускал медленно, ошеломленный. Слова Сосновского — оплеуха, которой он не ждал.

Снова подошел к столику с водой. Подумал: «Чего это меня так жжет сегодня?» И тут его охватила волна возмущения против Сосновского, чего раньше не случалось даже после саркастических проборок, которые Сосновский учинял иной раз секретарям горкомов и райкомов. Этого веселого толстяка невозможно понять, не угадаешь, куда повернутся его мысли. Никогда он не скажет, как положено говорить руководителю такого ранга. Всегда юмор, ирония, аллегория, подтекст.

«Мы с тобой». Знаю я это — мы с тобой! Скажи, пожалуйста, какая самокритичность!

Вошла Галина Владимировна, сказала, что ждут новые посетители, которых он вызвал. Предстояло разобрать кляузную историю.

Игнатович почувствовал раздражение и усталость.

— Пусть подождут минутку. Я окончу одно дело.

Когда секретарша вышла, подумал: какое дело? Стало неприятно от этой, пускай маленькой, лжи. Он не прощал себе таких человеческих слабостей, считал, что не имеет на них права. Стиль работы должен быть незыблем.

Черт возьми! Одни занимаются коммерческими махинациями, как те, что ждут в приемной. Другие заводят любовниц. А ты не только ломай голову, что с ними делать, но еще и щелкнуть тебя могут, как будто бы деликатно, однако так, что искры из глаз посыплются.

С Сосновского раздражение его перекинулось на первопричину — Карнача... «Архитектурный гений! Корбюзье! Распустили мы тебя!»

Макоеду после посещения горкома и встречи с Карначом не работалось. Ему хотелось плясать. Он ходил из кабинета в кабинет, говорил комплименты проектировщикам, чертежницам, сметчицам, хотя еще вчера разносил их за медлительность, расхлябанность и вообще относился к этим винтикам, как он их называл про себя, пренебрежительно. Его давно приводило в бешенство, что некоторые из этих людей чертежи и сметы по проектам Карнача делают скорее и лучше.

Чертежницу Майю, любвеобильную толстуху, которая сменила трех мужей и обожала мужские нежности, он даже обнял, хотя обычно не разрешал себе такой фамильярности и в самом лучшем настроении.

Майя подалась к нему, прижалась и сказала смеясь:

— Бронислав Адамович, вы сегодня такой... словно в лотерею выиграли.

— Выиграл, Майя.

— Что?

— Вашу любовь.

Она захохотала, крутнула бедрами. Но он снял руку с ее плеча и отступил в сторону — подальше от греха.

Ему хотелось поговорить с кем-нибудь о том, что его радовало. Но с кем? В этом проклятом филиале все очарованы Карначом. Завтра же передадут. А он, Макоед, не такой дурак, чтоб связываться с Карначом даже тогда, когда тот совсем сядет в лужу. Архитектурного таланта у него никто не отнимет, и неизвестно, куда его вывезет фортуна. Завтра может оказаться в Белгоспроекте или даже в Госстрое.

Наконец Макоеду удалось встретить в коридоре человека, который, как ему казалось, не любит Карнача. Несколько дней назад Карнач критиковал заместителя директора филиала Лазаря Львовича Фрида за хозяйственную беспомощность: дожили до того, что не было даже пенопласта для макетов. Фрид пенсионного возраста, ему под семьдесят, и его, как каждого из тех, кому не хочется на пенсию, обидела не столько критика, сколько требование Карнача омолодить кадры. Флегматичный Фрид подскочил, но, получив слово, только сказал:

«Слушай, Карнач, ты гений. Да я и не таких гениев видел. Ну и что?»

Фраза эта несколько дней веселила весь филиал. Проектировщики, встречаясь, приветствовали друг друга: «Ты гений. Ну и что?»

Макоед взял Фрида, который, кажется, впервые куда-то спешил, под руку. Хозяйственник хорошо знал, в каких случаях его вот так берут под руку, и спросил с суровой практичностью:

— Товарищ Макоед, скажите сразу, что вам надо. Пенопласт? Ватман? Доска? Стол? Телевизор? Холодильник? Гамаши?

Фрид не мог назвать такое ведомство в этом городе, где бы он не работал. Всех он знал, все знали его, и потому сотрудники обращались к нему с самыми неожиданными, иногда странными до смешного просьбами. Он не все просьбы выполнял, но любил поговорить, показать свою осведомленность. Макоед засмеялся.

— Можешь представить, Лазарь Львович, мне ничего не нужно.

— Нет, не могу. Человеку всегда что-нибудь нужно.

— Ты просто царь Соломон.

— Э-э, если б я был Соломоном, да еще царем, думаешь, я разговаривал бы с тобой тут, возле женской уборной?

— Я хочу сообщить тебе одну новость.

— Новость? Ты думаешь, на свете есть что-нибудь новое? Все — давно забытое старое.

— Накрылся наш Карнач.

Фрид отступил на шаг и внимательно оглядел архитектора с ног до головы.

— Слушай, Макоед, что я тебе скажу. Накрыться можем мы с тобой. А Карнач всегда открытый. Был и останется.

Произнес это, как библейскую заповедь, и пошел, переваливаясь утицей с ноги на ногу, медлительный, но уверенный в своих движениях и в своей мудрости.

Макоед злобно плюнул. Тьфу! Старый маразматик! Давно пора на пенсию. Держится за кресло, поэтому всех хочет ублажить. Такое было приподнятое настроение. И кто испортил? Никогда не подумал бы.

Никому, выходит, нельзя довериться.

С самого начала ему хотелось позвонить Нине на кафедру. Но, обойдя весь институт, он не нашел телефона, возле которого не торчали бы люди. Как назло. Правда, можно выйти на улицу и позвонить из автомата. Но он не совсем уверен, что Нина правильно его поймет. Сегодня утром они опять поцапались.

Когда неприятный осадок после разговора с Фридом прошел, Макоед снова почувствовал неодолимую потребность с кем-нибудь поговорить о падении человека, успехам которого он много лет завидовал. С течением времени зависть перешла в тайную враждебность. Но даже самому себе Макоед никогда не признался бы, что испытывает по отношению к коллеге и товарищу вражду. Нет. Просто считал, что он объективнее других и потому относится к Карначу более критически. И не толстовец же он, чтобы целоваться с человеком, который, Макоед в этом убежден, использует свое положение, выдвигает себя, своих друзей, а его зажимает. Макоед считал себя человеком принципиальным и справедливым.

Поговорить откровенно можно, разумеется, только с женой. В конце концов, жена есть жена. Как бы они ни цапались между собой, но всегда заключали союз, когда надо было от кого-нибудь защититься или показать кому-нибудь свою силу.

Бронислав Адамович не выдержал и отправился на улицу, пробежал целый квартал, ведь автоматов в городе не густо, в их районе — только возле родильного дома.

Войдя в будку, Бронислав Адамович набрал телефон кафедры и сразу услышал Нинин голос. Выдержал паузу, чтоб окончательно убедиться, что это она.

— Алло! Не слышу вас. Вы из автомата? Нажмите кнопку.

Оглянувшись на разбитое стекло будки, прикрыв

ладонью рот и трубку, как от ветра, Макоед безо всякого вступления громко прошептал:

— А все-таки он шлепнулся.

— Ах, это ты! — узнала Нина и засмеялась. — Почему это тебя так обрадовало? Ты же клялся, что никогда не пойдешь на его место.

— Ты одна?

— Нет, — громко отвечала Нина. — Тут вся моя кафедра. Разве не слышишь голосов?

— Ты что, ошалела?

— Миленький мой, им тоже интересно узнать, что Карнач шлепнулся. Ведь он же у нас читает. Слышали, коллеги? Некоторые из нас влюблены в него. Нам нужны сильные эмоции.

— Голодной куме...

— С таким мужем, как ты, будешь голодной, — засмеялась Нина.

Конечно, врет, что в кабинете еще кто-то есть. Хотя кто знает, эту сумасшедшую никогда не поймешь, не раз уже она выставляла его перед людьми в самом нелепом виде.

Там действительно, кажется, слышны голоса, хлопают двери.

Он сказал громко, не прикрывая больше трубки:

— Я хотел поговорить с тобой как с разумной женщиной, а ты... Тут тоже стоят люди, поэтому я воздерживаюсь от эпитетов, — и повесил трубку.

Поговорил, называется, откровенно и по душам! Шел назад, в лицо лепил мокрый снег, и казалось, что на голову льется холодная грязная вода. Было горько и обидно от мысли, что во всем городе нет человека, с

которым мог бы поговорить действительно откровенно. У Карнача, верно, таких людей без счета. И у Шугачева. И жены у них не такие, как его крапива: как ни коснись, обожжешься. Нина смеется над Полей Шугачевой, а мужчины завидуют ее мужу. Правда, он однажды бросил Нине, что она не любит Полю, потому что завидует ей. Наверное, женщине, помимо борьбы за кафедру, нужны еще другие радости. Нина начинает ощущать свой возраст, тридцать семь лет уже, и бесится от неполноты женского счастья — от бездетности. А может быть, у нее в самом деле есть любовник? Кто? В последнее время часто возникают такие мысли. Самое странное, что они, эти мысли, не рождают бурных приливов ревности и гнева, как раньше, когда он чувствовал, что убил бы соперника. Теперь он может еще неплохо сыграть ревность перед ней, но если б соперник и в самом деле появился, он вряд ли решился бы на что-то. Более того, едва ли хватило бы силы воли порвать с Ниной. Сознание своего безволия угнетало. И за это он ненавидел всех вокруг. Например, на конференции самоотвод Карнача он примерил к себе и сразу почувствовал — нет, не подходит, никогда он не сделал бы ничего подобного, и его неприязнь к человеку, в дружбе к которому он неоднократно клялся, усилилась. Потому так обрадовался, почуяв сегодня в горкоме, что под Карначом зашаталась почва.

В буфете Макоед встретил Шугачева. Шугачев редко обедал в тесном и шумном институтском буфете, ездил домой; коллеги подсмеивались: «К детям, к Поле». Не все понимали, что бюджет человека, имеющего пятерых детей, не позволяет каждый день обедать в дорогом буфете. Да и не любил Шугачев харч, привезенный из столовой в термосах. Только молоко зимой здесь брал, считал, что оно лучше, чем в магазинах, натуральное, не из порошка.

На этот раз Шугачев стоял в общей очереди, в руке та же авоська, в которой носил бутылки с молоком. Макоед стал за ним. Спросил:

— Будем обедать? Или за молоком?

— Чего вы скалите зубы над моим молоком? Что тут смешного? Что детям молоко нужно?

Макоед испугался — из-за пустяка человек может обидеться. А зачем ему ссориться с Шугачевым, которого выбрали секретарем партбюро?

— Ей-богу, Виктор, не смеюсь. Ты редко обедаешь, потому спросил, — стал уверять Макоед.

Шугачев поверил, смягчился.

— Сегодня жена дежурит в школе.

— Пошла на работу?

— Нет. Куда ей. Такой колхоз. Как член родительского комитета.

Обед Шугачев заказал основательный, по-домашнему, на трех чертежниц хватило бы. Макоед, боясь потолстеть, редко заказывал такой, но тут повторил шугачевский заказ и сел с ним за один столик. Взявшись за селедку с винегретом, Макоед сказал:

— Вчера читал Корбюзье. Здорово у него сказано: дом — это машина для жизни.

— Неплохо. А дальше что?

— Что дальше?

— Каждый вычитывает то, что ему нравится. «Дом — машина для жизни». Это я слышал еще в институте. Я не читал всего, что написал Корбюзье. Но знаю, что на практике Корбюзье заботится об эстетике и, что особенно важно, учит людей, как им надо жить в этих «машинах» — домах, квартирах, целых городах. Мы с тобой учим этому? Мы лепим «машины для жизни», и больше ничего. Да и «машины» устарелые. Их не сравнишь с первым автомобилем. При технической и эстетической нескладности в этом автомобиле было

хоть просторно. Не такая теснота. Один китайский архитектор еще лет за шестьсот до нашей эры сказал: «Окна и двери прорубают, чтоб сделать дом, польза же дома от пустого пространства». От пустого пространства!

— Это я слышал от Карнача. Он любил цитировать китайцев.

— Он цитирует мудрых людей.

— Виктор, дорогой, это бесплодный спор. Мы выполняем заказ. Социальный. Партии, государства. Обеспечить людей жильем. Да, строим пока еще тесные «машины для жизни». Их не сравнишь с современными самолетами. В авиации не жалеют денег не только на конструкторскую разработку, но и на дизайнерскую. А у нас? Надо экономить на каждом метре. Нельзя не экономить при таких масштабах. Я уважаю Корбюзье, Райта. Но, когда ставят в пример виллу Савуа, мне смешно. Кто у нас может заказать такую виллу? Кто в ней будет жить? Во что она обойдется?

— Однако и при нашем функционализме люди строят здания, которые можно назвать произведениями искусства. Беда в том, что мы перестали быть художниками. Мы превращаемся в копировщиков. Мы даже авторское самолюбие теряем.

— Ну, не скажи. У некоторых оно сильно развито.

— К сожалению, не у меня, — вздохнул Шугачев.

— У тебя самокритическая натура. Твой друг так не сказал бы.

— Карнач? Да он единственный, кто воюет за то, чтоб каждый из нас мог выявить свою индивидуальность. Благодаря ему нам удалось построить кое-что оригинальное.

— Согласен. Но скажи, пожалуйста, что с ним случилось? Он что, хочет от нас уйти? Куда? Кто его переманил? У нас, кажется, не принято уходить таким

образом. Это похоже на демонстрацию. Меня почему-то считают его недругом, а я тебе скажу: я первый от души жалею, что у нас не будет такого главного. Он умел пробивать...

Макоед положил на стол вилку и внимательно вглядывался в Шугачева. Но тот, казалось, был целиком занят картофельным пюре.

Шугачеву не надо было проницательно смотреть в глаза собеседнику. Он понял сразу, как только тот спросил о Карначе, почему Макоед сел с ним за один стол. Все долгие подходы, от самого Корбюзье, делались с единственной целью: в доверительной беседе, как бы невзначай, будто между прочим, спросить о том, что лишило его сна и покоя. Но, как все слишком самоуверенные люди, Макоед не подумал, что такой простачок, как Шугачев, да к тому же замученный детьми, может быть не менее хитер и проницателен. Вероятно, одна Поля знала, каким озорником бывает ее Витя, как неожиданно он реагирует на разные бытовые ситуации, какую мину иной раз может незаметно подвести.

Макоед облизывал губы от нетерпения, а Шугачев не спеша подбирал хлебом остатки соуса с тарелки, чтоб ничего не пропало, ведь деньги плачены.

Макоед даже брезгливо поморщился.

«Будто три дня не ел. Набил брюхо картошкой».

— Ты угадал, — проглотив последний кусочек хлеба, тяжело вздохнул Шугачев. — Максим хочет уйти... Осуществить свою давнюю мечту — заняться наукой, растить молодых архитекторов. Как я ни отговаривал его, не помогает. Идет в институт...

— В наш?

— В наш. Куда же еще. Не те года, чтоб носиться по свету.

Шугачев увидел, как у Макоеда побелела лысина, и от

удовольствия даже качнулся на стуле — попал, как говорится, в яблочко.

— Может, чайку выпьем?

— Нет. Не буду. Мне еще позвонить надо, пока обеденный перерыв.

Макоед встал и пошел к двери.

Шугачев смотрел ему вслед, и губы его блестели, как у малыша, измазанные подливкой, а глаза озорно искрились. Он догадался, кому бросился звонить самовлюбленный хитрюга. Всю жизнь он стремился кого-нибудь перехитрить. Надо же и его хоть раз поставить в смешное положение. Пускай звонит про пожар, которого нет.

Макоед, сдерживая себя, прошел к лестнице — в холле сновали люди, — а там кинулся через пять ступенек на второй этаж. Ему повезло, в приемной директора было пусто, секретарша обедала. Он набрал номер кафедры. Показалось, что ответила Нина, такой же молодой, бодрый голос. И он выпалил:

— Ты, ворона! Знай! Не я хочу занять его место, а он твое!

— Вы что, пьяный? Куда вы звоните? — Голос чужой, незнакомый. По здравому рассуждению, которое — черт бы его взял! — всегда запаздывает, ему надо было тут же положить трубку. А он, дурак, раздраженно гаркнул:

— Нину Ивановну!

Наконец, действительно ее голос. Как он мог ошибиться?

— Я вас слушаю.

— Поздравляю тебя, моя дорогая. Он идет к вам. Готовь встречу.

В ответ она весело засмеялась, но в этом смехе слышался гнев.

— Где это ты в рабочее время так «напроектировался»?

— Ты что?

— Иди проспись, — смеялась она. — Поговорим дома. У меня люди. — И положила трубку.

А Бронислав Адамович, ошеломленный, все еще слушал короткие гудки, пока не догадался, что странным своим поведением Нина стремилась сгладить возникшую неловкость. Ее практический ум подсказывал: пусть преподаватели кафедры лучше смеются над мужем пьяным, чем над трезвым.

V

Такая депрессия впервые охватила его тогда, когда Даша начала свои сеансы упорного молчания. Безразличие ко всему, бездумие и безволие — ни за что не хочется браться, ничего не хочется решать — перед сколько-нибудь серьезными проблемами мозг, казалось, ставит непроницаемую преграду, в голову лезет один мусор, мелочные, никчемные мыслишки.

Тогда такое состояние испугало. Но с течением времени, когда Даша стала замолкать все чаще и депрессия начала возвращаться, он привык — защитная реакция организма. Если бы не эта заторможенность, он мог бы невесть что натворить. А так посидишь часок-другой с сумбуром в голове и помаленьку возвращаешься к нормальной жизни и творчеству. Пирушка, выпивка не помогают, наоборот, еще более углубляют и затягивают это состояние. Лучше всего — трезвое одиночество.

После разговора с Игнатовичем хотелось удрать в свой Волчий Лог, покормить синиц, побеседовать с Бароном. Но в горсовете ждали люди, сознание служебного долга победило.

Глядя на пыльные свертки проектов на шкафу и думая о том, что надо сказать уборщицам, чтоб вытирали там пыль, Максим слушал работников своего управления, подписывал бумаги, не углубляясь в их содержание.

Тамара Лапич из бюро инвентаризации, с которой любил пошутить, выслушивая ее жалобы на мужа, тренера футбольной команды, озабоченно спросила:

— У вас не грипп, Максим Евтихиевич?

Он удивился:

— Грипп? Почему грипп?

— Вид у вас какой-то...

— А-а... вчера перепил, — соврал он, чтобы поскорей отвязаться от женщины, которая явно заигрывала с ним.

Тамара засмеялась.

— Максим Евтихиевич, вы прямо ребенок!

— Почему ребенок?

— Ну, кто бы, занимая такую должность, признался, что перепил? Начальство только боржом пьет... Молоко и то им не разрешается.

— Я плохой начальник.

— Дай бог, чтоб все такие были.

— Тамара Федоровна, это же подхалимаж.

После своих пошли посетители. С ними было трудней. Их надо выслушивать, потому что дела такого рода, входящие в компетенцию главного архитектора, как правило, запутаны, иной раз, слушая какого-нибудь частника, не сразу и до сути доберешься — чего же он хочет? Тем более трудно сегодня, когда в голову лезет черт знает что.

«В приборе высохли чернила. Никто теперь не пользуется приборами, а их все еще покупают и ставят на столы».

«Сапожки на женщине заметно разнятся по цвету: один темнее, другой светлее. Явный брак может создать моду. Надо поискать примеры такого парадокса».

Явился на прием старик, которого Карнач давно знал. Все его знали в исполкоме, этого бородатого старовера, три года он обивает пороги разных учреждений.

Дом его с хорошим садом оказался в квартале новой застройки. Надо было сносить. Но дед отказался от квартиры в новом доме. Он не мог жить без собственной крепости, а потому потребовал, чтоб ему построили такой же дом в Заречном районе, у леса, где в то время еще отводились участки под индивидуальную застройку. И чтоб посадили сад. Требования его вдвое превышали нормы расходов на такой перенос. Возразили финансисты. Но закон защищал права собственника. Дед знал законы лучше любого юриста. Уговаривали его не только официальные органы, но и собственные дети, ничто не помогло — старовер был упрям, как козел.

Игнатовичу, который в то время был председателем исполкома, надоело заниматься его заявлениями и жалобами, и он решил: не трогайте, черт с ним, пускай остается; начнется строительство, сам попросит, чтоб перенесли или дали квартиру в новом доме. Игнатович ошибся, он не знал, что такое староверческое упрямство. С обеих сторон садика выросли пятиэтажные каменные дома, а дед никуда не просится, только по верху сетки, которой огорожена его крепость, пустил колючую проволоку, чтоб не лазили дети. А когда жители кооперативного дома написали заявление с просьбой снести домик частника, старик отомстил им по-своему: перенес уборную с дальнего конца сада под окна жалобщиков.

Максима история эта когда-то забавляла. Когда начинали планировку квартала, он настойчиво

требовал, чтобы нашли средства и удовлетворили желание старовера переселиться в Заречный район. Его не послушались. Пускай же теперь разбираются те, кто хотел сэкономить какую-то ерунду в то время, когда планировалась застройка на миллионы рублей. Старовер этот — что прыщ на носу. Но теперь уже не только у архитектуры.

Старика обязали снести уборную. Но, пока добивались, чтоб он выполнил решение (милиция не знала, как его заставить, — деликатное дело), возмущенные жильцы управились сами: ночью разнесли в щепу дедову «скворечню». И своей поспешностью посадили старовера, как говорится, «на коня»: теперь он ходит по учреждениям уже как истец, а не как ответчик. И похоже, что сутяжничество стало смыслом его жизни.

Максим в начале этой староверческой эпопеи разговаривал со стариком с веселым юмором, терпеливо, часто не только о конкретном деле, а вообще о жизни: интересовала философия этого бородача, который, проповедуя старую веру, в то же время прекрасно умел приспособиться к новым условиям, отлично изучил законы, охранявшие его общественные, имущественные и все прочие права.

Старовер знал, что главный архитектор добивался переноса его «цитадели», к тому же умел внимательно выслушать и поговорить на разные темы, и в других учреждениях ставил Карнача в пример: мол, единственный начальник, который понимает простого человека. Наверно, делал это не без умысла — неплохо иметь авторитетного защитника на будущее, потому что знал, что не один год ему судиться с городскими властями и новыми соседями.

Максим сперва даже обрадовался, увидев знакомую бороду. Дед не лишен юмора, с ним можно весело поболтать, немного позабавиться и забыть обо всех серьезных проблемах.

Но старовер кипел гневом и требовал, чтоб архитектор тут же поехал и показал, где имеет право он, хозяин

участка, отгородить клочок для неотложной нужды; искать средства заставить «фулиганов» из соседнего дома восстановить разрушенное строение он будет в другом месте.

Максим сразу почувствовал, что гнев старовера — дымовая завеса, на самом же деле этот бородатый тип издевается над законами, строительными порядками, регламентациями и над ним, главным архитектором, тоже. Подумал, какими вонючими делами приходится заниматься! И тут же вспомнил попрек Игнатовича и свою борьбу за то, чтоб главный архитектор был главным в том, что имеет отношение к архитектуре. Вдруг показалось, что победа, которой он когда-то радовался и которой похвалялся перед коллегами, мифическая, что ничего не изменилось и роль его — вот она, вся ее суть в этом «староверческом деле».

Депрессия, сделавшая его безразличным ко всему на свете, вдруг обернулась раздражительностью и злостью. На кого? На этого старика? На него тоже. Но и на себя самого. На свою должность.

Максим сжал подлокотники кресла и уставился в бумаги на столе, чтоб не смотреть в наглые маслянистые глазки старовера, на его совсем молодой, без морщин, лоб — единственное место, не заросшее шерстью.

— Послушайте, Маслобоев, — и тут же подумал: «Фамилия — как нарочно придуманная». — Вам же предлагали канализацию. В доме у вас места хватает..;

— Паскудство это великое и противное богу — нужник в доме. У меня в доме святой дух живет.

— Значит, ваш дух и святой дух не уживаются вместе? И потому вы свой дух подсунули соседям?

Маслобоев на миг смешался. Но тут же загудел, укоризненно качая головой:

— Нехорошо, начальник, смеяться над старым

человеком и над его верой. Веру мою вам все одно не поколебать. Я знаю, что бог принимает из того, что теперь творится на земле, а чего не принимает.

— Много он вам доверил, бог. Это он посоветовал вам подсунуть ваш «святой дух» грешным?

— Не оскорбляйте бога, начальник. Я не за тем к вам пришел. Я покоряюсь власти, хотя поступает она несправедливо. Укажите мне, где поставить, и все.

Максим тяжело поднялся с кресла, отступил в сторону; он кипел, но сдерживался.

— Знаете что, Маслобоев?

— Что?

— Садитесь на мое место...

Старовер, как бы почуяв подвох, тоже настороженно привстал.

— Не надо мне вашего места. Я сижу на своем, куда бог посадил.

— Нет! Садитесь! И пошлите меня...

Маслобоев не обиделся, не возмутился. Он почти обрадовался, что вывел из терпения еще одного представителя власти, самого терпеливого, и что получил возможность написать еще одну жалобу. Глазки его, казалось, даже завертелись, и он закричал фальцетом:

— Так! Так! Так! Вот так, значит, говорят с советским человеком?

Больше Максим сдерживаться не мог. Загремел на весь горсовет:

— Ты советский человек? Кулак ты, хапуга, ханжа и кляузник!

Старовера как ветром сдуло. Вспоминая потом, как тот

кинулся к двери, с какой молодой прытью, Максим смеялся. Но тогда было не до смеха.

Председатель исполкома Кислюк до горсовета был секретарем сельского райкома и, должно быть, оттуда принес непривычный для такого учреждения стиль работы. Председателю не сиделось в кабинете. Даже своих непосредственных подчиненных он редко вызывал в кабинет, чаще шел к ним в отделы. Между прочим, некоторые считали, что это разумная хитрость: председательские посещения дисциплинировали людей. Теперь никто в рабочее время не играл в шашки, потому что Кислюк мог нагрянуть в любую, самую неожиданную минуту.

Так что Максим не удивился, когда увидел председателя на пороге своей комнаты. Не удивился, но совсем не обрадовался: никакими делами заниматься не хотелось, с Кислюком особенно. Председатель был молодой, энергичный работник, но Максиму казалось парадоксальным, что, не в пример Игнатовичу, инженеру-механику, Кислюк, который долго работал по культуре и пропаганде, был равнодушен к архитектурной эстетике. Чистейший функционалист. Для него, пожалуй, все равно, что парадный фасад Дворца культуры, что глухая, без окон, стена холодильника. Правда, одно хорошо, что сам он знает свое слабое место, признает это и никогда не навязывает другим собственный вкус и понимание архитектуры. Целиком полагается на главного архитектора и... на секретаря горкома.

— Максим Евтихиевич, что вы такое сказали этому бородачу? Он чуть не сбил с ног Зину, когда та пыталась не пустить его ко мне. Влетел, как с цепи сорвавшись, призывал на вашу голову и гнев божий, и гнев ЦК, Совета Министров... всех высших органов.

Максим рассказал вяло, нехотя, равнодушный к самому факту и ко всему тому, что из него может проистечь. Но Кислюка рассказ его рассмешил, Максим ни разу еще не видел, чтоб председатель так заливисто, по-детски, до слез смеялся.

— Нет, серьезно, так и сказали?

— Так и сказал.

— Ох, не могу. Его дух и дух святой не уживаются вместе? Ну, насмешили...

— Павел Павлович, издевается он, старый ханжа, над нами. Это не смешно, а грустно. Мы иной раз невнимательно выслушиваем прекрасных людей, отказываем им в помощи и нянчимся с такими вот наглецами.

Кислюк вытер пальцами слезы.

— Да, смешного мало. Теперь хлынет новый поток кляуз. Самое противное — отвечать на жалобы бездоказательные, клеветнические. Знаешь, что кляуза, что ответить на нее стоило бы, как вы ответили староверу этому. А нельзя.

— На очередную кляузу Маслобоева поручите ответить мне.

— Чтоб потом приехало семь комиссий? Нет, дорогой Максим Евтихиевич, нам суждено оставаться бюрократами. Так проще откреститься и от бога, и от черта,

Максим внимательно посмотрел на председателя и серьезно, даже сурово сказал:

— А может, попробуем остаться людьми? Просто человеками?

Кислюка, знавшего, что обычно Карнач подхватывает любую шутку и катит ее, как снежный ком, удивила такая непривычная его серьезность. Он засмеялся, покачал головой.

— Однако настроение у вас сегодня... Даже боязно начинать разговор о деле.

Максим насторожился.

— Что там еще? Давайте. Сразу всех жаб. Проглочу. Я не брезглив, всеядный.

— Однако. Кто вам сегодня наступил на мозоль?

— Забудьте о моих мозолях. Я ваш подчиненный.

— Вы меня обижаете, Максим Евтихиевич. Ей-богу, я еще не настолько обюрократился, чтоб так разговаривать с вами. Я глубоко уважаю ваш авторитет...

Максим ненавидел раздражительность в других и в себе тоже. Обычно он умел не показывать ее на людях. Странно, но перед Кислюком ему не захотелось скрывать свое настроение, притворяться бодрячком. В то же время он понимал неуместность такого тона в разговоре с человеком, безусловно, доброжелательным.

Мягкой улыбкой попросил прощения. Но все же не сдержался:

— Теперь в любви ко мне клянется только один человек — Макоед.

Кислюк знал об их отношениях и, обиженный таким сравнением, тяжело вздохнул. Остальное до него не могло дойти. А между тем, если б не встреча с Макоедом, не беседа с Игнатовичем, весь их разговор, наверно, имел бы совсем другую окраску, другой характер. А еще была в его словах горькая ирония.

Но председатель не знал ни о его отношениях с женой, ни о разговоре у Игнатовича и потому счел, что, пожалуй, всего уместнее, деликатнее промолчать и перейти к делу.

— Звонил Игнатович. Требует, чтобы мы «посадили» на проспекте, напротив Лесной, общежитие института.

Максим втянул в легкие воздух и задержал дыхание. Кислюк умолк, ждал, что архитектор сейчас гневно запротестует. Но тот так же шумно выдохнул воздух и ничего не ответил.

Председатель откровенно признался:

— Ничего не понимаю. Даже мне, грешному функционалисту, как вы меня окрестили, абсолютно ясно, что на это место просится что-то монументальное, а не ординарная коробка. В будущем это второй центр. Игнатович меня удивил. Такое внимание к архитектурному облику города и вдруг… Поговорили бы вы с ним.

— А вы? Вы говорили?

— Попытался. Ответ короткий: «Нет вопроса!» Для него нет вопроса. А для нас вопрос есть. Вы могли бы более профессионально доказать. Да вам и проще при ваших отношениях…

— Родственных, да? — криво улыбнулся Максим и сердито выпалил: — К вашему сведению, Павел Павлович, я никогда не решаю архитектурные проблемы по-родственному.

Кислюк смутился.

— Вы меня неправильно поняли. Прежде всего я имею в виду вашу компетентность. Игнатович считается с вашим мнением.

— Павел Павлович, к Игнатовичу не пойду говорить на эту тему. Но постановления не подпишу.

— Что же делать?

— Обойти главного архитектора — это так просто. Не впервые.

Кислюк, который только вначале на минутку присел, а потом расхаживал вокруг стола, вдруг направился к двери. Но посреди комнаты остановился и издалека, уже совсем по-начальнически, иронично, с сознанием своей власти посмотрел на Карнача.

— Однако колючий вы сегодня. Не дотронуться. Не нравитесь вы мне.

— Спасибо за откровенность. Между прочим, я никогда не старался нравиться начальству. Принимайте таким, каков есть. Да, кстати, с сегодняшнего дня обязанности ваши усложняются. Теперь Игнатовича убеждать придется вам. Какие проблемы он еще подкинул?

Кислюк вернулся к столу.

— Это уже мелочь. Есть указание: дом на Ветряной, который занимают сейчас геологи, надстроить и передать под исполком сельского района.

— Что значит надстроить?

— К двум этажам еще два.

Максим почувствовал, как кровь ударила в виски, словно эта обыденная история с малоприметным домом вдруг задела его собственную судьбу. Да, задела, потому что в воображении его уже давно живет архитектурный образ этого живописного уголка над рекой — такой, каким он будет после реконструкции. Это один из тех образов, что возникают в бессонные ночи. Один из тех проектов, что рождаются сами по себе, без заказа и которые дают смысл жизни зодчего. Может быть, замысел никогда не осуществится, но, пока он есть, пока живут желание и мечта, есть радость творчества: даешь простор фантазии и мысленно планируешь, строишь что-то новое. В городе это единственный уголок, где во время войны уцелели старые, XVII—XVIII веков здания. Суметь сохранить все старое, имеющее историческую и архитектурную ценность, и сочетать его с новым — задача сложная, интересная, какой ему еще не приходилось решать. Двадцать лет он строил только новое, убирая остатки старого, разрушенного войной. Так было в Минске, так было и здесь, в этом городе.

Максим стремительно вышел из-за стола, сердито рванул занавеску на стене, зазвенели кольца на проволоке, открылся генеральный план реконструкции города. Он ткнул пальцем в план.

— Десятки людей ломали головы, не спали, спорили, чтоб разработать его. И вдруг кто-то, почесав левой рукой правое ухо, одним махом все перечеркивает.

— Ну, так уж и перечеркивает. Одним домом весь план? — снисходительно улыбнулся Кислюк.

Безразличие Максима как рукой сняло. Вмиг вернулось его обычное, знакомое всем состояние — энергия, полемический огонь.

— Черт возьми! Не план. Лучший район. Зачеркивает возможности реконструкции целого района. Эту старую казарму давно надо снести. Не позволяла наша бедность. В таком виде через год-два мы ее уберем. А кто позволит сносить, если мы ухлопаем полмиллиона и надстроим еще два этажа? Пришьем новый рукав к старой свитке. И будет стоять уродина, как бельмо в глазу. Закроет перспективу на реку. Ни один гений не найдет тогда композиционного решения района, Павел Павлович. Что перед таким домом можно посадить? Филармонию, как мы планировали? Смешно! А теперь взгляните с другой стороны. Все мы говорим о транспортной проблеме, которая уже возникла. А что будет через пять, десять лет? В этом конце уже два крупных учреждения, возле которых собирается сотня машин. Сажаем третье, к которому пойдут колхозные грузовики. Потом, допустим, посадим филармонию. Приближается время, когда люди станут ездить на концерты на собственных машинах. Где их ставить? Снос этого «чирья», кроме того, что открывает перспективу, дает площадку для машин. Неужели это трудно понять? Кто дал такое «мудрое» указание? Игнатович?

— Сосновский.

— Сосновский? Ну, Сосновскому я докажу! Не может он не согласиться! Не в пятидесятые годы мы живем, чтоб все латать прорехи.

— Вот таким вы мне нравитесь, — улыбнулся Кислюк.

— Мне нужны не ваши комплименты, а ваша поддержка! Что вы ответили на это требование? Есть? Будет сделано? Так?

Кислюк нахмурился.

— Вот вы как думаете обо мне?

— А как мне думать?

— Если б я сказал: «Будет сделано!» — то не пришел бы к вам и, между прочим, легко сумел бы вас обойти.

Сказал и вышел из комнаты, не попрощавшись. Обиделся. Но Максима это мало тронуло. Во-первых, знал, что Кислюк не злопамятен. А во-вторых, упрек в нерешительности, несомненно, подбавит ему пыла в борьбе за проекты, с которыми он согласен.

У Максима появилось ощущение, что он одержал победу, пускай небольшую и пока что неизвестно над кем. Может быть, просто над обстоятельствами. Суть не в этом. Главное — это изменило настроение, вернуло к активной деятельности.

Он остановился перед планом города. Знал его наизусть. Но все равно любил вот так постоять и посмотреть. Тут всего ярче возникал образ будущего города во всей полноте планировочных композиций. Словно видишь свой город с высоты. Через несколько минут спустишься сюда, в новый аэропорт. И тебе надо решить, куда ты поедешь, что тебе захочется посмотреть после недолгой разлуки. Проспект Мира? Аллею Героев? Новый парк? Заречный район? У Витьки Шугачева замечательная идея этого района. Детали уже ложатся на листы ватмана. Виктор работает, веря, что он, главный, добьется ассигнований на экспериментальную застройку. Потому Виктора так испугал его самоотвод. Шугачев никогда не копирует чужое, не гонится за модой, он бывает традиционен, однако решения у него всегда оригинальные — в русле лучших традиций отечественной архитектуры,

Странно, Виктор так редко говорит о своей работе. А вот дети пошли за ним, двое уже выбрали отцовскую профессию. Он же столько беседовал с Ветой об архитектуре. А она выбрала музыку... Если б сама выбрала! Он до сих пор не верит, что из нее выйдет настоящая пианистка.

Подумал о детях, и тут же возникло острое ощущение вины за то, что он упустил что-то очень важное, что должен был сделать. Не сразу сообразил, что, перед кем он виноват. Перед Ветой? Нет. Перед Верой Шугачевой. За три дня он не удосужился поговорить с этим каштановым красавчиком. К черту все дела! Все высокие материи! Надо спасать юное девичье сердце, отвести от него беду!

Нина Ивановна испугалась, увидев Карнача на пороге своей комнаты в институте. Только что так по-дурацки позвонил этот чурбан, ее муж, и Карнач уже здесь. А лекций, она знала, у него нет, он прочитал свой курс за два месяца, чтоб не отрываться надолго от основной работы, ректорат шел ему навстречу, только бы читал. Неужели все решено? А что, если он скажет: «Ну вот, я пришел тебя заменить. Ты жаловалась, что тебе трудно вести кафедру?» Нина Ивановна похолодела от этой мысли.

А Карнач — воплощение вежливости, галантности, оптимизма. Как это подозрительно! Подошел в пальто, бросив меховую шапку на стол, поздоровался, задержал ее руку, любуясь.

— Ну как тут удержаться, чтоб не поцеловать такую руку?

Лаборантка кафедры Роза — верная слуга Нины Ивановны, ее глаза и уши — залилась радостным смехом. Поздоровавшись с ней (больше в комнате никого не было), Максим продолжал:

— Нина Ивановна, ты картошку когда-нибудь чистишь? Это ж надо уметь так холить руки, — он оглядел статную фигуру моложавой женщины в новеньком, с

иголочки, простом, но со вкусом сшитом костюме. Мало в городе женщин, которые умеют так одеваться — просто и красиво. Дашу тянет на крикливую сверхмоду.

— А муж у меня зачем? — без улыбки ответила Нина Ивановна на его вопрос о картошке, все еще настороженная и испуганная.

— Бедный Макоед? Да и все мы, мужчины. Возвращается матриархат.

— По-моему, это вам хочется вернуть матриархат, чтоб еще больше работы взвалить на наши слабые плечи.

Нине Ивановне не терпелось поскорей перейти от галантной болтовни к более серьезному разговору, который, может быть, прояснил бы ее положение.

— Какие новости в архитектуре, Максим?

— Нина Ивановна, богиня моя, все новости должны быть у вас, теоретиков. А нам, практикам, некогда полистать журнал. Сегодня один бородатый тип потребовал, чтоб я пошел показал, где ему поставить уборную, простите.

Роза, недавно приобщившаяся к архитектуре, любила разговоры на специальные темы и слушала, разинув рот, но уборная ее опять рассмешила.

— А высокому функционалисту пришла идея надстроить николаевскую казарму на Ветряной. Можешь представить, какой шедевр мы возвели бы.

У Нины Ивановны немного отлегло от сердца: нет, кажется, он по-прежнему занят своей работой.

— Твой гениальный Макоед тоже не нашел другого места, как площадка напротив Лесной, чтоб посадить общежитие института. Еще один шедевр!

Нина Ивановна засмеялась, почти уже успокоенная; сарказм по отношению к мужу ее не задел.

Но тут же неожиданно Максим нанес чуть ли не смертельный удар.

— Надоела мне до чертиков эта нервотрепка. Завидую вам. Чистая наука. Безгрешные юные души.

— Так переходите к нам! — весело предложила Роза. — Вас с распростертыми объятиями примут.

Не ведало наивное существо, что в один миг превратилось из лучшего друга и слуги во врага своей покровительницы. Но Нина Ивановна не испепелила ее взглядом: боялась взглянуть, чтоб не выдать себя.

— Открой лучше, Максим, нам, бабам, секрет своей молодости. Гляжу на тебя и дивлюсь: при такой цыганской черноте ни одного седого волоса.

— Не сплю на чужих подушках.

Роза сползла под стол.

— Не думаю, что мой Макоед спит, — без улыбки ответила Нина Ивановна.

— Макоеду ты часто мылишь голову, вот и полысел.

Нина Ивановна засмеялась, хотя на сердце было пусто и холодно.

Роза кудахтала от смеха.

Заведующая кафедрой упрекнула лаборантку.

— Роза, вы — что малое дитя.

Та вмиг умолкла, испугалась: почему вдруг на «вы»?

Резко зазвенел электрический звонок. Над головой и где-то далеко в коридоре затопали, загрохотали, даже стакан звякнул о графин. Максим поморщился: легкие железобетонные конструкции непригодны для зданий, где собирается столько людей, все дрожит, над головой грохот, будто танки идут. В старом корпусе Минского политехнического, где он учился, ничего подобного не

было.

Вадима Кулагина он нашел, когда окончился перерыв и студенты собрались в аудитории. Тот неохотно принял приглашение выйти поговорить — не хочет пропускать лекцию.

Максим, глубоко скрыв сарказм, сказал совершенно серьезно:

— Приятно видеть студента, который не пропускает ни одной лекции.

Попал в цель — друзья Вадима весело засмеялись.

Юноша был уверен, что его ведут в деканат, поэтому держал себя несколько нахально. Удивился, когда Максим предложил выйти на улицу. Удивился и... испугался. Максим простил ему нахальство, в его возрасте многие ведут себя так, это глупая мальчишеская форма утверждения своего «я», своей независимости. Сам он, правда, таким не был, потому что до института армия и война уже воспитали в нем чувство собственного достоинства. Но ни на войне, когда каждый день смотрели смерти в глаза, ни теперь, в мирной жизни, Максим никому не прощал трусости. Поэтому, увидев, что Кулагин испугался, сразу настроился против него.

Вадим не хотел одеваться, должно быть, нарочно, чтоб разговор не затянулся.

— Я закаленный.

— А я не закаленный, — с ударением сказал Максим. — Поэтому хочу разговаривать на равных. Я в пальто, в меховой шапке. А ты рядом будешь, как сирота, обращать на себя внимание прохожих. Что они подумают обо мне?

Вадим оделся.

Пошли проспектом по направлению к полю. Оно недалеко, новый институт строился на окраине. После

его постройки проспект протянулся дальше: посадили молочный комбинат, рядом жилые дома. Многие в городе гордятся этим районом. Но не главный архитектор. Максим считает эту застройку своим самым большим поражением: слишком уж «по-новому», шаблонно, по-сверхтиповому. Чистейший функционализм. Такие районы есть в каждом городе. Единственное их достоинство, что новые. А что будет, когда они постареют?

Он спросил у студента, как ему нравятся планировка района и его архитектурный облик. Вадим ответил:

— Мне нравится. Современно.

Вот так, коротко и ясно: современно. Формула всеобъемлющая. Попробуй спорить.

Поэтому, оставив архитектуру в покое, Максим безо всяких подходов спросил о главном:

— Ты любишь Веру?

Вадим не удивился, как будто ждал этого вопроса.

— Это имеет отношение к архитектуре?

— Это имеет отношение к судьбе будущего архитектора. Между прочим, есть нерушимый закон, он не записан в моральном кодексе, но вытекает из него: прежде чем стать хорошим специалистом в любой области, надо стать человеком. Просто человеком.

Но тут же обожгла мысль: «Завтра он узнает, что я развожусь с женой, и можно представить, как истолкует мои слова».

Вадим помолчал минутку и ответил как будто даже застенчиво:

— Мы дружим.

— Знаешь, что от вашей дружбы будет ребенок?

Юноша остановился, глотнул морозный воздух, по лбу из-под шапки красивых каштановых волос поползла бледность, но не дошла до щек, они не побледнели, по-прежнему светились здоровым румянцем.

— Откуда вы... знаете?

— Я друг семьи.

Он съежился, и бледность перешла на щеки.

— И родители знают?

— Пока нет.

— Откуда же вы?..

— Мне сказала Вера.

Губы его скривились в подленькой ухмылочке, и бледность поползла обратно, вверх,

— Почему такое доверие?

Максиму стало гадко. Если б речь шла о судьбе его собственной дочери, то на этом он бы, верно, прекратил разговор с «женихом». Но Веру такая развязка мало порадует. Этой бедной влюбленной девочке надо помочь выйти из ее тяжелого положения с наименьшей душевной травмой. Да и всем Шугачевым — Поле, Виктору... Наконец, надо исходить из того, что нет людей безнадежных, тем более не безнадежен этот парень, в хороших руках — а у Шугачевых руки хорошие — он еще может стать человеком.

— Почему такое доверие, тебе, видно, трудно понять. Но ты мог бы знать из ее рассказов, что я нес ее из роддома. Нянчил, когда ей было год, два, три... Существовала когда-то такая категория — крестный отец. Часто он бывал духовным отцом. Ему, особенно если он близкий друг семьи, дети доверяли больше, чем родителям. У тебя не было такого человека?

Вадим молчал.

— Представляешь ее душевное состояние, если она отважилась признаться мне в своей беде? Хотя, по логике, для женщины это должно быть радостью, счастьем...

— Что? — должно быть, Вадим задумался и не уловил смысла его слов.

— То, что она будет матерью.

— Ну, не очень-то этому радуются в наше время.

У Максима зачесались руки, но он спрятал их в карманы пальто.

Студент достал сигареты, щелкнул красивой зажигалкой. Дым потянуло на Максима, и ему тоже захотелось курить. Но своих сигарет не было — нарочно не носил, чтоб не поддаться искушению. Бестактность студента — закуривает, не спросив разрешения, — оправдал: должно быть, волнуется, а если волнуется, значит, не законченный циник.

Максим смягчился.

— Думаю, ты знаешь, что в таких случаях делает мужчина?

— Что делает? — наивно спросил студент и закашлялся, поперхнувшись табачным дымом.

— Неужто не знаешь? — с иронией повторил Максим. — Я имею в виду настоящего мужчину. У которого есть совесть. Честь. Надеюсь, что ты именно такой.

Вадим не сразу ответил.

Максим дал ему подумать, не торопил.

— У меня есть отец и мать, я их уважаю. Я ничего не решал без их согласия. А они против моей женитьбы.

— Твое уважительное отношение к родителям хвалю. Ты говорил с ними?

— Отец сказал: женишься — живи как хочешь. А как я проживу, пока учусь?

Максим отметил, что Вадим не отвечает на его вопрос, говорил ли он с родителями о Вере. Он ссылается на слова отца, которые могли быть сказаны год и два назад за вечерним чаем, обычные слова, которые говорят отцы по конкретному поводу или просто так, желая продемонстрировать «житейскую мудрость».

Если бы Максим поверил в искренность Вадима, то пообещал бы и ему, как Вере: «Я поговорю с твоими родителями». Так и думал, когда ехал в институт. Но во время разговора убедился, что дело не в родителях или, во всяком случае, не только в них. Перед ним был молодой рационалист, который научился разделять свои чувства на выгодные для него и невыгодные. Красивыми словами, эмоциональными призывами его не убедишь.

— Как же живут другие?

— Немногие студенты женятся. А кто женат, так и живут.

— А ты приучен к сладкой жизни?

— Я живу в общежитии, как все.

Осмелел и отбивает удары ловко.

— Что же ты советуешь Вере? Что ей делать?

Студент раздраженно бросил окурок на лед в канаву. Асфальтированный тротуар кончился, они остановились, словно перед препятствием. Вадим первый повернул назад, как бы подчеркивая, что ему разговор надоел, что пора кончать его. Посмотрел на Максима нахально, дерзко и, показалось, насмешливо. Победителем посмотрел.

— С Верой мы сами договоримся. Без вас. Вот как заговорил!

Максима передернуло, но он понимал, что в такой ситуации, с таким человеком спокойствие — самое сильное оружие.

— Это разумно — договориться вам самим. Но знай, Шугачевы не та семья и Вера не та девушка, Чтоб это можно было решить так, как, я чувствую, тебе хочется. Нет, дорогой мой молодой коллега! За все надо отвечать. За все наши архитектурные и житейские промашки. Однако в данном случае высокая ответственность может дать тебе счастье на всю жизнь.

Он посмотрел на Вадима: если тот скептически улыбнется на его слова, надо будет повернуть разговор иначе, тогда уж пусть не ждет деликатности и пощады. Нет, студент был задумчив и серьезен. Значит, не сомневается в том, что Вера — девушка, с которой можно построить счастье.

— Я поговорю с родителями.

Ах, свинтус! Все-таки признался, что о Вере ты с ними не говорил, а морочил голову девушке.

— Хочешь, я тебе помогу?

Вадим опять испугался.

— Нет, нет. Нет. Не надо. Я сам...

Максим отбросил дипломатию.

— Слушай, парень! Ты передо мной не крути... Я тебя вижу насквозь. И ты меня знаешь. Должен знать не только как преподавателя... Имей в виду... Верина судьба меня волнует так же, как судьба собственной дочери. Тебе понятно?

Вадим, как школьник, кивнул головой.

— Ну вот. Будем считать, что договорились. А теперь иди и хорошенько подумай. Не поспи ночь-другую... Подумай, как над самым ответственным проектом. А это проект серьезный, уверяю тебя. Будь здоров.

Студент постоял перед ним в нерешительности, опять с белой полосой на лбу, то ли собираясь что-то ответить, то ли не зная, как попрощаться. Потом быстро, почти по-военному повернулся и направился к институту чуть не бегом. Шагов через тридцать оглянулся, как будто хотел убедиться, что за ним не гонятся.

Максим стоял и смотрел ему вслед.

В воздухе кружились робкие снежинки.

VI

Игнатович с его пунктуальностью и требовательностью так уплотнил рабочий день, так загрузил себя работой, что под конец дня чувствовал себя прямо опустошенным. Уходил он из горкома на час позже всех; час этот в тишине тратил на то, чтоб спланировать следующий день, подготовить дела, требующие решения. Планировал он с серьезностью командарма, которому предстояло провести ответственную операцию. Когда по его примеру некоторые из горкомовцев тоже стали оставаться после шести, Герасим Петрович тактично дал понять, что он вовсе не считает таких работников лучшими, просто они не умеют рационально использовать рабочее время.

Одного он не любил — вечерних заседаний и собраний, на которых непременно надо было присутствовать. Они выбивали из ритма, нарушали режим, после них он с трудом засыпал и спал плохо.

В любую погоду он шел домой пешком и за эти пятнадцать минут отключался от дел, если не случалось таких, от которых, даже когда уснешь, не можешь отключиться. Лизе он редко рассказывал о своих делах, хотя жена его тоже член партии, работает в облсовпрофе, знает людей, в курсе многих городских проблем и посоветоваться с ней иногда бывает полезно. Но это значило продолжать работу и дома, никогда не отдыхать. Такая перегрузка не поможет завтра трудиться с полной отдачей. Поэтому он не любил,

чтобы и Лиза рассказывала о своих профсоюзных делах, ведь часто это оборачивалось просьбами, над которыми нельзя было не думать. С давних времен, когда они еще оба работали в комсомоле, у них установилось почти нерушимое правило: дома — за ужином, в постели, у детской кроватки — только свои семейные проблемы, больше никаких; работа работой, дом домом.

Герасим Петрович считал, что это разумное правило, оно спасает от излишних перегрузок, что особенно важно сейчас, когда уже приходится носить в кармане валидол.

Игнатович миновал переулок, где стоял его дом, и направился к парку — погулять несколько лишних минут. Хороший был вечер. Пошел тихий сухой снежок. В парке звучала музыка. Сегодня он дал указание, чтоб тут залили еще один каток, а то дети идут на реку, как только установится лед, и в прошлом году был несчастный случай. Подумал о безынициативности работников, которые отвечают за отдых детей и обязаны были раньше его позаботиться об этом. Обо всем приходится думать самому.

Герасим Петрович вздохнул. Из головы не выходили слова Сосновского, его упрек. Такова судьба партийного работника. Достаточно одной промашки, чтоб заработать такую вот «благодарность». Какая промашка? В чем? Не хватает еще секретарю горкома интересоваться, кто как спит с женой. Черт его ведает, этого Карнача! Внешне все казалось в порядке. Неужто и Лиза ничего не знала, ни о чем не догадывалась? Разозлился на жену. Наверно, из-за этого и миновал свой дом: понимал, что там придется заниматься этим неприятным, кляузным делом. Не в пример другим мужьям ему совсем не хотелось как можно скорее сообщить пикантную новость жене. Во-первых, не тот у него характер. Во-вторых, не очень это, надо полагать, Лизу порадует. В-третьих... И так далее.

Удивляло, что раздражение его против Карнача не росло, наоборот, слабело. Какое-то седьмое или тринадцатое чувство подсказывало: не он виноват. Чем

больше думал о том, что ему сообщил Карнач, тем больше настраивался против Даши. Ожила его давнишняя неприязнь к свояченице. Он как-то подумал, что Даша обокрала всех своих сестер, самая красивая, чертовка! Тогда, в молодости, он даже немного завидовал Карначу и считал, что тот должен быть ему благодарен — он их познакомил. Но потом не мог не увидеть, что Даше достались и те качества, которые вряд ли можно назвать положительными. Во всяком случае, у Лизы с годами эти черты постепенно сглаживались, а у Даши проявлялись все резче. Был момент, когда зависть к Карначу перешла в... незлобивое, этакое по-родственному добродушное злорадство: мол, природе, брат, свойственно равновесие, если много дано одного, то, как правило, не хватает чего-то другого.

Вот поэтому ему трудно было настроить себя против Максима. Но вместе с тем такое положение злило: не к лицу партийному руководителю душевная раздвоенность. Как же сохранить свойственную ему объективность, если дело дойдет до бюро горкома?

Легко Сосновскому упрекать. Разве он не знает, что в семейных отношениях сам черт ногу сломит, пока разберется. Однако придется разбираться не черту, а ему. Сосновский, наверно, спросит, что случилось.

Герасим Петрович вздохнул и отказался от намерения зайти в парк, посмотреть, как заливают каток. Нехотя повернул назад.

Лиза сразу почувствовала, что настроение у мужа не то что плохое, но все же... Во всяком случае, видно, что случилось что-то, о чем, нарушая свое правило, ему хотелось с ней поговорить. У нее разгорелось любопытство. Но за столом сидели дети.

Восьмиклассница Марина нахально и бесцеремонно требовала, чтоб ей купили такой же костюм для катка, как у Галки Бадзяй.

— Да нет их в магазине, Марина, — уговаривала дочку

мать.

— А вы не можете позвонить этому Бадзяю? У него на складе все есть.

— Марина! — ласково попрекнул дочку Герасим Петрович. — Я тебе говорил! Ты знаешь мой принцип.

— Боже мой! Да над вашей праведностью смеются! Это устарелая форма показухи. Смотрите, мол, какие мы!.. Ах, ах. И сами собой любуетесь!

— Марина! — Лиза замахнулась на дочь ложкой. — Замолчи, чертово зелье!

Герасим Петрович даже возмущаться перестал, — не впервые дочь так высказывается. Хотелось только Одного — понять истоки таких взглядов девочки, школьницы. Ему было больно от этих слов, он переживал как самое тяжкое свое поражение ее бунт против домашних строгих установок. В школе Марина Считается примерной ученицей, а дома все делает как будто назло.

Игнатович посмотрел на сына.

Девятнадцатилетний Петр, студент географического факультета, юноша вдумчивый и серьезный, гордость отца, опустил близорукие глаза в тарелку и... странно улыбался, казалось, скептически, насмешливо: мол, вот результаты вашего пуританского воспитания, любуйтесь.

Припомнился недавний спор с сыном, когда тот вежливо и тактично, но с полной убежденностью пытался доказать, что нынче пропаганда слабо воздействует на молодежь, что какие-то другие факторы — какие, он еще как следует не разобрался, возможно, экономические — нейтрализуют силу высоких и правильных слов и толкают молодых людей на удовлетворение потребительских нужд. Пришлось потратить немало энергии, чтоб доказать сыну, что он ошибается, строя столь широкие обобщения на

отдельных фактах. Теперь он подумал, что этот чертенок Марина, в свои неполные пятнадцать лет не признающая никаких авторитетов, больше, чем нужно, думающая о тряпках, не так наивна, безобидна — она плохо влияет на брата, делает его, активного комсомольца, скептиком.

Мысль эта покоробила, и он рассердился не столько на дочку, сколько на жену — это она распустила свою баловницу, без конца потакая ей, безотказно выполняя ее капризы.

Не закричал, слишком много чести. Наоборот, понизил голос, процедил сквозь зубы:

— Ты как разговариваешь с родителями? Я тебе дам показуху! — и, обращаясь к жене: — Завтра же чтоб не видел на ней этих красных сапожек! И меховой шапки! Давно ли с горшка? А уже наряжай ее как принцессу.

— Сапоги я сама выброшу, они старые. А костюмчик все равно купите! — дерзко ухмыльнулась Марина. — Ваш же лозунг: удовлетворять растущие потребности!.. Для этого вы работаете.

Петр, который обычно мучительно переживал подобные ссоры (и это радовало отца), весело рассмеялся. Смех сына прямо-таки испугал Герасима Петровича; показалось, сын теряет к нему уважение, которое ему было дорого, которым он гордился. Он на миг смешался: как же себя держать? Но возмущение прорвало плотину спокойствия и равновесия, которую он многие годы возводил на работе и дома, опрокинуло правило — не волноваться из-за мелочей, особенно семейных, потому что они всегда есть и всегда будут и принимать их к сердцу — не хватит сердца.

Загремел на всю квартиру, как это делают многие отцы:

— Я сейчас удовлетворю твои потребности! Вот возьму ремень...

Но с чертенка — как с гуся вода.

— Будешь отвечать. Я Сосновскому пожалуюсь.

— Пошла вон, поганка!

Марина смело посмотрела на отца, подумала, уйти ей или остаться, поднялась, но пригрозила:

— Ну хорошо. Вы меня еще попросите.

— Жди, поклонюсь в ножки. Приду в школу и перед классом расскажу про твои фокусы.

— Приходи, повесели класс, а то нам скучно. — И, медленно, гордо и независимо пройдя по комнате, хлопнула дверью.

Игнатович кипел. Только присутствие сына сдерживало его, а то он выказал бы свой гнев в полную силу. Это же черт знает что такое! С ним уже лет пятнадцать никто не отваживался разговаривать таким тоном.

Для тысяч людей — каких людей! — он высокий авторитет, наставник. А с собственной дочкой не знает, как быть. Что же это такое? Кто на нее влияет? Что делать? Бить, кричать? Это ему не к лицу. Чувствовал, тем, что сорвался здесь, за столом, только унизил себя перед этой маленькой вертушкой. Во всяком случае, авторитет свой отцовский не поднял.

Лиза вздохнула и сказала с укором:

— Нельзя так, Герась.

— А как можно? Ты изучала педагогику.

— У девочки переходный возраст.

— Переходный — переездный. Это ты ее избаловала. Наряжаешь, как под венец.

— Известное дело, я виновата. Кто же еще? Во всем, что не ладится в доме, виновата я. А что хорошо — твоя заслуга. У тебя выгодная позиция и дома, и на работе: ты можешь переложить вину на других.

— Работу мою не трогай!

— Ты сам доказывал, что все в жизни взаимосвязано.

— Знаю я твою женскую софистику. И сегодня у меня нет охоты ее выслушивать.

Лиза снова вздохнула.

— В том-то и беда. То у нас нет охоты выслушать друг друга. То — еще чаще — нет времени.

— Хорошо. Я слушаю. Ты мудрая. Так скажи, что делать с этой твоей тряпичницей?

— Не надо называть нас так. И думать как о тряпичницах.

— Только и всего? Какая глубокая мудрость! А подтекст прозрачен, как дистиллированная вода: покупай нам все, что мы захотим, удовлетворяй все наши прихоти, и мы будем хорошими, будем послушными. Да если хочешь знать, самая большая угроза всему святому, за что мы проливали кровь, вот в этой потребительской психологии. Это же страшно, — он сжал руками голову, — что у восьмиклассницы нет другого идеала, кроме костюма, которым ей хочется всех удивить. И это моя дочь! Ужас!

— Между прочим, все не так трагично, как тебе кажется. Ты просто плохо знаешь женскую психологию.

Петр опять засмеялся.

Отец посмотрел на него удивленно, непонимающе: над чем сын смеется?

Юноша поблагодарил мать за ужин и пошел в ту же комнату, куда нырнула Марина. Когда-то комната называлась детской, но теперь сын, студент, имел там права на один стол, а спал здесь, в столовой, на диване; комнатой завладела Марина, против чего отец тоже пытался возражать, однако безуспешно. Теперь он припомнил это, и его возмущение женой и дочерью еще

усилилось.

— Имей в виду, — спокойно и рассудительно (о, эта женщина умеет владеть собой!) сказала Лиза. — Твои наскоки на Марину не сближают тебя с сыном. Он любит сестру. Несхожие характеры ткнутся друг к другу.

Бросила соли на свежую рану. Кстати сказать, не впервые, Уже несколько раз говорила, что, мол, напрасно он тешит себя тем, что Петр в восторге от него, отца, от его дел и слов. Может быть, когда-нибудь и восторгался, но теперь вряд ли. Выходит сын из-под ею влияния, а он не видит этого или не хочет видеть.

Герасим Петрович считал, что со стороны жены бестактно попрекать его этим. Этот упрек бросал на него тень не только как на отца, хорошего семьянина, но и как на партийного руководителя. Это больно задевало.

Вдруг вспомнился утренний разговор с Карначом, его признание. Подумал: а можно ли осуждать Максима? Эти чертовы бабы любого доведут.

— Претендуешь на глубокое проникновение в человеческую психологию, а до сих пор не знаешь, что родная сестра разводится с мужем.

Лиза остолбенела, застыла с грязными тарелками, которые хотела унести на кухню.

— Какая сестра?

— Да уж не Марфа же в шестьдесят лет.

— Даша?!

— У меня был Максим. Заявил официально. Из-за этого он отвел свою кандидатуру в горком.

— Ты... ты серьезно?

— Нет, мне захотелось пошутить после милого

разговора с дочкой и... с тобой.

— Боже мой! На кого обиделся! На нас с Мариной. Постыдись, Герасим! Что у них там стряслось?

— А это я у тебя хотел спросить. Ты сестра.

Лиза поставила тарелки на край стола, опустилась на стул, бессильно уронив руки.

— Ты меня ошеломил. Такая любовь! Все завидовали. Одна я чувствовала... и не любила этого цыгана, который заглядывался на каждую юбку.

— Ты сразу нашла виноватого. А я скажу тебе, что сестрица твоя тоже штучка. Мещанка. Тряпичница. Вот они, гены, проявились, — кивнул он на дверь комнаты, где находились дети.

Лиза не обиделась. Понимала, что ссориться сейчас с мужем нет никакого смысла.

— Одного не могу постигнуть... Откуда страсть к тряпкам у Марины, еще как-то можно объяснить. А вот откуда она у дочерей такого голяка, каким всю жизнь был ваш отец, этого не понять никакому психологу.

Даже этот его выпад против них всех и в известном смысле против отца-покойника Лиза простила мужу. Молча согласилась, что есть у них такая слабость, и по-своему объяснила ее:

— От бывшей бедности, наверно. Противоположные причины подчас ведут к одним следствиям. Я позову Дашу сюда. Сейчас же. Хорошо, Герась?

— Как хочешь. Твоя сестра.

— Пожалуйста, не делай вид, что тебя это мало трогает. Ведь я понимаю, тебе это еще более неприятно, чем мне. Ты не только был связан с этим... горе-архитектором по работе. Ты дружил с ним.

— Карнач не горе-архитектор, а настоящий архитектор.

Сохраняй, пожалуйста, объективность. Неизвестно еще, кто из них больше виноват.

Даша явилась через полчаса, не больше, после Лизиного звонка. Герасим Петрович не успел прочитать статью в «Экономической газете», как раздался ее молодой веселый смех. Ей отворила Марина. Он услышал, как они поцеловались, как Даша сказала:

— Любовь моя, племянница. Мариночка! Ягодка! Цвети на зависть нам, старым. На горе женихам.

Герасим Петрович недовольно подумал:

«Надо оградить дочку от ее любви».

Марина так же довольно смеялась и, понизив голос, говорила комплименты тетке, хвалила какую-то ее обнову.

Но вышла из кухни Лиза и не словами, а, должно быть, жестом остановила шумную радость тетки и племянницы.

Игнатович еще больше настроился против женщин, и главным образом против Даши: перевалило за сорок, а в голове одни наряды.

Он встал с дивана, поднял на плечи подтяжки, застегнул рубаху. Хотел было выйти из спальни в общую комнату, но на полпути остановился. Подумал: во-первых, не надо выходить навстречу этой женщине, а то получится, что позвал ее сюда он, а не сестра; во-вторых, там, за столом, разговор может принять почти официальный характер; в-третьих, может услышать Марина, от нее, конечно, ничего не скроешь, но все же...

Спальня их трехкомнатной квартиры была в то же время и кабинетом: тут стояли письменный стол, мягкое кресло и диван, на котором можно было отдохнуть вот так, не раздеваясь.

Герасим Петрович не любил мягких домашних

шлепанцев. Надел легкие летние туфли. Но они ссохлись от редкого употребления и «заголосили» на все лады. Он застыл на месте, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре. Голоса там стали глуше, но Маринин смех звенит. Значит, у Лизы хватает ума не готовить сестру к разговору с ним в присутствии дочки, и все же его беспокоило, что они так долго не заходят. Когда женщины прошли на кухню, Герасим Петрович едва сдержал желание пойти туда, чтобы помешать им сговориться. Очень хотелось увидеть, как поведет себя Даша, услышав о решении Максима.

Нет, Лиза понимала мужа и привела Дашу в спальню, ничего заранее ей не сказав.

Герасим Петрович сразу отметил, что Даша оделась как будто специально для такого разговора. Модная длинная юбка, белая блузочка с черным бантом, сапожки на шнурках.

«Ольга Ивановна из «Попрыгуньи», вот она кто», — недоброжелательно подумал он, чтоб настроиться на соответствующий лад.

Даша всегда проявляла к нему особенное уважение, казалось, даже немного робела и смущалась. Игнатович считал, что это обыкновенная женская хитрость.

Теперь она тоже поздоровалась за руку и зарумянилась, как девочка.

— Простите, Герасим Петрович, что помешала вам отдыхать, — и, обращаясь к сестре: — Может, на кухне поговорим?

— Да нет, поговорим здесь, — строго ответил Игнатович. Увидел, что теперь она действительно испугалась, и это почему-то не понравилось ему еще больше, чем ее притворство.

Понимал, что нехорошо настраиваться против человека, не зная его вины. Не к лицу ему, в конце концов, и неопределенность: днем был почти уверен, что виноват

Карнач, такой цыган на все способен; теперь же, после стычки с дочкой и женой, заметив показную бодрость Даши, он уже почти не сомневался, что первопричина семейного разлада в ней, в этой вертихвостке, все интересы которой сосредоточены на своей внешности.

— Что-нибудь случилось? — уже совсем испуганно спросила Даша, даже глаза у нее расширились.

— Это мы хотим спросить у тебя. Что у вас случилось? — все так же строго спросил Игнатович.

— А что?

— Что у вас с Максимом?

— Ничего.

— Даша! — упрекнула сестру Лиза. — Мы все знаем.

— Что вы знаете?

— Максим был сегодня у Герасима Петровича и заявил, что вы разводитесь.

— Мы?.. Разводимся?.. — Сперва накрашенные губы ее некрасиво скривились от попытки засмеяться, Но смех не получился, заглох где-то в горле, и она спросила серьезно и испуганно, обращаясь к хозяину: — Он вам это сказал?

— Да. Официально.

Сразу побледнев, она беспомощно осмотрела знакомую комнату, как бы ища что-то. Рядом стоял пуфик, но она села на застланную постель, закрыла лицо руками и заплакала навзрыд, как маленькая. Даже затряслась вся. Настоящий истерический припадок.

Непоколебимый, твердокаменный под любым напором мужских жалоб, просьб, требований, Игнатович всегда терялся перед женскими слезами, хотя и чтил народную пословицу: бабьи слезы дешевы. Опять он увидел все с другой стороны.

«Вот до чего чертов цыган довел женщину, с которой прожил больше двадцати лет».

Лиза села рядом с Дашей, обняла ее за плечи, стала утешать:

— Успокойся, пожалуйста. Ну успокойся. Что за глупости! Как маленькая! Скажи на милость, какая трагедия! Что, у тебя куча малых ребят? Не раскисай, прошу тебя. Во-первых, не все еще потеряно. Мы еще с ним поговорим.

Но слова не успокоили, наоборот, вызвали новый поток слез, новый приступ истерики.

Игнатович вышел на кухню и вернулся со стаканом холодной воды.

Даша покорно взяла воду, пила маленькими глоточками, как пьют, когда боятся простудить горло, зубы ее дробно стучали о стакан... Выпив воды, она кулаком вытерла глаза. Лиза дала ей платочек. Смяв платок, Даша гневно потрясла кулачком и заговорила злобно:

— Зверь он! Зверь! Деспот! Тиран! Что он делает со мной? Что он со мной делает? Я молчала... Я терпела... Я никому ни слова. Родной сестре. Вам, Герасим Петрович! Никому. Я надеялась... что он образумится. Неглупый же человек. Нет, покатился... покатился. В болото. В грязь. Он же полгода не живет дома. Полгода. Прикрывается тем, что на даче работает. Но я ездила, я не один раз ездила. Нет его там. Нет. Где он? Где? Где эта... — она сказала нецензурное слово, — что приворожила его? Где он пьянствует, распутничает? Бесстыжие его глаза! Три дня назад пришел под утро, пьяный, на ногах не держался...

— Максим не держался на ногах? — даже Лиза усомнилась.

Даша накинулась на нее:

— Ты не веришь? — И снова залилась слезами. — Он

всех вас приворожил. Вы все за него! Ты тоже на него молилась!

Лизе стало неловко перед мужем.

— Ну что ты болтаешь? Когда я на него молилась? Думай, что говоришь!

— Обворожить он может. Всех, кто его плохо знает. Женщин. Мужчин. Детей. Начальство свое. Ах, какой талантливый! Какой остроумный! Смелый. Обаятельный. Притворщик он! Хамелеон!

Игнатович неслышно шагал по синтетическому ковру, заложив руки за спину, ссутулившись, словно ее слова непосильной тяжестью ложились на его плечи. Он уже не очень внимательно слушал свояченицу. Его сперва ошеломили Дашина злоба и ненависть к мужу. Неужели люди, которые когда-то так любили друг друга, могут так возненавидеть? Понял, что наладить их отношения вряд ли удастся. Но теперь его волновало не это. Он думал о себе, и мысли были невеселые. Не только он сам, но и те, кто руководил им, и те, кем он руководил, считали — знал это, чувствовал, — что он, Игнатович, понимает людей, умеет распознать любого человека, определить, чего он стоит. Неужто он так грубо, так слепо ошибался в человеке, которого знает четверть века, с которым подружился, полюбил его, с которым столько лет вместе работает?

Согласиться, что ошибался, — это моральная катастрофа, самое большое поражение, хотя- другие этого, может быть, и не заметят, разве что Сосновский с его проницательностью может еще раз ударить, как ударил сегодня. Но не это страшно. Страшно, что сам он никогда не простит себе такой промашки, страшно, наконец, что он теряет... нет, уже потерял друга.

Он пытался сохранить спокойствие и объективность. Но вспомнил слова Сосновского и почувствовал, как поднимается, растет его возмущение Карначом.

Даша осушила слезы и уже не столько с гневом,

сколько с каким-то неприятным смакованием, войдя в роль, лила грязь на мужа, вспоминала всякие мелочи и такие интимные вещи, о которых женщине, уважающей себя, не следует рассказывать даже родной сестре, а тем более в присутствии мужчины. Это Герасиму Петровичу было неприятно, и он опять попытался настроиться против Даши, однако не снимая вины с Максима: «Оба вы хороши».

Перебив ее, спросил тоном судьи:

— С чего это у вас началось?

Даша смешалась.

— Что началось?

— Что... Ну, разлад! — раздраженно развел руками Игнатович.

— С чего? С моей глупости.

— Вот это верно!

— Герась! — укорила его Лиза.

— Ничего, Лизочка. Я не боюсь признаться. Да, с моей глупости. Из-за того, что я молилась на него, как на бога. Ноги обмывала, пальчики целовала. Света за ним не видела.

— Ну, так уж и не видела! Что-то я не помню, чтоб ты замуровывала себя.

— Да я везде — на улице, на работе, на рынке — только о нем думала. Вся жизнь моя была посвящена ему. Я дочке меньше внимания отдавала, — и вдруг опять заревела, как телка: — Я... я люблю его! Я не хочу без него жить!

Это уже совсем разозлило Герасима Петровича.

— Черт ногу сломит в ваших отношениях! У меня голова трещит. Дайте мне отдохнуть!

Даша быстренько вскочила, отряхнулась, как уточка, вылезшая из воды, одернула блузку, извинилась я при этом не забыла взглянуть в зеркало.

После этого женщины еще добрый час шептались на кухне. Приглушенные голоса их доносились до спальни и раздражали Игнатовича. Лучше было бы, пожалуй, чтоб он слышал, о чем они говорят. Или пускай бы Марина включила телевизор. То не отогнать, а сегодня телевизор ее не интересует.

Ни читать, ни спокойно думать он не мог. Росло желание пойти и прекратить болтовню сестер. Но понимал, что это бестактно, сами же позвали Дашу.

Наконец, оживленно поговорив в коридоре с Мариной, Даша ушла, Лиза, озабоченная и грустная, вернулась в спальню.

— Подкинули вы мне проблемку, — недовольно сказал Герасим Петрович, забыв, что он первым узнал и сообщил жене об этой «проблемке».

Лиза тяжело вздохнула, ласково сказала:

— Я понимаю, Герась, как тебе нелегко. Я знаю твое отношение к Максиму. Но ты должен проявить твердость. Распустился человек. Погибает. Надо спасать в первую очередь его самого. Ну, разумеется, и Дашу. Ты видел, до чего она дошла. И какое благородство! Мучилась и никогда ни слова. Даже мне. Надо спасать семью.

— Легко сказать — спасать. А как это сделать?

— Герасим! Неужели тебя надо учить?

Нет, учить его не надо. Он не желает, чтоб его учила даже жена!

Шугачевы привыкли к Вадиму. Он стал приходить, когда Вера была еще на первом курсе. Полине поначалу он не понравился. Она высказала свои сомнения мужу. Но Виктор верил детям и, может быть, поэтому

придерживался самых демократических взглядов на их свободу, во всяком случае, считал, что не нужно и даже вредно вмешиваться в интимную жизнь взрослых детей. А потому сказал Полине: «Выкинь из головы старозаветные представления. А то начнешь выбирать женихов по своему вкусу. А вкус у тебя не слишком, если ты выбрала меня. Лишь бы Вере нравился. Будь готова принять такого зятя, какого выберет она. И невестку такую, какую приведет Игорь».

Она знала, ее отношение к тому или иному человеку влияет на отношение к нему всей их семьи — от Виктора до Катьки. Поэтому была очень осторожна в проявлении своих антипатий. Лучше проявлять симпатии — дети будут расти более добрыми. А она только и думала о том, чтоб дети выросли душевными, добрыми людьми.

Поэтому и Вадима приняла как своего человека в доме.

Встревожило ее, что после того, как институт посылали на картошку этой осенью, Вадим перестал заходить. И Верино настроение в последнее время на нравилось, неровное какое-то: то чересчур веселое, то не свойственное ей, подавленное.

Полина обрадовалась появлению Вадима.

Катька оповестила о нем веселым криком:

— Верка! Жених пришел!

Вера вышла из своей комнаты и шлепнула Катьку по мягкому месту. Катька прилетела на кухню, чтоб пожаловаться, но мать еще добавила фартуком, правда, по-матерински, небольно.

Маленькую пролазу репрессивные меры сестры и матери не угомонили. Она уселась на стул возле Вериной комнаты и приставила ухо к двери.

Вера обрадовалась, что после долгого перерыва, когда они встречались только в институте или случайно в кино, Вадим опять так же просто, как прежде, ранним

вечером, когда нет еще дома ни отца, ни Игоря, пришел к ней. Обрадовалась и испугалась, потому что подумала, что этот его приход должен решить то, самое главное.

До очумелости, как признавалась она сама себе, любила она этого каштанового бога. Вадим для нее был особенным, непохожим на других, на всех юношей в их городе; сколько она ни приглядывалась, красивее его не встречала.

Вадим поздоровался просто, за руку, как со всеми остальными. А ей хотелось прижаться к его груди, услышать удары его сердца, удары учащенные, как у нее, как тогда, в деревне, а потом на носочках дотянуться до его губ, почувствовать их сладкую теплоту, смешную колкость подбородка. Он каждое утро бреется, а под вечер подбородок у него уже колючий, от этой колючести ей почему-то всегда делалось смешно.

Нет, после такого его приветствия не может она кинуться с поцелуями.

Вера подошла и повернула в дверях ключ.

Вадим как будто испугался.

— Зачем?

— Катька. От нее нет покоя.

Вадим развернул трубку ее чертежа; свертки ватмана лежали на столе, на шкафу, на диване, в углу комнаты на полу. Не удивительно — три архитектора в одной квартире!

Вадим спросил:

— Твой? — И вздохнул. — Не выйдет из меня, должно быть, архитектора. Не люблю чертить. Рисовать люблю, а чертить не люблю. Не хватает терпения. Это, наверно, должно быть в крови. От предков. Как у тебя.

Вера сразу поняла, что он говорит не то, что ему хочется сказать, для чего пришел.

Она решила помочь ему. Заглянула снизу вверх в глаза, с ласковой доверчивостью близкого человека спросила:

— Вадик, почему ты?..

— Что я?

— Ну... не такой, как раньше. Ты больше не любишь меня, да? Тебе неприятно встречаться со мной?

— Не выдумывай, Вера. Это твоя всегдашняя болезненная подозрительность. И ревность. Но...

— Что «но»?

— Мы же договорились, что все проблемы разрешим сами. Разве я отказывался от чего-нибудь? А ты... ты присылаешь ко мне сватов, — и скривился в недоброй усмешке. — Очень современно!

У Веры больно екнуло сердце, оборвалось и упало куда-то вниз, туда, где зарождалась новая жизнь. Чуть не стало дурно. Желтые круги поплыли перед глазами. «Боже мой! Какой стыд! Позор! Он думает, что я послала... свата. Слово какое! Ужас!»

После разговора с Максимом Евтихиевичем она в ту ночь подумала, что сделала глупость, доверив ему тайну, которую боялась открыть даже матери. Все эти дни она мучилась, не зная, что делать. Иногда ей хотелось предупредить Вадима. Но через несколько минут начинало казаться, что будет неплохо, если взрослый, умный, добрый человек поговорит с ним, поговорит по душам, дружески. Раза два она бегала к горсовету с намерением зайти к Максиму Евтихиевичу и попросить, чтоб он никому ни слова. Но от дверей возвращалась назад. Если б он зашел к ним в эти дни домой, то она, наверно, все переиграла бы. Пускай бы шло как идет. В любом случае позор был бы меньше, чем теперь. Послала свата...

— Вадик... пойми, пожалуйста. Я не посылала свата. У меня и в мыслях этого не было. Мне просто было очень тяжело после разговора с тобой, и я доверилась...

— Вот это меня больше всего и удивляет... Почему ты доверилась ему?

— Ну, знаешь... Как тебе объяснить? Максим Евтихиевич умный...

Вадим опять гадко усмехнулся.

— Да уж не дурак!

— Он... он друг нашей семьи. Давний и самый верный. Он еще маленькой носил меня на руках...

— А теперь, случайно, не носит?

Обида, причиненная человеком, которого она любит, которому готова отдать всю жизнь, была так сильна, глубока и так неожиданна, что Вера размахнулась и изо всей силы влепила любимому пощечину, такую звонкую, что Катька услышала. И тут же, оскорбленная, обиженная, испугавшись собственного поступка, упала на диван, на свертки чертежей, и разрыдалась.

Тогда Катька вскочила, забарабанила кулачками в дверь и гневно закричала:

— Не смей бить! Не смей бить! Зачем бьешь Веру? Открой мне! Открой! Я тебе покажу. Рыжий кот! Вот ты кто!

На крик прибежала из ванной, где стирала белье, Полина, силком оттащила Катьку от дверей. Девчушка упиралась и кричала на всю квартиру:

— Пусти меня! Пусти! Он ударил Верку. Послушай, Верка плачет. Как он смеет? Рыжий кот!

Матери было смешно и горько. До слез тронула Катькина защита старшей сестры. Обычно они пять раз на день ссорятся то из-за одного, то из-за другого и

потом жалуются друг на друга. Встревожилась: что там произошло за закрытой дверью? Неужто в самом деле Вадим мог ударить Веру? Или малышке показалось? Если правда ударил, то это действительно ужасно. Но зайти к ним в комнату (а Катька следом) и начать выяснять взаимоотношения молодых людей — просто невозможно. Пускай сами разберутся.

Вадим, получив пощечину, бросился было к двери. Но Катькин крик, а потом голос Полины Николаевны остановили его. Вера тоже притихла, лежала ничком, уткнувшись лицом в смятый чертеж, ее худенькие плечи содрогались от рыданий.

Вадиму стало ее жаль. До него наконец дошло, что то, что он сказал, — глупость и тяжелое оскорбление для девушки. Может быть, впервые он понял, что не везде можно так легко и безответственно бросаться словами, как бросаются они, парни-студенты, в общежитии, соперничая в остроумии. С Верой так нельзя. Тем более нельзя здесь, в этом доме, в этой большой и дружной семье.

Он несмело попросил:

— Вера, прости. Я глупо пошутил.

Плечи ее затряслись сильней.

Вадим опустился у дивана на колени, прикоснулся к ее плечу, провел ладонью по голове, по беленьким мягким-мягким волосам, которые там, в деревне, где они копали картошку, всегда так славно пахли мятой. Вернулась прежняя нежность, жажда ее близости.

— Верочка, милая, прости. Ну, я дурак. Остолоп. Эгоист. Но я тебя так люблю. Потому и ревную ко всем. Конечно, нелепо, смешно. Ну, тресни меня еще раз. Пожалуйста. И давай помиримся. Хочешь, я пойду и сейчас же скажу твоей матери, что мы женимся? Хочешь?

Вера стремительно подняла голову, сверкнула глазами.

— Нет! Не хочу!

VII

В Минске было много дел. Как всегда. Еще в самолете Максим расписал каждый час недолгого дня — когда куда зайти, где какие вопросы решать. Из практики знал, что план такой редко выполняется с желаемой точностью, но все же в известной степени дисциплинирует и помогает уменьшить количество пустых разговоров, ненужных переходов и переездов. Предполагал обратно лететь вечерним самолетом, но, спланировав день, увидел, что это невозможно. Хотелось встретиться со старыми друзьями-архитекторами не в институтах, а за дружеским столом. За бокалом вина можно узнать больше профессиональных новостей, чем за неделю официальных разговоров в разных учреждениях. Но самое главное — поговорить с Ветой. Разговор этот не будет похож на все прежние. Раньше всегда не хватало времени ни у него, ни у дочки. «Как живешь? Как учишься?» — «Хорошо. Что там мама?» — «Деньги нужны?» — «Папа! Ты задаешь детские вопросы. А кому они не нужны, деньги?» — «Но ты тратишь по две стипендии». — «Папа! Консерватория не институт, где готовят бухгалтеров». — «Это у вас мода — разыгрывать гениев? Могу тебя уверить, что ты еще не гений. Студент, который готовится стать бухгалтером, тратит не меньше энергии, и есть ему надо не меньше...»

Не нравилась ему Ветина уверенность в своем таланте, в своей исключительности. Огорчали подобные разговоры. И сердили. Это от матери. Надо было бы поговорить с дочерью посерьезнее. Но она хитро отделывалась от трудных проблем легкими шуточками и ссылками на занятость. Побеждала ее беззаботность. Нет, это он сдавался сам, так проще, удобней, спокойнее. Думал, одним-двумя разговорами, какие бы они ни были, все равно ничего не изменишь, характер не переделаешь. Поэтому разговаривал с дочкой будто бы и серьезно, а по сути, шутя и легко, давал денег и возвращался с сознанием, что отцовский долг

выполнен.

Сегодня так быть не должно. Для сегодняшнего разговора нужны время и условия — в коридоре консерватории или в общежитии, в присутствии подружек, не поговоришь. Поэтому разговор с дочерью не укладывался в дневной план. Надо было оставаться на вечер.

Кончался год. Срывался ввод некоторых объектов. По сути, за это должно было отвечать управление капитального строительства. Но оно областное, странно, что такой горисполком не имеет своего управления. Городские власти беспокоило, что затягивалось строительство больницы, Дворца спорта, универмага.

Игнатович и Кислюк рассчитывали на пробивные способности Карнача в строительных делах, может быть, даже больше, чем на свои собственные, и при каждой его поездке в столицу давали задания, имевшие зачастую весьма косвенное отношение к обязанностям главного архитектора. Максим редко возражал, ему нравилось пробивать.

На этот раз Игнатович не вызвал к себе. От некоторых из этих поручений, не входивших в его прямые обязанности, Максим отказался, чем удивил и даже огорчил Кислюка.

Дело стройтреста — получать необходимые строительные материалы. Есть план, лимиты. Но история с керамической фасадной плиткой для Дворца спорта — завод дважды присылал не то, что нужно по проекту, — возмущала Максима, поэтому он взял это на себя.

Сила его как главного архитектора — это признавали все — была в том, что он умел добиваться, чтобы строители осуществляли проекты, а не «исправляли» их в зависимости от наличия материалов и своих возможностей. Была, правда, еще одна причина, по которой ему хотелось выбить эту злосчастную плитку.

Дворец спорта проектировал Макоед, это, пожалуй, его лучшая работа. Макоед долго чернел от зависти и злости, что ему не дают монументального объекта, а держат на жилье, на типовых проектах, где творчество можно проявить разве что в «привязке», где больше думаешь не об искусстве, а о скучных функциях — как разместить кухни, туалеты. Теперь Макоед чернеет оттого, что для своего Дворца культуры Карнач добился первосортных дефицитных материалов, а для его дворца дважды присылают негодную плитку, использование которой, по сути, перечеркивает решение внешнего облика здания.

Макоед всюду говорил об этом так, словно во всем виноват один Карнач, как будто он — и Госплан, и министр стройматериалов, и директор завода, вырабатывающего плитку.

А Карначу не меньше, чем Макоеду, хотелось, чтоб спортивный комплекс украшал одну из площадей города, а не портил ее. Напрасно Макоед считает его врагом. Кроме того, что иногда критиковал его проекты, Максим ничего плохого ему не сделал.

Да, всю жизнь он стремился быть объективным. Другое дело, что это не всегда удается. И потому, что сам он просто человек, и потому, что вокруг тоже люди, самые разные, и взаимодействие их в процессе производства никогда не выражается простым уравнением, формула взаимоотношений между людьми всегда сложна.

С незнакомыми секретаршами он давно выработал тактику, которую со смехом называл «ошеломление противника».

Вошел в приемную решительно, с толстым портфелем, где, кроме материалов, были яблоки для Веты. Шел к столу так, что секретарше, наверно, показалось: человек этот может не остановиться и опрокинуть на нее стол. У девушки сделались большие глаза. Эффект ошеломления начал действовать.

— Главный архитектор Карнач! Доложите Ивану

Петровичу!

Секретарша вскочила и сразу, как испуганная мышь, нырнула за блестящую дверь кабинета министра.

В Госстрое, например, где архитекторы, безбородые и бородатые, тихие и шумные, бывают каждый день, над таким примитивным приемом посмеялась бы даже курьерша. А тут он подействовал. Архитекторы до министра стройматериалов доходят не часто. «А зря», — подумал Максим.

Министр был не один, сидели еще двое; Максим сразу отметил: свои, министерские. Увидев, что за главный архитектор так стремительно ворвался к нему, министр разочарованно крякнул — он помнил этого человека, который несколько раз на совещаниях язвительно, беспощадно критиковал стройматериалы. Но отступать было некуда.

— Я вас слушаю.

Нет, тут не подходило стыдливо-смущенное: «Я прошу вас». Тактику ошеломления надо доводить до конца. Правда, по отношению к министру она должна быть иной.

Максим опустил свой тяжелый портфель министру на стол и начал вытаскивать из него образцы плиток, какая нужна и какую прислал завод, а также цветные снимки проекта дворца, как он должен выглядеть. Случайно выкатилось два яблока. Максим не растерялся.

— Яблок хотите? Сам вырастил.

Министр засмеялся, однако нашелся, пошутил:

— Это что, взятка?

— За хорошие стройматериалы не жалко и взятки.

Помощники министра засмеялись. Министр с улыбкой взял яблоко.

— Знаете, Карнач, — сказал один из работников, — вы похожи на факира.

— Дорогой коллега! Ни одному факиру в мире не сделать того, что вынужден делать главный архитектор города... В наше время... Вы думаете, он занимается творчеством? Он выбивала.

Опять смех.

— Вы хотите доказать, что мы выпускаем плохую плитку? — спросил министр, передав негодную плитку одному из помощников, от которого, очевидно, в какой-то степени зависело качество керамических материалов, потому что тот, заметил Максим, покраснел.

— Нет. Доказывать это нет нужды. Я просто хочу получить хорошую, потому что знаю, что она есть. Дело специалистов разбираться, почему наряду с хорошей...

— Вы имеете представление о технологии?

— Я был бы плохим архитектором, если б не знал строительных материалов... Но никакая технология не оправдывает брак,..

— Это не брак, — сказал сотрудник, рассматривая плитку.

— Мы проектировали с расчетом на тот материал, который уже был четыре года назад, когда проект утверждался... Выходит, теперь его не стало? Куда же мы идем? Вверх, вниз?

— Выросла потребность. Вы, архитекторы, как модницы.

— А вам не кажется, что вырос художественный вкус архитекторов и проектировщиков и, что особенно радостно, народа. Потому и мода меняется.

Тактику он выбрал правильную, не просить — требовать, наступать. Не слушать жалоб на трудности, которых действительно тьма в промышленности

строительных материалов. Сочувственно выслушивать такие жалобы или включаться в рассуждения о том, как с этими трудностями справиться, опасно. Размагничивает это, снижает настойчивость, возникают не те эмоциональные контакты. В таких случаях лучше не упускать инициативу и говорить о проблемах своей профессии. Больше философии и теории, больше о том новом, что рождается в архитектуре.

Так он и сделал. Сначала о том, почему они не могут изменить внешний вид дворца, как будет решаться весь ансамбль площади — он не забыл захватить снимки с генплана. Потом о тех возможностях, которые откроет цветной цемент, кстати, не только для архитектуры, но и для технологии строительных материалов. Короче говоря, от тактики ошеломления он перешел к тактике «брать измором».

Министр посмотрел на часы и сказал своим помощникам:

— Переоформите их на Войцеха.

Больше ничего не нужно было. Плитки он уже совсем незаметно забрал назад, сунул в портфель. А второе яблоко отдал работнику, имевшему отношение к плиткам.

— Отведайте. Вот качество!

Антоновка прямо светилась, налитая янтарным соком.

В Госстрое Максим вел себя совсем иначе. Со своими надо держать ухо востро. Свои не простят ни «перебора», ни «недобора», как партнеры в карточной игре. Правила жесткие, милости не жди, хотя есть тут и друзья и вечером ты с ними будешь пить коньяк и оценивать женские достоинства официантки, которая подаст вам поздний обед.

Знал он и еще одно житейское правило: можешь спорить, ссориться, чуть ли не за грудки хвататься с начальством, но у секретарш, помощников, инспекторов

оставляй о себе самое лучшее впечатление, иначе все твои домогания будут напрасны, все, чего ты нервами и кровью сердца добьешься у высоких особ, эти люди, исполнители, так «исполнят», что там, у себя, в своем городе, ты получишь «рожки да ножки». Или три дня не сможешь попасть на прием к человеку, с которым когда-то сидел на одной парте и работал в одной мастерской. Не попадешь не потому, что этот руководитель не хочет тебя принять. Нет, он сам будет разыскивать тебя, но по положению своему через секретарш и помощников. Тебя они не найдут, а его время спланируют так, что вы разминетесь в одном коридоре, в одной приемной. А встретитесь, разговор будет такой:

«Максим Евтихиевич! Здоров! Где ты загулял? Целый день жду. А теперь прости. Через пятнадцать минут лекция. Давай завтра, В котором часу? В десять я на Совмине, в двенадцать коллегия… В три разве что? Давай в три».

Но он забыл, что в три заседание Комитета по Государственным премиям, на котором он не может не быть. А секретарша сделает вид, что не слышала вашего разговора, и не напомнит… И у тебя пропадет еще один день, будешь болтаться без нужды и пользы. А там тебя на работе ждет воз неотложных дел.

Совсем иначе пойдет, если «маленькие люди» учреждений, куда часто обращаешься по службе, знают тебя и любят. Любовь эта нужна не для удовлетворения собственного тщеславия, она на пользу делу.

Обойдя отделы, где были люди, с которыми он поддерживал приятельские отношения, Карнач за какой-нибудь час не только получил полную сводку «архитектурно-строительной погоды», ее прогноз на ближайшее будущее, но и выяснил настроение каждого из руководителей, с которыми ему нужно было встретиться. А знать настроение начальства — это очень важно.

В приемную вошел как свой человек.

— Татьяна Петровна, целую ручку.

Целовать руку в официальном учреждении не обязательно, и Максим редко это делал, но почему не сказать? Женщины, особенно немолодые и особенно те, кому не часто в жизни целовали руки, любят такую безобидную галантность. Он знал, что Татьяна Петровна — мать двоих детей и дома ей, видно, несладко приходится. Но здесь, на службе, она расцвечивает свою довольно прозаическую жизнь и нарядным платьем, и учтивостью обращения с сослуживцами, и умными разговорами, и сознанием пользы своего скромного труда.

— Отведайте новые конфеты нашей фабрики. Идут на экспорт. Куда вашей «Коммунарке» до этой кондитерской новинки! Букет!

Женщина слегка покраснела, отчасти от смущения — не привыкла к подаркам, отчасти от удовольствия и благодарности за внимание. Не впервые она тайком сравнивала этого архитектора со своим мужем и в душе вздыхала, покорная судьбе. Завидовала его жене. Везет же некоторым!

— Что вы, Максим Евтихиевич! Неудобно как-то. — Повертела небольшую, ярко оформленную коробочку в руках. — Научились у нас делать! Просто чудо! Такую невозможно не купить. Правда?

— Я не покупал. Это преподношение директора фабрики. Я им жилой дом в хорошем месте «привязал». Я беру взятки конфетами и... щенками.

Татьяна Петровна поставила коробочку на стол на видном месте: пускай все любуются и пробуют. Прятать некрасиво, в самом деле будто взятка какая-то. Пожаловалась:

— Жаль, что мне шоколада нельзя. Печень.

— У вас печень? — удивился Максим. — Откуда эта болезнь у женщины? Пускай мы, мужчины,

проспиртовываем свою многострадальную печенку.

— И у вас болит?

— Болит.

Печень у него никогда не болела, но он давно приметил, что одинаковые болезни сближают людей; вообще горе, беда, боль сближают и единят крепче, чем радости.

Поделились друг с другом рецептами народных средств. Максим аккуратно записал все в книжечку, правда, на этот раз не просто так, для вида, а подумав о Витьке Шугачеве, который после зигзага в диете, что случается нередко, три дня ходит желтый.

— Здесь? — как бы между прочим кивнул на дверь, которая его сейчас интересовала больше всего.

— У себя.

— Один? Не очень занят?

Татьяна Петровна понизила голос до шепота:

— Вас примет. Стыдно ему будет вас не принять. Пойду скажу.

Заместитель председателя комитета, известный архитектор, человек вообще демократичный, веселый и общительный, даже кое в чем фантазер, не однажды удивлял контрастами своего настроения. Оба — члены правления своего творческого союза, они были, можно сказать, близки, хотя на «ты» и не перешли. Но случалось, что здесь, в комитете, Богдан Витальевич не принимал его, главного архитектора города. Это возмущало коллег. Но Максим не возмущался, обида, вспыхнувшая в приемной, быстро проходила. Он лучше, чем кто другой, знал, что такое руководящая должность, особенно для творческого человека. А Богдан так же, как и он, старался совмещать службу с творчеством. Кроме того, Максиму давно казалось, что говорун и весельчак этот таит от всех какую-то личную

трагедию.

Во всяком случае, когда Татьяна Петровна пошла в кабинет, Максим не очень еще был уверен, что «богом данный начальник», как шутили насчет него коллеги, тут же, с ходу пригласит в кабинет: в отделе намекали на «грозовую облачность» на их комитетском барометре. Имели в виду, конечно, Богдана, потому что председатель болел.

Татьяна Петровна вышла с победной улыбкой.

Не очень Максима обрадовала такая «победа». Но что поделаешь... Надо продолжать обмениваться рецептами средств от существующих и выдуманных болезней. На счастье, Татьяна Петровна забыла о болезнях и перешла на другую тему — об аферах в жилищностроительном кооперативе. О ворах и взяточниках из ЖСК вчера был напечатан фельетон в газете. Карнач за утро уже третий раз слышал о них — в самолете, в троллейбусе, когда ехал из аэропорта, в здесь, в приемной. Рассказывали по-разному, каждый из рассказчиков был чрезвычайно осведомлен и короткий фельетон развивал в целую детективную эпопею.

Богдан Витальевич не вызвал звонком, открыл дверь, пригласил:

— Прошу, Карнач.

Поздоровались у двери и сели за стол для совещаний друг против друга.

— Как жизнь? Как семья? — спросил хозяин кабинета, проведя ладонью по лицу, как бы стирая сонливость.

— Анекдот знаете?

— Ну?

— Встретились два старых друга. «Как здоровье твоей жены?» — «А что тебе до моей жены?» — «Да мне наплевать на твою жену. Это я из вежливости».

Карнач знал, что Богдан любит слушать и рассказывать анекдоты, что вообще человек он с юмором. Но тут получилась осечка. Анекдот не вызвал никаких эмоций. Даже улыбки. Пускай бы хоть обиделся на непочтительный намек. Но поразило не это. Поразил неожиданный вопрос, который никак не вытекал из анекдота:

— У вас нелады с женой?

«Неужто знает? Откуда? Каким образом?»

Выходит, сам поймался. Теперь надо выпутываться. Тут нужна шутка или более удачный анекдот.

— Отношения с женой в нашем возрасте хорошо выразил один драматург. Помните, что отвечает Моцкин[1] на вопрос, любит ли он свою должность? Говорит: «Как собственную жену: немножко люблю, немножко терплю, немножко хочу другую».

И опять мимо.

У веселого, острого на язык человека даже не шевельнулись губы в вежливой улыбке.

Максим насторожился. Чем это человек так оглушен, что он вдруг потерял самый ценный дар природы? Не зря в отделе говорили о «грозовой облачности». Но и грозы не видно. Какой-то мертвый штиль. Придется отложить шутки на лучшие времена.

Безо всяких вступлений и «мостиков» Карнач стал излагать дела, с которыми приехал.

Когда-то в начале своей работы в должности главного архитектора он возмущался тем, что надо согласовывать в республиканских, инстанциях мелочи — то, что, по здравой логике, целиком входило в компетенцию городских властей. Но теперь привык и научился легко проталкивать все такие вопросы.

Снос казармы на Ветряной, по сути, такая же мелочь. Но в связи с идеей Сосновского надстроить этот дом и

после стычки с предисполкома вопрос этот для Максима неожиданно перерос в принципиальный. «Мелочь» зачеркивала его давний замысел, становилась помехой в решении «узлового» квартала.

Чтоб легче было воздействовать на своих, он решил начать сверху — получить разрешение Госстроя на снос дома, который занозой сидел в центре района и мешал новой планировке. Знал по опыту: решение высшей инстанции животворно действует на местных руководителей. Решение высшей архитектурной инстанции, хотя оно иной раз принимается второстепенным служащим Госстроя или Белгоспроекта, помогает лучше, чем все глубокомысленные и обоснованные аргументы местных архитекторов. Потому что для некоторых там, в городе, что такое Шугачев, которого неизменно встречают в стареньком пальто, с авоськой, где белеют бутылки молока? Попробуй доказать, что Шугачев — один из лучших специалистов в республике. Какие могут быть пророки в областном городе?!

Максим сам сочинил мотивированное письмо и приложил копию плана района, утвержденного лет восемь назад. В генплане вся старина шла на снос, с чем, кстати, Максим не соглашался с самого начала и за несколько лет сумел внести некоторые свои коррективы.

Богдан Витальевич внимательно прочитал письмо и, даже не взглянув на план, сказал:

— Ничего не выйдет. В Барановичах снесли дом в два раза меньше, и им всыпали. Рикошетом ударили и по нас.

Максим дернулся в кресле так, что оно запищало, как живое.

— Вы взгляните глазами архитектора.

— В этом кабинете я редко бываю архитектором.

Такое неожиданно откровенное признание приободрило Максима, оно как бы восстанавливало тот хороший человеческий контакт, который существовал между ними при прежних встречах и которого не было почему-то сегодня.

— Я в своем служебном кабинете тоже редко бываю архитектором. Но — черт возьми! — надо же бороться, чтоб мы и здесь имели право оставаться архитекторами!

Богдан Витальевич не откликнулся на этот пламенный призыв, опять не проявил никаких эмоций.

Карнач отбросил официальность и стал горячо доказывать целесообразность скорейшего сноса этой николаевской казармы.

Руководитель комитета слушал довольно терпеливо, хотя заметил как профессионал:

— Между прочим, казармы эти иногда строили неплохие архитекторы. Не знаете, кем ваша построена? Практические задачи делали наших предшественников такими же функционалистами, какими делают нас, грешных. Только гениев не ограничивали в средствах. Эстетика дорого стоит. Растрелли, проектируя Зимний, не думал о деньгах.

Где-то Максим, должно быть, перехватил, тратя столько энергии на «мелочь», и был пойман.

— Погодите. Решение исполкома о сносе есть?

Максим смутился.

— Зачем же вам теперь наше согласие? Карнач, я знаю вашу тактику. Но когда-нибудь вы перехитрите самого себя, и вам дадут по башке.

— Если всегда бояться, что тебе дадут по башке, то невольно натянешь чугунный шлем. А это штука тяжелая, похуже, чем шоры. Не повернешь головы даже на голос собственной жены.

Впервые усмешка искривила губы чем-то очень озабоченного человека.

— Есть голоса, на которые повернете. Все мы смелые, пока нас не поставят на ковер.

В Максиме, как тесто в деже, поднималась злость: такую действительно мелочь он не пробил. А впереди проблемы потруднее. Самый крепкий орешек — жилой район Заречья. Архитектурно-планировочное задание по району он уже дважды здесь показывал. Замысел одобрили, открытым оставался вопрос об утверждении застройки как экспериментальной.

Это он, Карнач, подкинул Игнатовичу идею построить район, который воплощал бы в себе черты города будущего, коммунистического города.

Игнатович загорелся. Но осуществить такой проект, не выходя из нормативов, невозможно. Требуется разрешение высокой инстанции, наверно, Совета Министров, на индивидуальный проект и застройку, которая обойдется дороже, чем по типовому проекту таких масштабов. Но чтоб просьба города пошла в высшую инстанцию, ее должны поддержать разные организации, в первую очередь Госстрой и Госплан. Объемистая, детально аргументированная записка, над которой Карнач и Шугачев работали чуть не месяц, полгода находится в стадии изучения. Деньги отпущены на обычное проектирование. А Шугачев работает над экспериментальным проектом. За такое своеволие могут крепко ударить и главного архитектора города, и главного архитектора проекта. Но теперь они как азартные игроки. Максима радует и восхищает смелость Шугачева, обычно осторожного, взлет его фантазии. Недаром говорят, большая цель порождает большую энергию. Виктор теперь не думает о том, разрешат им или не разрешат строить такой район. Он уже построил его в голове и с вдохновением строит на ватмане. Максиму понятно такое творческое состояние, не однажды и сам работал так же, не думая ни о стоимости, ни об отсутствии материалов, с твердым убеждением: дадут! Не могут не дать под такой проект!

Должно быть, в это верит и Шугачев. Он может пока не думать о таких прозаических вещах, как деньги. В этом счастье художника. Но главный архитектор города не думать об этом не имеет права. И случилось самое страшное — у него закрались сомнения в возможности выбить эти добавочные миллионы.

Он высказал свои сомнения Игнатовичу. Но тот все еще оставался оптимистом, так, завладела им идея создания района, где людям жилось бы удобно, красиво, уютно; хотелось, чтоб образ нового города действовал на психологию жителей, воспитывал бы их, помогал в формировании нового человека.

Договорились, что Игнатович побеседует об этом в Центральном Комитете.

Перед поездкой в Минск Максим позвонил Игнатовичу, спросил, был ли такой разговор, когда тот ездил на пленум.

«Говорил», — коротко ответил Игнатович.

«С кем?»

Не сказал, с кем, что разочаровало и насторожило Максима. Мало утешили слова Игнатовича:

«К нашему замыслу относятся с интересом. Советуют не отступать».

Ему хотелось все же знать конкретно, кто относится с интересом. Раньше свояк ничего от него не таил, особенно когда дело касалось строительства города. Теперь только дал наказ:

«Надо делать новый заход».

И вот он делает его, этот заход.

Порадовало, что Богдан Витальевич проявил больше интереса к району, чем к сносу дома; правда, вещи несравнимые, тут такие масштабы! Дом для него, человека, который знал город только в общих чертах и

не вникал в детали планировки, мог показаться мелочью, недостойной его высокого внимания. Другое дело — экспериментальный район. Собственно говоря, порадовало не то, что руководитель проявил интерес, а то, что он хорошо помнил их записку, значит, изучал не формально.

— Насколько удорожится квадратный метр?

— Рублей на двадцать.

Богдан Витальевич свистнул.

— Значит, считай на все тридцать. Предварительные подсчеты всегда занижены. Чтоб не пугать плановиков.

Максим, увидев, что он как-то оживился, попробовал пошутить:

— Как прикажете понимать этот художественный свист?

— Так и понимайте.

— Что Госстрой не поддержит наш проект?

— Я этого не сказал. Но... дорогой Карнач... «Закон экономии властно управляет нашими действиями и мыслями...» Помните, кто это сказал? Человек, у которого были большие возможности. Он жил не в плановом обществе.

— Но наряду с этими словами он сказал другие: «Проблема дома — это проблема эпохи». О чем мы больше думаем? О сегодняшнем дне или об эпохе? Дом живет не один день. По нашим домам потомки будут изучать эпоху... великих социальных сдвигов и таких же великих открытий. Расщепление атома... Космические корабли... И наша... простите... порой архаичная, убогая планировка, безликая архитектура и вдобавок невысокое качество строительства... Представляю, как будет ломать голову будущий историк культуры эпохи. Одно не сочетается с другим.

— Вы уверены, что изобретете «космический корабль»?

— Нет. Мы построим район, где люди будут иметь все необходимое для жизни и отдыха. Это предусмотрено съездом партии, постановлениями ЦК и правительства. Один наш коллега сказал: бороться за красивый город — значит бороться за красивых людей.

— Все правильно. Но сделайте это, не выходя из нормативов.

— Вы же архитектор и хорошо знаете, что это невозможно.

Раздражение, которое утихло было, когда Максим увидел интерес Богдана Витальевича к их району, опять начало расти.

— Черт возьми! В конце концов, мы ставим не только градостроительный эксперимент, но и социальный! Пора уже повести решительную борьбу с отчужденностью людей, живущих по соседству. В доме, в районе, как на заводе и в учреждении, должен быть коллектив. Разве такая цель не оправдывает средства?

— На социальные эксперименты архитекторам не дают денег. Нам с вами, во всяком случае.

Максим стиснул кулаки, прижал к полированному столу, смотрел на их отражение и с удивлением ощутил удары пульса в пальцах.

— Послушайте... Богдан Витальевич... Вы хорошо знаете меня, я знаю вас. В конце концов... я требую! Или скажите: «Закрой свой проект». Или дайте разрешение.

Опять удивило, что в ответ на его выпад Богдан Витальевич не проявил никаких эмоций. Снова провел ладонью по лицу и вяло промолвил:

— Добейтесь ассигнований, мы поддержим.

— Но без вашей поддержки плановики не хотят даже

рассматривать. Получается заколдованный круг.

— Карнач, вы меня удивляете. Сказал бы это, например, Шугачев, дело иное. А ведь вы крот, знаете все ходы и выходы.

— Игнатович говорил в ЦК.

— Резонанс от его разговора не дошел до нас. Слабый, видно, был голос.

Показалось, что сказано это с иронией по отношению к Игнатовичу, и Максиму стало обидно за своего первого секретаря, он даже попробовал как-то защитить его:

— Пост Игнатовича вынуждает его говорить деликатно. Но я могу и пошуметь. У меня положение другое.

— Шумите. Пожалуйста, — снисходительно разрешил Богдан Витальевич.

Утверждение архитектурно-планировочных заданий, уже розданных Карначом (еще одна регламентация, против чего он когда-то протестовал), согласование титульных списков, два конфликта с УКСом, которое, как всегда, хотело упростить конструктивные решения, корректировка типового проекта здания облисполкома, другие вопросы, более мелкие, — все это Богдан Витальевич решил положительно и быстро, чем далее удивил Карнача. Повеселев, он сделал вывод, что отказ в одном деле морально обязывает руководителя пойти навстречу в остальных, и с усмешкой подумал, что надо будет эту психологическую особенность проверить и использовать, нарочно ставя вначале неразрешимые проблемы.

Попрощавшись уже, Богдан Витальевич как бы между прочим сказал:

— Кстати, можете считать, что вопрос о химическом комбинате решен. «Привязываем» в Белом Береге.

Максима ошарашила эта новость.

— Где решен?

— У нас решен.

— Костьми лягу, а не дам посадить «химика» в этом районе.

Добрый Богдан Витальевич почему-то вдруг рассердился, хотя не он принимал это решение и вообще промышленное строительство — не его сфера.

— Ваши кости перемелют. И даже в фундамент не положат.

— Зачем же мы там сидим, если с нашим мнением не считаются? Ломаем головы, планируем, делаем прогнозы...

— Не знаю, зачем вы там сидите, — насмешливо передернул плечами хозяин кабинета, протягивая на прощание руку.

В приемной Максим попросил Татьяну Петровну заказать телефонный разговор с Игнатовичем. Он был вне себя. Вопрос о размещении химического комбината обсуждался уже больше года. Приезжавшие представители союзного министерства облюбовали Белый Берег. У них были чисто экономические соображения: рядом вода, железная дорога, шоссе. Планы развития города? Комбинат поможет его росту. Что химикам до того, что он перечеркнет идею Заречного района, города-сада, уничтожит уникальную дубовую рощу — нынешнее место отдыха и будущий пригородный парк, когда город разрастется. Возражали все архитекторы, кроме Макоеда. Их поддержал Игнатович, хотя ему больше, чем кому иному, хотелось получить такой выгодный объект, потому что комбинат — не только химическая продукция, которая прославит город, но и жилье, школы, дворцы.

Министерству предложили три площадки на выбор, во многих отношениях не хуже Белого Берега. Разговор о комбинате на какое-то время как будто заглох.

Игнатович беспокоился. Но он, Карнач, не жалел, втайне даже не прочь был, чтоб комбинат отдали другому городу; он хорошо знал, что большая химия — это неизбежно загрязнение среды, в частности водоемов. А у них река — чудо, гордость, чище всех рек. Река дает простор для интереснейших архитектурных решений. Просто грех сажать на такой реке химию. Уверениям специалистов, что теперь очистные сооружения безукоризненны, Карнач не очень верил. Такие уверения произносились и относительно Байкала, Волги или Днепра.

И вот на тебе!

Разговор дали мгновенно. Трубку там, в их городе, взяла Галина Владимировна. Узнал ее и, странно, почувствовал, как зачастило сердце. Давно уже ничей голос так не волновал — возраст не тот.

— Галина Владимировна? Рад вас слышать.

— Максим Евтихиевич! Добрый день. — Она тоже сразу узнала, и голос ее, так ему показалось, зазвучал особенно мягко.

— Есть шеф?

— Зачем вы так? — словно обиделась она за Игнатовича. — У нас это не принято. Герасим Петрович проводит совещание.

Он ревниво подумал: «Скажи, пожалуйста, какая преданность! И почтительность!»

— Где проводит?

— У себя.

— Я звоню из Минска.

— А-а, минуточку.

Некоторое время в трубке слышны были далекие чужие голоса и как бы шум ветра, словно он врывался где-то

на линии.

Ветер стих, когда раздался голос Игнатовича, простой, свойский:

— Максим? Я слушаю. Что там у тебя?

— «Химик» садится в Береге. Ты об этом знаешь?

Пауза. Показалось, что прервалась связь.

— Алло, Герасим Петрович! Слышишь?

Тихий близкий голос:

— Нет, не знаю.

— Это решено или почти решено. Бей тревогу! Может, еще не поздно.

— Кто тебе сказал?

Максим назвал фамилию человека, от которого только что услышал эту новость.

— Очередная легенда. Сколько их уже было!

— Нет, это не легенда.

— Хорошо, я проверю. Без нас никто никуда не сядет.

— Слушай, Герасим Петрович. Я тут стучу во все двери насчет нашего района. Очень важно, чтоб где-нибудь отозвался голос того человека, с которым ты говорил в ЦК. Кто это? Могу я сослаться?

Опять пауза.

— Алло!

— Ладно. Я позвоню ему. Прости. У меня совещание.

Из одного крыла Дома правительства Максим перешел в другое по длинному коридору. Ему нравилось это величественное здание, построенное еще в тридцатые

годы. Дом правительства и до сих пор украшает город. После войны он определил принцип застройки центральной магистрали — Ленинского проспекта. Главная ценность дома — удачное сочетание функционального назначения и архитектурной эстетики. Некоторые элементы конструктивизма, модного в то время, портят отдельные детали фасада, но заметить это может только глаз специалиста. Обыкновенный человек, турист, приехавший в Минск впервые, — Карнач много раз проверял — принимает здание прежде всего как монументальный памятник архитектуры, не зная о его назначении, не задумываясь о его функциях. А это мечта каждого серьезного архитектора — создать нечто такое, на что люди смотрели бы как на памятник эпохи.

Финский градостроитель Сааринен сказал, что любая постройка, даже самая маленькая, должна выражать человеческую надежду, дух времени, эпоху. Дом строится не только для тех, кто в нем живет или работает, но и для тех, кто на него смотрит. Не очень давно Карнач боролся за сквозные параллели, простые линии, стекло и сталь — за универсальность и стандарт. Этого требовала строительная индустрия. Но еще года четыре назад лучший друг, Витя Шугачев, сказал ему за чаркой — трудно было понять, с одобрением или упреком, — что сам он почему-то выбирает объекты, которые по своей функции требуют иного решения. Выходит, принимая новые формы и новый стиль умом, он сердцем, чутьем художника тянулся к другому. Превратить инертный камень, а тем более сталь и стекло в создание искусства — для этого нужно нечто большее, чем инженерные расчеты и самые совершенные стандарты.

Идя по коридору Дома правительства с его неожиданными поворотами и изломами, Максим думал: как форма фасада, которая придала зданию монументальный вид, подсказала удачное размещение кабинетов и залов — разнообразное, без надоедливых повторов.

Припомнилась гостиница «Россия» — одно из уникальных строений нашего времени. Ему нравятся фасады гостиницы, действительно современные, его даже не шокирует, вроде некоторых архитекторов и искусствоведов, ее соседство с Кремлем и Василием Блаженным. Но Максим не забудет, — его испугал коридор своей длиной и скучной монотонностью. Подумал о творческой судьбе Лангбарда. Как у каждого творца, у него всяко бывало: удачи, как Дом правительства, Дом офицеров, и провалы. Но в одном ему повезло: беспощадный огонь войны милостиво обошел его удачи. И теперь стоять его творениям века, это советская архитектурная классика.

Мысли об архитектуре (это часто случалось) успокоили и привели в равновесие после неудач с организационными делами.

В приемной ответственного работника Госплана он ждал около часа, в общем, с хорошим настроением. Правда, немного портила это настроение секретарша, которая, невзирая на свою молодость, оказалась на диво «железобетонной» — никакого отклика на его комплименты, ни одной улыбки на шутку. Служебная корректность, и никаких эмоций. В конце концов, на такую мелочь можно было не обращать внимания, но секретарша почему-то напоминала Дашу.

Окончательно доконал такой же вежливый, как и его секретарша, руководитель одного из отделов. Седой человек пенсионного возраста, многоопытный и по характеру службы безжалостный к любому проявлению чувств, внимательно выслушал пафосную тираду Максима о необходимости архитектурного и социального эксперимента и «убил» корректным и коротким ответом:

— Дорогой товарищ Карнач, все это интересно, но решается не на нашем с вами уровне.

«На нашем с вами» подчеркнул, чтоб у посетителя не оставалось никаких сомнений насчет того, как понимать эти слова: не на твоем уровне, дорогой

товарищ. Вот так. На прощание — корректное и, возможно, искреннее, иронии, во всяком случае, не чувствовалось:

— Желаю творческих успехов.

Аудиенция продолжалась четыре минуты. Максим посмотрел на часы, когда секретарша вежливо пригласила его, и взглянул еще раз, когда снова оказался в приемной. Сорвал злость на секретарше. Терять нечего. Раз не тот уровень, в следующий раз он может появиться здесь разве только в качестве референта «надлежащего уровня».

— Послушайте, голубушка, вы мужу своему изредка улыбаетесь?

Заставил ее посмотреть внимательно и, наверно, запомнить «такого нахала». Не случайно этот тип у Ильи Ивановича пробыл чуть ли не минуту, солидные люди по часу сидят.

— Советую вам, улыбайтесь все-таки.

— Товарищ, не мешайте работать.

«Работница, черт бы тебя побрал! Осчастливила мир своей работой».

Вышел из приемной в гневе. Не на плановика и не на секретаршу. На Дашу. Что за двадцать лет не мог в ней воспитать хотя бы толику того, чем сам обладает, — чувства юмора. И на себя. Что не добился-таки. А чего ты добился, дорогой товарищ Карнач? Что сделал за всю жизнь и... за сегодняшний день?

Остановился перед дверью с табличкой «А. С. Кулагин». Долго стоял в нерешительности. Вот это надо сделать обязательно. Но способен ли он сейчас на такой разговор? Отложил на завтра. Тут нельзя сорваться, напортить. От разговора этого зависит судьба человека, дорогого человека, кристально чистого, который только вступает в жизнь.

VIII

Душу отвел в Белгоспроекте. Там были свои. С одними поругался всласть, не выбирая выражений: «Лиза, заткни уши, я кое-что скажу этому архитектурному бюрократу». С другими наговорился всласть, нарассказал и наслушался анекдотов так, что заболели мышцы живота. Потом пошли «животы лечить». Пили в диетической столовой по-студенчески, украдкой наливая под столом принесенную с собой водку в стаканы с компотом, из которых до того выбрали разваренные фрукты и отпили половину.

Поспорив о принципах планировки, поехали на такси смотреть микрорайон Серебрянку, хотя давно уже стемнело, шел снег и в районе этом, почти еще не освещенном, можно было, в лучшем случае, разглядеть каждый дом в особицу, но никак не планировку всего комплекса.

Время, проведенное с коллегами почти по-студенчески беспечно, дало разрядку, отодвинуло неудачи на задний план, и Максим пришел в общежитие, где жила дочь, в хорошем настроении. Это радовало и в то же время тревожило. Сможет ли он сейчас начать очень нелегкий разговор с дочерью?

Сложность его заключалась не только в теме, которая поразит девушку неожиданностью, но еще и в том, что он вынужден говорить неправду: дал себе слово в разговоре с Ветой не бросать ни малейшей тени на ее мать, взять всю вину на себя. От мысли о таком самоуничижении было гадко; ненавидел всякую ложь. Было бы легче, если б жила в нем уверенность, что Вета способна прочитать подтекст, догадаться обо всем и оценить его благородство. Но такой уверенности не было: не то воспитание, увы, да и опыт не тот; понять то, что не сказано, о чем больно говорить, может только человек с определенным жизненным багажом.

Максим любил это общежитие, куда заглядывал вот уже второй год. Поднимешься по лестнице и слышишь:

на одном этаже в дальнем углу жалобно плачет скрипка, поближе — флейта, их вдруг заглушает бравурный марш на рояле — это открыли дверь в изолированную комнату для приготовления уроков. А сверху, как будто с неба, сыплет веселый ритм народного танца аккордеон, хоть пляши на лестничной площадке. И порядок нравился, благоустроенность, чистота. В годы его учебы студенты и не мечтали о таких условиях. Как незаметно, но неуклонно и хорошо богатеем!

На этот раз немного испортила настроение новая вахтерша, которая с непонятной подозрительностью, бестактно и бесцеремонно учинила допрос: кто он? К кому? Почему вечером, а не днем?

Максим попробовал пошутить:

— Неужели я похож на тех парней, которые ходят сюда к девушкам?

Вахтерша оглядела его — от теплых ботинок до ондатровой шапки — и сказала:

— Бывают и такие.

Обидело это не его лично, за девушек обиделся, за дочь.

Веты в комнате не было.

Подруга ее Леонора (имена пошли!) встретила без былой приветливости, как будто чем-то смущенная. Вторая девушка была незнакомая и сразу не понравилась Максиму: вела себя так, как будто она выдающаяся личность, а он ничто, на шутки его пренебрежительно кривила накрашенные губы. Странно, что она, как и секретарша в Госплане, чем-то напомнила Дашу. Везет сегодня, черт возьми!

— А Галя где? — спросил он почему-то не о дочке, а об их самой говорливой, веселой подружке.

— Вышла замуж.

— Галя вышла замуж?

— Почему это вас удивило? — с непонятным смехом спросила Леонора. — Я пойду позвоню Вете. Я знаю, где она.

Он остался с новенькой, Леной, и почувствовал неловкость, не знал, о чем говорить. Сам удивился: чтоб он не знал, о чем говорить с девушкой!

Не любил он людей слишком серьезных, особенно женщин. За чрезмерной серьезностью подчас кроются ограниченность и пустота.

К счастью, Леонора скоро вернулась и сообщила с тем же странным смешком:

— Ветка летит на крыльях.

Вета в самом деле скоро примчалась, возбужденная, радостная, с порога бросилась на шею, хотя обычно была сдержанна в проявлении своих чувств.

— Добрый вечер, папа! Как хорошо, что ты приехал! Ты так мне нужен!

Вета выдалась в отца: высокая, стройная, с цыганскими чертами — черные глаза, черные косы. На первом курсе она со смехом, но не без удовольствия сообщила дома, что в консерватории ее прозвали Кармен.

Еще недавно, летом, когда дочь приезжала на дачу и ходила в купальнике, она казалась Максиму девчонкой, не слишком еще развитой физически. А тут вдруг он увидел перед собой вполне сформировавшуюся женщину. Возможно, эту женскую зрелость Вете придавало пальто по последней моде — чуть не до пят, отороченное внизу песцом; такого же меха воротник источал почему-то легкий запах табака.

Максим впервые увидел дочь в этом пальто. Крайностей он не любил ни в архитектуре, ни в одежде. Но Вете удивительно шло это макси-пальто. Оно делало ее еще более высокой и царственно-величавой. Однако он

подумал: откуда они с матерью взяли такие деньги? Пальто да еще меховая шапка — это не меньше, чем два его месячных оклада. Огорчило, что у Веты проявляются материнские черты. Еще недавно она вместе с ним, отцом, подсмеивалась над пристрастием матери к тряпкам. И вот уже сама такая. Даже пахнет от нее не так, как раньше, раньше это был свой, привычный, кажется, еще с пеленок, запах — неповторимый запах родного ребенка. А теперь почуялось что-то чужое — незнакомые духи, табак...

Когда Вета отступила, Максим оглядел ее, и у него больно сжалось сердце, сжалось оттого, что не почувствовал прежней радости от встречи с дочерью. Появились тревога и предчувствие, что он теряет и дочку.

Насторожило то, с каким вниманием следили за их встречей Леонора и Лена.

Но Вета весело щебетала, беззаботно кружила по комнате, не снимая пальто.

— Пойдемте, девушки, ужинать в «Юбилейный», — предложил Максим.

Не впервые он приглашал Вету и ее подруг обедать или ужинать. За столом люди как-то полнее раскрываются. А его всегда интересовало, чем живет молодежь, рабочая, студенческая. Интересовали ее настроения, вкусы, мода.

— Иди заказывай, папа. Мы придем.

Так уже делали: девушкам надо было переодеться, подкраситься.

Закуска и напитки давно стояли на столе.

Максим ничего не тронул. Курил и смотрел, как танцуют редкие пары. Сначала еще пытался представить, как пойдет танцевать с недотрогой Леной, как расшевелит ее, сорвет маску и увидит обыкновенную девушку, которая больше, чем о

Бетховене и Шопене, думает о поклонниках.

Распускалось в тепле желе заливного языка, а Веты и ее подруг все не было.

И вдруг он понял — странно, как не догадался раньше! — что девушки не придут, придет одна Вета. Нет, не одна — с н и м. Не случайно она была так возбуждена, и не случайно с таким интересом наблюдали за их встречей ее подруги.

В первую минуту им овладело любопытство: какой он? А потом появились душевная боль и грусть. Предчувствие не обмануло. Это потеря. Еще одна. Мужайся, отец, и считай, что это не потеря, а приобретение — таков закон жизни.

Максим налил коньяка (себе он заказал коньяк, девушкам — бутылку венгерского токая) и выпил залпом. Закурил новую сигарету.

Когда графинчик опустел, поспешно подошла официантка — острый у девушки глаз. Сочувственно спросила:

— Нет ваших?

— Вы верите в предчувствия, Надя?

— Верю, — серьезно ответила девушка.

— Вот и у меня оно появилось. В общежитии. Туманное. А теперь я твердо знаю. Они не придут. Нет, дочь придет. Но не с подругами. С женихом.

— Так это же хорошо, — наивно обрадовалась девушка за свою незнакомую сестру. — Разве вы не рады?

— Я? Очень. Но если мне захочется спустить будущего зятя с лестницы, не зовите милицию, Пожалейте. Я служу в высоком учреждении.

Официантка не рассмеялась, не поняла шутки, посмотрела на него с опаской.

И тут он увидел Вету.

Она шла от лестницы через зал в длинном, не то эстрадном, не то свадебном платье из материи «снежинка» — на белом фоне звездочки, которые при движении, когда менялся свет, причудливо играли, казалось, срывались и летели во все стороны, как искры. Эта снежная искристость ткани хорошо контрастировала с черными, как уголь, волосами, как бы небрежно разбросанными по плечам.

На Вету смотрели все, мимо кого она проходила.

Максим на миг тоже залюбовался дочерью, подумал, что у девушки недурной вкус. Но тут же вспомнил, что такой же вкус у ее матери. И сразу перевел взгляд на н е г о.

Он тоже одет по-свадебному: черный костюм, галстук-бабочка в синий горошек, из кармашка торчит уголок такого же платочка.

Но прежде всего поразило сходство этого парня с Вадимом Кулагиным — такой же высокий, хотя ненамного выше Веты, с длинными, по современной моде, каштановыми волосами.

Максим сперва почти испугался: неужели брат? Не любил таких, как в романах, неожиданностей в жизни.

Сходство Ветиного жениха с Кулагиным почему-то сразу вызвало на поверхность ту неприязнь, почти враждебность к нему, которая появилась в глубине души, как только мелькнула мысль, что дочка придет не с подругами — с н и м.

Неприязни в себе к людям он боялся, потому что никогда не умел скрыть своих чувств, они сразу становились видны. Сперва возникло инстинктивное желание воспитанного человека подняться им навстречу. Но неприязнь заглушила это желание, и он не тронулся с места.

Они остановились возле стола, и Вета, не смущаясь,

весело, очевидно, чтоб скрыть волнение, представила:

— Папа, это мой жених. Полюби его так, как любишь меня.

Максим молча, проницательно смотрел на юношу. А за ним следили официантки.

Жених как будто наконец догадался, чего от него ждут. Склонил голову в поклоне, глухо, но четко назвал свое имя:

— Корней.

Максим громко и почти грубо, как на допросе, спросил:

— Фамилия?

— Прабабкин.

Неприязнь сразу начала оседать, как песок во взбаламученной воде.

Максим встал и протянул руку.

— Вот теперь будем считать, что познакомились. Садитесь, Корней Прабабкин.

Вета радостно засмеялась.

Надя подлетела к их столу.

— Может, еще что-нибудь надо?

У Максима явилась было мысль — заменить токай шампанским. Но он тут же передумал.

— Спасибо, Надя. Ничего не надо.

Вета, накладывая закуску, спросила с искоркой в глазах:

— Папа, тебя не смешит Карикина фамилия?

— Фамилия как фамилия.

— А мне смешно. Я останусь Карнач. Я и Карика агитирую — записывайся на мою. Корней Карнач. Здорово звучит, правда?

— Я не писатель и не актер, — сдержанно заметил Прабабкин. — Мне псевдоним не нужен.

«А кто ты?» — возникал вопрос, но Максим отложил его на потом, сейчас спросил о главном:

— Вы что... расписались уже? — И почему-то посмотрел на «бабочку» жениха, которая делала юношу торжественным и немножко старомодным.

— Что ты, папа! Думаешь, в наше время это просто? Везде бюрократы. Три месяца надо ждать. Нам, правда, через месяц назначили.

— Почему такая привилегия?

Вета засмеялась.

— У Карика блат.

Жених возразил против слова «блат»:

— Никакой не блат. Я работаю вместе с сыном сотрудницы загса.

— Это последний крик последней моды — выходить замуж без родительского благословения? — Голос Карнача прозвучал несколько раздраженно.

Вета сделала круглые глаза.

— Боже мой! Какое старозаветное слово! Ты же передовой человек, папа!

— Для тебя я отец. Прежде всего. И... кажется, неплохой. Или я нужен только для одного?..

В душе поднималась буря. Но он боялся ее и изо всех сил старался сдержаться.

Вета знала, что может произойти, когда у отца вот так

начинают блестеть его цыганские глаза, и испугалась, стала оправдываться:

— Я же звонила маме. Разве она тебе не сказала?

— Ты звонила матери?!

— Боже мой! Ты, правда, ничего не знаешь? Вы что, поссорились? Опять не разговариваете?

Тайфун вдруг изменил направление и устремился в неблизкий город, в модно обставленную квартиру, где осталась женщина, которая называет себя его женой. Теперь он не сомневался: она не сказала, что дочь выходит замуж, нарочно, чтоб насолить ему, сделать больно, знала, как он любит Вету и как ревниво относится к тому, что кто-то чужой когда-нибудь заберет ее у него. Когда раньше еще мирно беседовали о Ветином замужестве, Даша смеялась над его страхами; для нее было просто и естественно, что дочь должна выйти замуж.

Хотел было спросить у дочери, просила ли она сказать ему, но спохватился, понял, насколько нелеп такой вопрос, он раскроет его отношения с женой не только Вете, которая знает об их ссорах, но и этому чужому парню. Его беда теперь уже и их беда и может омрачить их радость. Ему, отцу, больно, обидно, но он никогда не позволит себе бросить тень на их счастье. Он ехал сюда с намерением поговорить с дочкой о своих отношениях с ее матерью, попытаться объяснить ей, что у него нет другого выхода, как развод. Теперь, конечно, надолго придется отложить этот разговор.

Чтоб успокоиться, Максим попытался даже оправдать жену: она могла думать, что Вета непременно позвонит отцу, и в своем глупом упрямстве ждала, пока первым заговорит он.

Свое неведение прикрыл безобидной ложью:

— Я вчера из Москвы. Был в командировке.

Вета, должно быть, знала, что это не так, но с

облегчением вздохнула.

— А я подумала, что мама не сказала. — И, обращаясь к жениху: — Мама у нас с характером. — И опять к отцу: — Если б ты не приехал, мы приехали бы к вам. Теперь не надо... Мама тоже обещала приехать.

— Да, теперь все наоборот... Едут родители...

— Папа! Ты всегда был оригинален!

— Кстати, родительское благословение — не церковное, а общечеловеческое моральное правило, действительно старое, но не устаревшее. Будешь сама матерью, поймешь.

Вета — его дочь, с его характером, непокорная, дерзкая.

— Считай, что мы пришли за твоим благословением. Благослови, отец! — театрально склонила она голову. — Хочешь, мы станем на колени в сем современном храме, где пьют и жрут.

— Не надо так, Вета, — осторожно попросил жених, облизывая запекшиеся губы. Он давно их облизывал. И Максим еще раньше подумал: «Перепил накануне? Волнуется? Или просто хочет есть?»

Молчаливость его и скромность не очень нравились. С виду непохож на такого уж смирного, застенчивого человека. А больше всего Карнач не любил притворщиков, двуликих. Предпочитал таких, как сам, как Вета, горячих, открытых или если уж мягких, то душевных, как Поля Шугачева.

Максим знал, что Вета способна на любую выходку. Устроит спектакль на весь ресторан. Поэтому он переменил тему разговора. Предложил:

— Давайте, однако, выпьем, — и взял в руки бутылку. — Кто что пьет?

— А это вкусное вино? — по-детски наивно спросила

Вета.

Максим понял, что это тоже маленькая хитрость: не могла она не знать токая, его часто пили дома.

— Венгры считают лучшим вином в Европе.

— Каждый свое считает лучшим, — глубокомысленно произнес жених.

Вета засмеялась. Она решила, что главная преграда взята, отец покорён, и ей стало весело.

Между тем, наливая ей вино, Максим вернулся к прежней теме.

— Может быть, я старею, дочка. Но когда я приезжаю к своей матери, к твоей бабушке Татьяне, мне каждый раз хочется стать перед ней на колени... Только глупый страх, что этого не поймут моя сестра и ее дети, удерживает меня. Хотя потом я каждый раз жалею, что не сделал этого.

Молодые притихли.

— Что вы пьете, Корней Прабабкин?

— Он ничего не пьет, — быстро ответила Вета.

— Ничего? — удивился Максим.

— Ничего, — подтвердил жених, снова облизнув губы.

— Кто же вы, Корней Прабабкин?

— Не иронизируй, папа, — обиделась Вета.

— Нисколько не иронизирую. Я, грешный, пью коньяк. Ожидая вас, я уже выпил. Каюсь.

Он налил полный фужер токая жениху, себе — полрюмки коньяку

— Не пьют больные. Некоторые сектанты. Не все. Изредка встречаются семьи, где трезвость — традиция

в целях воспитания молодого поколения. Я уважаю, если это принцип... Я люблю трезвых, но не люблю ханжества.

Вета засмеялась.

— У Карика не такая семья. Его отец полковник в отставке, мать воевала... инвалид...

— Вот за них и выпьем. За ваших родителей, Прабабкин.

— И за тебя, папа, — Вета чокнулась с ним и выпила рюмку до дна; жених только пригубил.

Максим бросил в рот ломтик лимона, пососал его, посмотрел, как едят... дети.

Дочка ела со своим обычным аппетитом — много, вкусно, красиво. Его всегда радовало, как она ест. Когда-то слишком цивилизованная мама пыталась ограничить ее рацион, чтоб Вета не пополнела, не потеряла стройности. В будние дни Даше иногда удавалось держать семью на диете. А в выходной он и Вета вырывались из дому, заглядывали на рынок, покупали там сало, баранину, лук, перец, чеснок, приглашали Шугачева с детьми, уезжали в лес, жарили на прутиках сало, шашлыки, пекли картошку и наедались так... Даша целый вечер фыркала: «Фу! Чем от вас несет! Так, верно, только от пещерных людей воняло!» Они хохотали.

Вспомнив это, Максим улыбнулся, но тут же сердце сжала грусть: теперь пианистка Виолетта, жена трезвого Прабабкина, не поедет больше с отцом в лес, не будет жарить сало...

Вместе с грустью пришло еще что-то тревожное, как бы ощущение своей вины. Перед кем? За что? Не сразу догадался. Ах, Вера Шугачева! Он вдруг понял, что ничем ей не поможет, напрасно взялся, переоценил свои возможности. Более того, только теперь, глядя на дочь и ее жениха, отчетливо увидел, что разговор с Вадимом был не нужен и даже неуместен, что он ушел

после того разговора побежденным и, пожалуй, не только не помог девушке, а скорей всего напортил. Хорошо, что он не отправился сегодня к Кулагину-старшему. Смешно в наше время сватать и женить таким способом. Могло случиться, что разговор с плановиком не лучшим образом отразился бы здесь, на этой неожиданной встрече с двойником Кулагина-младшего.

Не понравилось, как он ест — словно нехотя, манерно. Не пьет, не ест...

— Кто же ты, Корней Прабабкин?

Жених поперхнулся куском заливного языка.

— Как кто? — насторожилась Вета.

— Чем занимаешься?

— А-а, — с облегчением вздохнула дочка.

— Я работаю... инструктором ДОСААФ.

— По стрельбе. Если б ты видел, как Карик стреляет. Лепит в «десятку». Это у него от матери, она снайпером была на войне...

— И учусь. Заочно, — перебив невесту, явно обрадованный Прабабкин старался в лучшем свете выставить себя перед будущим тестем; должно быть, страдал, что тот с самого начала не поинтересовался, кто же он. — В институте иностранных языков.

— На испанском! — подхватила Вета. — Ты знаешь, Карик не только снайпер, но и полиглот. У него исключительные способности к языкам. Он жил с родителями в Германии и изучил немецкий, проходил военную службу в Грузии — изучил грузинский... Он поставил себе целью: знать десять языков...

— Для чего?

— Как для чего? — не поняла Вета. — Разве плохо знать

языки?

Нет, неплохо, подумал Максим, но зачем, если нет одного главного дела, для которого нужно такое многоязычие. Изучение ради изучения — это не дело, а забава.

И если этот Прабабкин (мысленно он сейчас произнес эту фамилию с иронией) изучает языки, чтоб удивлять людей своей показной эрудицией, то пусть не думает, что он может потрясти того, к кому набивается в зятья, и пусть не ждет от него уважения и любви.

Вета, захлебываясь, продолжала расписывать необыкновенные способности своего любимого, но Максим уже плохо слушал дочку, думал о другом.

— А твоя учеба как?

— Учусь.

— Вета! Не слышу музыки в ответе.

— Дам тебе музыку. Не бойся. Кончу я консерваторию. Чего ты беспокоишься?

— Я думал не только о том, как бы кончить институт. Я думал, что смогу сделать, когда стану архитектором.

— И что ты сделал?

— Я строю город.

— Ой, надоели мне ваши разговоры о строительстве городов. Строите-строите, а смотреть не на что. И жить многим еще негде.

Это были слова ее матери, та не раз повторяла их, иногда в шутку, а чаще всерьез, злобно, чтобы поиздеваться над ним. Поэтому то, что сказала дочь, очень больно ранило его. Опять в груди всколыхнулась притихшая было волна тревоги, смятения, горечь неудач, давних и сегодняшних. Волна сокрушительная, как цунами. Если он не поставит ей преграды, она

может многое разрушить. Что? И зачем? Не надо ничего разрушать!

Максим сжал рюмку и раздавил ее.

Вета встревожилась:

— Ой! Не поранил руку?

Ее забота заставила волну горечи отхлынуть, не ударив в неукрепленный берег.

— Не поранил.

Подозвал официантку.

— Надя! Я разбил рюмку. Приберите, пожалуйста.

Вета воспользовалась паузой, его разговором с подавальщицей, да и момент был подходящий — оркестр заиграл модный танец.

— Мы потанцуем, папа. Ты не возражаешь?

— Пожалуйста.

Они пошли, молодые, красивые. Вета — царственно-величавая в своем искристом вечернем платье. Он посмотрел им вслед, тайком вздохнул. Меняя тарелки, Надя спросила:

— Вы в первый раз видите его?

— В первый.

— Красивый.

— Красивый.

— И дочка у вас красивая.

— И дочка красивая. Спасибо, Надя.

Да, оба красивые. Молодые. Он, Максим Карнач, всегда, во всех жизненных ситуациях старался

оставаться трезвым реалистом. Ему, кажется, надо бы радоваться — дочь нашла свою пристань. Возможно, для его жены, матери Веты, имеет значение, кто он, жених, — инструктор по стрельбе или великий филолог. Для него все равно, кто жених. Был бы человек. По первому знакомству нельзя сказать, что он такое. Мало ли, какие черты могут не нравиться. Важно, что Вета выбрала его, полюбила... Выпей же за их счастье, Максим Евтихиевич! За них ты так и не поднял тост. За родителей поднял. По принципу солидарности взрослых. Не гляди назад. Вперед гляди! Почему так сжимается сердце? Все сильней, все больней. Как спазм. И такое собачье настроение. Выть хочется. Нет, выходит, великой архитектуры. Но нет и великой музыки. О твоей музыке, дорогая дочка, я мог бы сказать еще покрепче, чем ты о моей архитектуре. Но архитектура не только моя, она для всех. И музыка для всех.

Что, если я все же скажу вам о финале своей пламенной любви? Оригинальный свадебный сюрприз. Совсем по-современному...

Нет! Можете танцевать спокойно. Я ничем не омрачу вашу радость. Я человек! И отец! Почему оно так болит, мое сердце?

IX

Максим кормил синиц. Его любимое занятие. Нарезал мелкими кусочками сало, положил на ладонь и, выйдя на крыльцо, отставил руку в сторону, отвернулся. Сперва на горячую руку падали холодные снежинки. Снег пошел еще ночью. Начиналась настоящая зима. До сих пор ее не было. Снег выпадал несколько раз и таял, оттаивала земля. А теперь на хорошо промерзшую землю лег сухой снег, какой-то даже голубой. Причудливые шапки одели кусты можжевельника, посаженные у крыльца. По этим шапкам можно судить, сколько выпало снега. Надо расчистить крыльцо, дорожку на улицу.

Максим радовался предстоящей работе. После всех минских забот и волнений, связанных с архитектурными делами и семьей — Ветой, женой, — работа эта даст отдых голове и сердцу, к удовольствию, которое принес снегопад, прибавит еще одно — физическую усталость.

Но сперва эта маленькая радость — эксперимент с приручением синиц. Он уже добился было победы — одна из синиц брала пищу с ладони. За несколько дней, что он отсутствовал, синицы опять отвыкли, и теперь парочка их летала над головой, они перескакивали с ветки на ветку березы и пищали громко и весело, как бы подбадривая друг друга: «Давай ты первая! Нет, давай ты!»

— Ну берите, глупенькие. Ничего плохого я вам не сделаю.

Синицы ответили дуэтом: «Не можем, не можем!»

Максим оглянулся. На пороге приоткрытой двери лежал Барон и внимательно следил за синицами.

— Ах, вот оно что! Барон, я что тебе говорил? Бандит. Живешь на полном пансионе и еще облизываешься на этих несчастных пташек. У тебя даже не феодальная — империалистическая хищность. Брысь! И закрой дверь, разбойник!

Прогнав кота в комнату, Максим снова застыл с протянутой в сторону рукой. На ладони лежали кусочки сала. И вот порхнул мимо уха один пушистый комочек, потом второй. Победа! Не испугать их! Пускай привыкают. Хотелось, чтоб синицы ждали его возвращения, встречали и сами летели в руки, может быть, даже ели на его столе, с его тарелки. Верил, что добьется этого.

Схватив сало, синицы вспорхнули на березу.

Максим проводил их ласковым взглядом и вздохнул. Снова проснулось то, о чем и вчера вечером и особенно

сегодня, когда с утра увидел, какая красота на дворе, приказал себе не думать, не вспоминать. Взял лопату, чтоб отгребать снег, но не сразу решился коснуться этой первозданной чистоты. Стоял, смотрел, как садятся снежинки одна за другой, искрятся, и даже в это хмурое утро каждая из них переливается радугой. Над головой опять пролетели синицы. Просили еще угощенья. И Максим невольно подумал, что даже птица понимает доброту и ласку... Про Дашу подумал. Со злостью, какой, кажется, не испытывал еще ни разу.

Вернувшись из Минска, он с вокзала отправился в горсовет, где за день переделал бесчисленное множество дел, накопившихся за время его отсутствия.

После работы пошел к Шугачевым. Прежде всего вела туда вина перед Верой. Как она? Ничем же он не помог, только наобещал.

Виктора не было — проводил партбюро. И Веры не было. Посидел с Полей в ее на диво уютной кухне. Рассказал про Вету. Поля поняла его отцовскую боль.

— Ой, Максим! Я сама со страхом думаю о том времени, когда придется выдавать дочек. Наверно, труднее всего первую. С сыновьями проще. Тут как бы приобретаешь, а не теряешь. Заставьте себя думать, что вы приобретаете сына, и порадуйтесь.

Тогда он, как на исповеди, рассказал Поле, что больно ему не из-за одной только этой утраты, рассказал про Дашу, хотя давно догадывался, что Шугачевы многое знают и лишь из деликатности молчат.

Поля попробовала было оправдать Дашу.

— Она звонила мне, искала вас. Но вы уже были в Минске. Мы долго говорили по телефону. Собственно, говорила Даша... Мне при детях не очень можно было...

Максим представил себе, что могла наговорить Даша. И не ошибся. После долгой беседы обо всем — об их отношениях, о Вете, ее замужестве — Поля вдруг с той

прямотой, с какой это делают только умные женщины, спросила:

— Скажите откровенно, Максим, у вас кто-нибудь есть?

— Поля, клянусь. Перед тобой и Виктором мне нечего таиться, ты знаешь, как я отношусь к вам. У меня никого нет. Ты знаешь, как я любил жену! Я пять лет делал все, чтоб наладить нашу жизнь. Я шел на компромиссы, от которых самому делалось гадко, ты знаешь мою цыганскую натуру, знаешь, как мне невыносимо всякое соглашательство. Но до нее ничего не доходит. По-моему, это уже просто психоз, болезнь. Чем дальше, тем хуже. У вас с Виктором бывало, чтоб вы по три недели не разговаривали?

— Что вы! Как можно перед детьми ходить надутыми индюками... Мне даже трудно представить, что Даша такая. Нет, не подумайте, я верю вам. Тем более мне странно и горько.

Разговор шел очень откровенный, такой не часто случается. При этом хозяйка не забывала подливать гостю какой-то особенной настойки на почках малины, тополя и еще чего-то.

И нечистый потянул за язык. Захотелось за откровенность отплатить такой же откровенностью. Сказал о Вере. Когда слова уже сорвались, тогда только понял, что сделал глупость. Поля побледнела. Поднялась и заглянула в коридор: не слышат ли меньшие?

Страшно было видеть, как ошеломила мать такая новость. Выходит, не добром он заплатил, а злом. По сути, получается, что он, как злодей, ударил радушную хозяйку в сердце.

Стараясь смягчить удар, который нанес своей ненужной откровенностью, Максим начал рассказывать, как говорил с Вадимом и почему не стал беседовать с Кулагиным-старшим.

Поля перебила его:

— Максим, я вас прошу. Ни с кем не надо говорить. Ни с кем. И с Верой тоже. Я сама...

Понял, что ей больно продолжать этот разговор, и почувствовал себя отвратительно — неблагодарным, неумным, преступником перед лучшими друзьями. Предателем перед Верой. Как теперь посмотреть ей в глаза? Гнусное, страшное ощущение предательства не покидало весь вечер, когда он приехал сюда, в Волчий Лог, и долго согревал настывшую за несколько дней дачу.

Утром он стал оправдывать себя тем, что выдал Верину тайну не кому-то постороннему, а матери. Мать должна знать. Такая мать, как Поля, поможет во сто крат лучше, чем он, чужой мужчина, который в собственной семье не сумел добиться ладу. Но тут, среди нетронутой чистоты снега, под ласковый переклик доверчивых синиц, опять появилось чувство вины перед Верой. Однако несколько иное и ослабленное тем, что одновременно он впервые после встречи почувствовал себя виноватым и перед Ветой. В чем? Правда, вина эта была неосмысленная, туманная, раньше никогда ничего подобного не испытывал. Как умел, воспитывал Вету, как умел, воспитывал студентов и молодых проектировщиков, инженеров. Кажется, честно выполнял свои отцовские, общественные, профессиональные обязанности. Что еще можно требовать от человека? Как же надо было жить, чтоб от этого стало лучше и Вете, и Вере? И что значит лучше? Богаче? Проще? Чтоб у них был пример? Разве плохим примером служили Вере ее родители?

Максим сбросил куртку и начал чистить дорожки. Загребал широкой деревянной лопатой мягкий и легкий снег, откидывал в сторону.

Работа была приятная, и он не только расчистил снег вокруг своей дачи, но проложил дорожку до главной улицы поселка, которую шутники называли проспектом Аноха. Коммунальщику, как и некоторым другим

ответственным работникам, свое садовое хозяйство пришлось срочно ликвидировать. Однако название осталось. Между прочим, Анох настраивал членов партбюро, чтоб потребовали и от него, Карнача, «добровольного» отказа от недвижимой собственности.

Показались первые лыжники. Когда начинается лыжный сезон, в Волчьем Логе в выходные бывает многолюдно. И зачастую останавливаются перед его домом. Любуются.

Не хотелось на людях чистить улицу, привлекать к себе внимание. Да и странно выглядела его работа, когда все еще шел снег. Хотя, правда, не такой густой, как ночью, этот не скоро занесет дорожки.

Максим спрятал в гараж лопату. Ласково, как живое существо, погладил свой старенький «Москвич», который так выручал его сейчас, хотя в последнее время не раз и подводил.

Подумал, что теперь не выехать, пока не поймает на шоссе грейдер, чтоб расчистить дорогу. Но сегодня чистить бесполезно — идет снег. В понедельник придется обувать бурки и торить до шоссе тропку, а там голосовать, как бедному студенту.

Плита, которую он разжег, проснувшись, согрела кухню и отчасти соседнюю комнату, которую обогревал электрорадиатор.

Готовя завтрак, Максим почти весело, уже во всяком случае, без той тяжести на душе, с которой час назад вышел на улицу, вспомнил свое знакомство с родителями Ветиного жениха — Прабабкиными.

— Прабабкины-Прадедкины, — засмеялся он, нарезая тонкими ломтиками картошку на сковородку с горячим маслом; она шипела и сердито фыркала.

Странное впечатление осталось от этой неожиданной встречи с людьми, с которыми ему, видимо, предстоит породниться.

Жених не очень нравился. Манерный какой-то, но «бесстильный» (правда, отсутствие стиля тоже стиль) — ни старомодный, ни современный, как говорится, ни рыба ни мясо.

Корней после танца не вернулся с Ветой, она подошла к столу и сказала, что жених пошел звонить своим.

Максим сразу спросил у дочери:

— Ты любишь этого человека?

Вета беззаботно рассмеялась.

— Может, я еще не знаю, что такое любовь. Но он мне понравился с самого начала. Папа, он не такой тихоня, это он перед тобой смущается.

— Давно вы знакомы?

— С весны. Он сразу познакомил меня со своими родителями...

— Он сразу... А ты когда? Не стыдно тебе?

— Прости, папа. В самом деле стыдно.

Жених вернулся и передал приглашение родителей позавтракать у них.

Он подумал тогда с невеселым юмором: «Как старосветские помещики».

Но старшие Прабабкины ему понравились. Прежде всего их биография. Необычная даже для их поколения. Не такой уж юный лейтенант из сельских учителей в сорок втором женился на девушке-снайпере, слава о которой уже гремела тогда по всему Карельскому фронту.

Финский снайпер перехитрил Ганну. Целил, гад, видно, в сердце, а прострелил левую руку. В двадцать один год Галя осталась без руки, но Тимофей Прабабкин не бросил жену-инвалида, и она не оставила его, всю войну

прошла вместе с частью и немало еще сняла потом фашистских «кукушек» одной рукой. После войны родила двух детей, была с мужем в Германии, в Польше, на Дальнем Востоке. Теперь возглавляет домовый комитет.

— Командую пенсионерами. Даю раскрутку всем в жилищных отделах. А мошенников там хватает. Они меня боятся больше, чем ОБХСС, — со смехом рассказывала она за столом.

Несмотря на инвалидность, Ганна Титовна — женщина моложавая, без инея в волосах, крепкая и подвижная.

Максим хотел было помочь ей накрыть на стол, но она бесцеремонно, сразу перейдя на «ты», отклонила его помощь. Может быть, кого другого шокировала бы ее солдатская грубоватость, а ему понравилась эта женщина. Он подумал, что Вете полезно будет ее влияние, может быть, оно выбьет из нее Дашин дух.

Сам Прабабкин по характеру другой человек. Выглядел он намного старше Ганны Титовны, хотя разница между ними была всего в семь лет. Больше четверти века прослужил в армии, но пять или шесть лет преподавания перед войной оставили на нем неизгладимый след: что-то учительское в движениях, в манере говорить.

Учительские черточки будущего свата особенно понравились Максиму.

Квартира у Прабабкиных просторная, четыре комнаты (уходил на пенсию из штаба округа), но обставлена просто, без той, подчас мещанской, претензии, которой заражаются некоторые хорошо обеспеченные пенсионеры.

У Прабабкиных стояла мебель, приобретенная в разное время, в разных странах и городах в течение их кочевой жизни. Но разностильность не портила общего вида комнат; все очень подходило к биографии Прабабкиных, их характерам и нынешнему положению.

Ждали к завтраку юную пару. Но позвонил Корней и сказал, что Вету не отпускают с лекции по диалектическому материализму.

Ганна Титовна посетовала, а он, Максим, был доволен. Хорошо, что дочь подчиняется дисциплине и не решилась нарушить ее даже по такому особому случаю!

Стол был накрыт просто, опять-таки без претензий на то, чтоб удивить гостя. И еда поставлена простая: селедка с маслом, лук, жареная колбаса, вареная картошка. И водка-перцовка — так Ганна Титовна вспоминала свою неньку Украину. Стручки перца, присланного сестрой, хозяйка опускала в бутылки, и водка эта продирала до пят, а из глаз прямо искры сыпались.

Тимофей Фомич пил через одну, а хозяйка опрокидывала чарку в чарку с гостем. От этого становилась все веселее и рассказывала такие анекдоты, что муж смущался и журил жену. Ганна хохотала.

— Максим Евтихиевич! Он же у меня что дитя. Люди дивятся: как я такого вынянчила одной рукой. И сын в отца. А дочка в меня... Поделили по закону. Людка наша поехала после десятого класса в Ленинград, экзамен сдавать в медицинский, а письмо прислала из другого города. Я, пишет, больше не Прабабкина. Хватит мне носить вашу смешную фамилию... Разве не подлая девчонка? Батькова фамилия не нравится. Я уже, говорит, Колосова. Вышла замуж за офицера подводной лодки. Доучилась, чертова девка. Отец расстроился. А я говорю ему: кто знает, где чье счастье!

Это, по сути, были единственные слова, которые имели какое-то отношение к Вете, к женитьбе их сына. Даже подвыпив, Прабабкины не заговорили о молодых, деликатно обходили эту тему. И Максим был им благодарен. Ему тоже не хотелось рассуждать с людьми, пока что ему чужими, о родной дочери. Более того, отправляясь на этот завтрак, боялся, как бы будущие сваты не начали расхваливать своего сына,

доказывать, что он осчастливил своим выбором его дочь, как это подчас бывает.

Одним словом, утро было светлее, чем вечер, хотя день выдался туманный и нелетный. Пришлось ждать вечернего поезда. По служебным делам после этого завтрака не пошел, только съездил в мастерскую к скульптору. Потом ходил с Ветой по магазинам, и там опять настроение у него испортилось: встревожила Ветина жадность к вещам. И какая-то нестыдливость. Без стеснения тащила отца к лифчикам, комбинациям, штанишкам, кажется, все бы захватила. Психология матери.

Не хотелось допускать черные мысли в такой белый день. Хотелось работать. Полгода искал архитектурное решение памятника партизанам. Сосновский, бывший партизан, проявлял особый интерес к этому памятнику. Но Максима, впрочем, как и его соавтора-скульптора, ни один из трех вариантов, сделанных ими, не удовлетворял.

Скульптор, у которого Максим побывал в Минске, подбросил ему новую идею; у молодого талантливою парня идей был полон короб.

Максим поначалу не принял ее. Но сегодня ночью повернул замысел скульптора как бы другой стороной, добавил кое-что свое, и неожиданно это ему понравилось. Во всяком случае, пришел к мысли, что новый вариант стоит того, чтоб над ним поработать.

Но он никогда не садился сразу за чертежную доску. Детали должны выкристаллизоваться в мозгу. Из многолетнего опыта он знал, что лучше всего решаются архитектурные задачи, когда он занят работой, какой всю жизнь занимался его отец, — столярничает, мастерит что-нибудь нехитрое: скворечню, полочку. Он может полдня искать форму книжной полки и место для нее, но за это время в голове вырисовываются такие детали проекта, что потом сам удивляется, когда начинает набрасывать их на бумаге.

Поэтому с утра, еще в постели, он спланировал свой выходной день: после завтрака заняться переоборудованием мансарды — изменить интерьер; это та работа, которая ему сегодня нужна. При любом другом занятии — возне с автомашиной, ходьбе на лыжах — он опять начнет думать о своих нелегких, и ясных, и путаных, отношениях с людьми — с Дашей, Шугачевым, Ветой, Игнатовичем, Кислюком, Макоедом... Теперь еще прибавились Прабабкины...

Поднявшись наверх и включив электропечь, Максим долго переставлял стол, диван, вытер пыль с книжек, снимая их со старых полок.

Работа показалась ненужной и скучной, никакого творческого подъема не давала, наоборот, мельчила мысли. В голову лезла всякая чепуха. Так было до тех пор, пока не наладил верстак в из-под лезвия рубанка не выползла первая, еще грязноватая стружка. Покатилась по полу.

Барон прыгнул на стружку, как на живую, поймал лапами, понюхал и недовольно фыркнул.

Максима это рассмешило.

— Стареем мы с тобой, Барон. Любой котенок целый день играл бы этими стружками, а ты, собачий кот, фыркаешь. Заелся, гулена. Нет, ты понюхай, как она пахнет... Это же сказка!

Одно за другим летели янтарные кольца. Согревшаяся комната наполнилась живым, неповторимым, опьяняющим ароматом сосны. А за окном падал тихий снег.

И настроение поднималось. Столярничая, Максим весело свистел, поглядывал в окна. Сквозь одно окно видел заснеженные крыши домиков, которые в белой мгле казались маленькими, игрушечными. Сквозь второе — березы, белые-белые, и оттого россыпь их на склоне взгорка превратилась в бескрайний лес, ведь за теми березами, что заглядывали в окно, была такая же

белизна с черными крапинами...

Через несколько минут он строгал уже почти машинально, потому что голова была занята проектом монумента.

Сел к столу. Нарисовал полку. Одну, вторую... И тут же под ними несколькими размашистыми линиями — монумент. Собственно говоря, не весь монумент, фрагмент разрушенной стены — тема городского подполья, которую все хотели видеть в будущем памятнике, но не знали, как ее воплотить, решить архитектурно и скульптурно.

Сперва рисунок понравился. И он начал вырисовывать детали. Но вдруг пронзила страшная мысль. Представил разрушенным... свой Дворец культуры, открытый месяц назад, и похолодел. По спине будто сквозняком потянуло, потная рубашка прилипла к телу... Сунул рисунок в папку... На чистом листе нарисовал новый вариант. Но страшное видение разрушенного дворца стояло перед глазами, и Максим бросил карандаш...

Варил внизу на кухне клей, когда в дверь настойчиво постучали.

«Принес кого-то черт», — недовольно подумал Максим. Если б был наверху, затаился бы, прикинулся, что нет дома. А тут его могли видеть через окно. Отворил дверь и... удивился. На крыльце стояла Нина Ивановна Макоед в красном лыжном костюме, облегающем ее стройную фигуру, с рюкзаком за спиной и палкой в руке. Лыжи и еще одна палка прислонены к перилам крыльца. Раскрасневшаяся на морозе да еще в розовом отсвете костюма и шапки, она, казалось, вся пылала.

Они дольше, чем нужно, смотрели друг на друга, как будто не виделись с юношеских лет и теперь не могут узнать друг друга.

Нина Ивановна дышала глубоко и часто — только что с лыж — и, может быть, поэтому не сразу смогла

произнести первые слова. Максим молчал по другой причине. Первые секунды он еще жил своими мыслями и был недоволен, что ему помешали. Потом явилось любопытство: что принесло Макоедов? Ждал, что вот-вот из-за угла появится Бронислав Адамович. Просто так, без надобности, эти люди уже к нему не наведывались. Но, кроме всего прочего, он залюбовался Ниной: хороша, чертова кукла! Ничего не скажешь. В этом костюме, со снежинками на подкрашенных бровях, разрумянившаяся, необыкновенно хороша. Прямо глазам больно смотреть на нее.

— В дом пустишь, хозяин? — первой нарушила молчание неожиданная гостья и хрипло — с мороза — засмеялась.

— Пожалуйста. — Максим отступил в сторону, и она перешагнула порог. Поздоровалась:

— Здравствуй, схимник, — и тут же потянула носом. — Что это у тебя так воняет?

На кухне горел клей.

Максим бросился туда, выключил газ и кинул банку с клеем в помойное ведро.

Нина Ивановна стояла в дверях и смеялась. Сняла рюкзак и осторожно поставила на пол.

— Все мастеришь?

— Мастерю.

— А я едва оторвала своего Макоеда от телевизора. Да разве ж ему за мной угнаться! Где-то за шоссе пыхтит. По моей лыжне. Примешь гостей?

Максим пошутил не без намека на свои отношения с Макоедом:

— С бóльшим удовольствием я принял бы одну гостью.

Она со смехом погрозила ему пальцем:

— Ну-ну, цыган! Не заглядывайся на чужих коней!

— А я не на коней заглядываюсь...

Как бы смутившись, Нина Ивановна наклонилась к рюкзаку, развязала его, достала бутылку марочного коньяка. Но еще больше удивило шампанское. И насторожило.

— По какому случаю такие траты?

Выкладывая пакеты с ветчиной, колбасой, сыром,

Нина Ивановна смеялась, довольная.

— Ты знаешь скупость Макоеда. Самое большое мое удовольствие — это хоть изредка заставить его раскошелиться...

Увидев, что хозяин не подхватил ее шутки, объяснила всерьез:

— Я именинница сегодня. И мне захотелось по-особому отметить свой день рождения. Такой день! Такой снег! Я романтическая натура! Не выгонишь?

Она лгала. Понадеялась, что он не помнит дня ее рождения. Это действительно зимой, но месяцем позже. Максим запомнил дату, потому что в прошлом году они были приглашены Макоедами и на обратном пути поссорились с Дашей — та приревновала его к молодой преподавательнице института, которой он даже имени не знал.

Ложь Нины Ивановны не стал разоблачать. Но любопытство его усилилось: чего все-таки хотят от него Макоеды?

Подхватил ее игру.

— Поздравляю, — подошел, сперва пожал, потом поцеловал руку.

Женщина не покраснела от удовольствия, наоборот,

вдруг побледнела, будто испугавшись, отступила от него.

— Если разрешишь, я похозяйничаю на кухне и накрою стол... пока прилетит мой чемпион по лыжам. Чистая скатерка у тебя найдется?

Максим показал, где что взять, а сам поднялся наверх. Но не затем, чтоб работать. Какая там работа! Захватил снизу костюм, бритву. Неловко все-таки принимать женщину в том виде, в котором ремонтируешь машину, топишь печь, столярничаешь. От замасленной куртки пахнет соляркой, торфом, смолой.

Когда опять спустился вниз, Нина Ивановна оглядела его, казалось, хищным взглядом и сказала, как бы жалея, что он так преобразился:

— Какой ты элегантный! Все же одежда делает человека!

— В рабочем платье я не был человеком?

— Человеком для работы, не для приема гостей.

— Я не знаю, кто кого принимает. Ваш коньяк. И твои хлопоты.

За короткое время, пока он переодевался и брился, она навела на кухне порядок и чистоту. Убираться на кухне так, как это делала Даша и сделала за такое короткое время гостья, ему никогда не удавалось. Для него, человека, который умел создать исключительный интерьер, оставалось одной из тайн женской натуры такое умение.

Посуда заняла свое место. Все помыто. Горят конфорки, кипит вода. Варится картошка. Даже запахло по-кухонному аппетитно.

Одно не понравилось: Нина Ивановна где-то нашла Дашин фартук, надела его; цветастый этот передник напомнил жену, и в душе снова шевельнулась злость. А он в последнее время почти убедил себя, что

отношения их находятся в той стадии, когда не может уже быть ни любви, ни ненависти, ни злости, только рассудительность и расчет, как и когда оформить эти отношения достойно, не унижая друг друга, хотя надежды на такую же рассудительность с ее стороны не было.

— Я поставила варить картошку. Ты не против? Полей мне на руки, и будем накрывать стол, — дружески просто сказала Нина Ивановна.

Поливая ей на руки, Максим снова обратил внимание, какие они у нее холеные, ухоженные, и подумал, что модница не пожалела свежего, верно, только вчера сделанного маникюра. Во имя чего? И вдруг что-то его взволновало. Что, не мог понять. То, что она одна здесь рядом? Он давно знает эту женщину. Лет десять. Но никогда не ухаживал за ней. А потом высмеял ее диссертацию об озеленении и не сомневался, что приобрел врага, тайного и хитрого. Верил слухам, что диссертацию ей написал Макоед, это была плата за ее согласие выйти за него замуж. Макоед — посредственный архитектор, но писать умеет и любит. Никто больше не печатается в специальных и общих изданиях. Фамилию его можно встретить даже в женском журнале, в пионерских газетах.

Диссертацию ей Макоед мог написать. Но в жизни Нина Ивановна умнее мужа. Защиту диссертации она организовала сама. И защитила с помпой. После этого Максим перестал уважать некоторых своих наставников. Склеротики! В диссертации ни одной оригинальной мысли, ни одной идеи, которая могла бы иметь практическое значение для городов Белоруссии. А он тогда как раз занял должность главного архитектора, и проблема озеленения привлекала его внимание не меньше, чем многие другие, которыми, когда работал в институте, заниматься не приходилось.

Они вместе накрывали стол и вели «интеллектуальную» беседу об архитектуре, кстати, о том же озеленении. Зная мнение Карнача о ее диссертации, Нина Ивановна, должно быть, специально подготовилась и высказала

немало любопытных, стоящих внимания соображений. И при этом ловко и искусно готовила закуску, сервировала стол.

На новенькой скатерти, ни разу еще не бывшей в употреблении, торжественно возвышались бутылки коньяка и шампанского, стояли красиво нарезанные ветчина и сыр, помидоры и огурцы.

Сквозь широкое окно вливался нежный свет, такой же торжественный. Казалось, с завистью заглядывали озябшие березки.

Максим, оглядев стол, проглотил слюну — завтракал по-холостяцки.

— Ну что ж, только роз не хватает. Летом я построю теплицу и выращу розы... к твоему дню рождения, — сказал с иронией, но Нина Ивановна, кажется, не поняла.

— Я сделаю салат. Хочешь?

— Не надо. Я рвусь к столу. Где твой Макоед? Ты где его бросила? Может, пойдем навстречу?

Нина Ивановна отошла от стола, прислонилась к стене, сняла через голову фартук, бросила его в угол на пол. Сказала спокойно, без кокетства, почти жестко:

— Макоеда не будет. Я соврала. Я пришла одна. Выгонишь?

Он оглядел ее так, как будто видел впервые.

Полгода он не знал женщины. Мысль об этом и о том, что он может наставить рога самоуверенному, спесивому и завистливому Макоеду, рассмешила.

Он пошел вокруг стола — неслышно, как Барон.

Нина закрыла глаза, словно девочка, которой вдруг стало страшно.

X

Максим не сомневался, что Шугачев приехал в такой снежный день из-за Веры. Поля, конечно, все рассказала мужу. Приехал в отчаянии. Невеселый ему предстоит разговор. Ничего себе денек выдался. Всего хватило. Мысль о Вере опять отозвалась в сердце болью. Кажется, Вету, родную дочь, ему не было бы так жаль, как эту добрую, тихую, ласковую свою крестницу.

Но Виктор Шугачев совсем не был похож на убитого неожиданным горем отца.

— Спал, что ли?

— Спал.

— Ну, живе-ешь! Среди бела дня дрыхнешь!

Войдя в комнату и увидев стол, Шугачев насторожился.

— Кто у тебя был?

— Никого не было.

— Ты один так обедаешь?

— Один.

— Проклятый буржуй! Гурман! Транжира! Марочный коньяк! Скатерть белее сегодняшнего снега. Поля раз в год, на большой праздник, постилает такую скатерть, — и тут же налил себе коньяка. — Не облизывайся. Тебе не налью. Эгоист несчастный! Две трети вылакал один. Пьянчуга! Будь здоров!

Выпил маленькими глоточками, смакуя.

— Вкуснотища какая! Живут же люди!

Максиму стало весело. Он с трудом сдерживал смех. Прикинулся сиротой:

— Дай хоть каплю. Голова трещит. Я «медведя» пил.

— «Медведя»?! — Шугачев, кажется, искренне возмутился. — Невежда! Дикарь! Снежный человек! Какой это дурак мешает такой божественный коньяк с вульгарным шампанским? У меня от шампанского икота. И печень болит. За одно это варварство лишаю тебя коньяка. Ладно. Десять капель, не больше. Как лекарство. Голову твою жалею. Она все же кое-что стоит.

Налил понемножку, но поровну.

— У меня правда болит голова. Пойдем погуляем. Помесим снег.

— Я помесил его до твоего собачьего Лога — во как. Вся спина мокрая.

— Виктор! Во имя дружбы и не такие подвиги совершали! А ты прошел три километра и хнычешь.

— Во имя дружбы совершали подвиги, когда человечество было в детском возрасте.

— Ты делаешься скептиком, Плохая примета. Стареем, Витя.

— Открыл Америку! Стареем! Я иной раз чувствую на своих плечах тяжесть сотни лет. Представь, что ты прожил сто лет и сто лет строил города. Сколько течений, школ, стилей! Сколько нервов, пота и крови! И все это на тебе или в тебе. В сердце. В мозгу. С таким ощущением ты остался бы оптимистом?

— Мы с тобой всегда были оптимистами. Разве не так? Давай останемся ими. Не деликатничай, допивай коньяк, и пошли. В такой день грех сидеть в комнате.

Шугачев сдался.

— Ладно, пошли. Я всегда шел за тобой.

— Виктор! Это свинство — выяснять, кто когда за кем шел. Я дорожу твоей дружбой. И благодарен тебе, Поле...

— Меня всегда смущали признания в любви. Даже Полины.

Максима и раньше забавляло и даже немного смешило, как Виктор одевался: натягивал пальто, как ребенок — высоко подняв руки над головой, сразу влезая в оба рукава. Но сейчас это не рассмешило — увидел аккуратные заплаты на подкладке у рукавов. Растрогало его старенькое демисезонное пальто. А человек этот любит красивые вещи и знает в них толк.

На крыльце Виктор залюбовался лыжами Нины Ивановны.

— Послушай, где ты купил такие?

— В Минске.

— Как ты сводишь концы с концами? Мои давно мечтают о таких лыжах. Но, во-первых, где их достать? А во-вторых, кусаются, наверно...

— Я подарю своим крестникам такие лыжи.

Виктор смутился.

— Ну, что ты... Пускай сами заработают, — и оглянулся на лыжи. — Не боишься оставлять здесь? Украдет кто-нибудь.

— Ничего еще не крали.

— Не идеализируй, разочаруешься. Поля была такой идеалисткой, пока у нее не вытащили кошелек в моей месячной зарплатой. Вот ахала!

Они шли по поселку, по дорожке, которую засыпало мягким снегом. Шли один за другим: Шугачев впереди, он, Максим, за ним, ступая след в след.

Максим думал о том, что Виктор странно возбужден, как будто история с дочерью не огорчила, а только взбудоражила. Настороженно ждал, когда же он начнет говорить о Вере.

— Слушай, что ты там городил Поле насчет... — остановился Шугачев и повернулся к нему.

«Ну вот, начинается», — подумал Максим.

— ...Заречного района? Она поняла так, что из оптимиста ты превратился в пессимиста после поездки а Минск. Что, поставили крест на нашем эксперименте?

Максим с облегчением вздохнул: значит, о Вере Поля ничего не сказала.

— Не поставили. Но могут поставить.

Шугачев взял его за воротник куртки, притянул к себе, как будто хотел хорошенько тряхнуть.

— Максим! Не дадут экспериментальный район, я взбунтуюсь. Один раз в жизни, черт возьми! Я был. дисциплинированным! Самым дисциплинированным! Всегда, везде. Но я художник. Ты веришь, что я художник?

— Когда-нибудь я усомнился в этом?

— Я хочу совершить хоть один подвиг как художник. Как гражданин я подвиг совершил. Двадцать лет я проектировал так, чтобы экономить на каждом метре, на каждой лестничной площадке, на коммуникациях, на пожарной лестнице, на кустах во дворе. Я наступал на горло собственной песне. Жертвовал талантом, творческим престижем. Отказался от собственного имени. Где кто прочитает, что это построено по проекту Шугачева? Да и не хочу я, чтобы на домах по Московской стояло мое имя. Не нужно! Но мне пошел шестой десяток... И я не потерял надежды построить нечто такое, чем бы люди любовались. Да нет, не просто любовались! Где людям было бы удобно, хорошо жить. Я специализировался на жилье, и я хочу строить жилье. Но такое, за которое не стыдно было бы через пятьдесят, сто лет. Мы много говорим о городах будущего, о коммунистических городах. И не можем построить одного района, в котором были бы черты

будущего: простор, свет, зелень, комфорт, высокий быт, культура. Одним словом, все для людей и особенно для детей. Не можем потому, что у стройбанка существует только один бог — цена квадратного метра! Как же мне осуществить свою мечту? Как? Ты пообещал мне экспериментальный район. Вот и отвечай! Как мне осуществить то, что я вижу во сне? И не только во сне. Что существует уже на многих листах...

Максим смотрел на друга с удивлением. Только «под мухой» Виктор Шугачев становился многословным. Но, пожалуй, никогда еще не говорил с такой горячностью о своей работе, о своей мечте. О мечте вообще не говорил. И даже слушать не любил споры коллег об архитектуре, которая могла бы стать памятником искусства, как творчество великих предшественников. Максима иногда даже тревожило и огорчало, что, пожалуй, лучший в городе архитектор так покорно и безотказно проектирует самые ординарные жилые дома и районы.

То, что услышал сейчас от Виктора, обрадовало: здорово, черт возьми, что в нем живет такой огонь! Но и испугало. А чем он, друг, главный архитектор, который подал идею, может ему помочь после того, как ему еще раз дали понять силу бога, имя которому — экономия? Бога, мудро созданного людьми, но, как многие боги, превращенного в идола — в закостенелый эталон во всех сферах деятельности. В иных случаях это на пользу, а в других польза лишь кажущаяся, однодневная, без мысли о будущем и об аспектах не только материальных, но и духовных, эстетических, что для зодчих неразрывно связано между собой. Но, к сожалению, немногие плановики, экономисты, финансисты это понимают. Некоторые считают, что архитекторы витают в облаках и лишь усложняют ясные, как божий день, задачи.

Шугачев прошел несколько шагов и снова остановился.

— Слушай! Если Заречный район режут как экспериментальный, я отказываюсь от его проектирования. Решительно. Хватит. Что ты так

смотришь? Не веришь? Знаю, что мне дадут по шее: секретарь партбюро разводит анархию! Но я не могу... Не хочу и органически не способен проектировать еще одни Романовичи, еще один «Третий район»... Этому даже названия человеческого не придумали. «Третий»! Будет четвертый, пятый. По одному шаблону. К черту! Лучше общественные уборные буду проектировать. Вы, городские власти, наконец вспомнили, что их мало в городе.

Внимание Максима привлекла фигура в красном, мелькнувшая на взгорке меж берез. Шугачев тоже увидел ее. Равнодушно спросил:

— Что там за стоп-сигнал?

Максим засмеялся.

Незаметно, ничего не говоря, он повернул назад, к даче. Шугачев оказался сзади. И снова заговорил о главном:

— Ты что там сопишь, гений? Не можешь толком сказать, с чем приехал?

— Ни с чем.

— Как ни с чем? Значит — крест?

— Сам не пойму. Ты надеялся на меня, я — на Игнатовича... На кого Игнатович, не знаю. Не говорит. Где-то произошло короткое замыкание.

— А Сосновский?

— Сосновский никогда не проявлял особого внимания к архитектуре, полагается на Игнатовича.

— Что же мне делать? — спросил Шугачев, и в вопросе этом Максим прочитал страх человека, который не отличался смелостью, когда надо было принять решение вроде того, какое он так пламенно и убежденно только что высказал. Этот человек был смел в мечтах, в творчестве — в том творчестве, которое

никто не может ограничить.

— Будь художником!

— Где? На чем? — закричал Шугачев с возмущением. — У меня одна, очевидно, последняя возможность — Заречный район. Нет, я не откажусь от него. Я откажусь от проектирования типового района, каких тысячи. Меня либо выгонят из института, либо запишут выговор. Но я буду работать над своим проектом. Ночами. Дома. Пускай без надежды, что он будет когда-либо осуществлен. Мне хочется, чтоб меня поняли дети. Теперь они все, даже Катька, живут этим проектом. Верят в него. Помогают мне. Младшие надеются, что будут жить в этом необыкновенном районе со спортивными площадками и бассейнами. Я не могу разрушить их веру. Они должны жить в таком районе. К этому идем.

— Ты кого агитируешь? Меня?

— Я не агитирую.

— Ты говоришь, как на пленуме Союза архитекторов, где присутствуют руководители Госплана и Госстроя.

— Я скажу и на пленуме.

— Ты скажешь. А я говорил.

— И что?

— Я сам у себя спрашиваю: и что?

Максим считал, что таким образом он еще больше раззадорит товарища. Пускай Виктор заведется, это будет на пользу.

Но Шугачев вдруг умолк. Максим обернулся к нему.

— Ты что?

— Что — что?

— Замолчал.

— А что говорить? Я тебя ругал за твой самоотвод, хотя в душе восхищался тобой. Я на такое не способен. Меня всегда радовала твоя смелость. Но теперь вижу: восхищался я зря и правильно ругал. Ты теряешь уверенность в себе. Раньше у тебя не было таких сомнений. Ты не отступал. Дрался до последнего. Знаешь почему? У тебя были обеспеченные тылы. И крепкие союзники. Это всем нам шло на пользу. Даже Макоеду. Хотя он, идиот, не понимал.

— А что изменилось?

— Не знаю, что изменилось. Однако изменилось.

Максим зашагал дальше, ничего не ответив. Его задело, что Виктор высказал то, что сам он, может быть, даже не вполне осознанно почувствовал после разговора с Игнатовичем.

Виктор тактично молчал. Он всегда тонко чувствовал настроение близких людей. Захотелось подбодрить друга.

— Ничего, Максим... Как бы нам ни было трудно, не будем забывать, что у нас замечательная профессия. Поблагодарим судьбу.

Вот так у них всегда — неожиданные переходы от самых крепких слов к доброй мужской нежности.

За столом они говорили о многом другом, как это всегда бывает в беседе близких друзей. И когда заговорили про дела в институте, где учится Вера, Шугачев со смехом сказал, что Нина Макоед боится притязаний его, Карнача, на ее кафедру.

— Броник очень назойливо допытывался о причине твоего самоотвода. Зная, чего они боятся, я нарочно сказал, что ты собираешься переходить в институт.

Максим никогда об этом не думал и был ошеломлен. Приезд Нины, неожиданная близость с ней, после которой и так было нехорошо на душе, приобрели совсем другой смысл. Разлетелась всякая романтика.

Осталась одна грязь. Неужели женщина приехала только затем, чтобы таким образом выбить соперника из седла? Пробовал отогнать эту мысль, но она прилипла крепко. Чем больше думал, тем больше убеждался, что это так. Недаром говорят, что хитрей бабы черта нет. Если бы это случилось не с ним, можно было бы посмеяться и похвалить ее за прыть. Ай да Нина! Таким манером, кажется, еще никто не выбивал конкурента. Но не до смеха, когда чувствуешь, что тебя облили помоями.

Максим пришел на городскую квартиру часов в одиннадцать, когда, знал, Даша на работе в салоне-магазине. Встречаться с женой не хотелось, хотя надо было бы поговорить о Вете.

Принял ванну, надел халат, сел за рабочий стол, достал давно сделанные эскизы партизанского мемориала. И словно чудодейственно преобразился. Будто бы смыл все водой и мылом. Исчезли тревога, угрызения совести, беспокойство, недовольство собой. Точно вдруг все, что сорвано было ураганом, после бурного кружения в воздухе вернулось на свое место. Даже квартира, которая в последнее время казалась ему ненавистной, снова стала уютной, своей, необходимой для работы и отдыха.

Не рассчитывал, что Даша может прийти в такое время: обед в магазине позднее, чем в других учреждениях. Но Даша неожиданно явилась. Тоже веселая. Отворяя дверь, напевала мотив модной песенки. Однако, увидев на вешалке его пальто, умолкла. И после этого нигде ни шороха, ходила, должно быть, в чулках, сбросив сапожки, шмыгала где-то по коридору, кухне, как мышь.

Это удивило Максима. Непохоже на Дашу. Не разговаривая с ним по неделе и больше, она в это время устраивала в квартире немало шуму: хлопала дверьми, что-то била, бросала, включала до сумасшедшего грохота телевизор и «Спидолу».

Он ждал, каким громом окончится это затишье. Ждать

пришлось долго.

Наконец Даша неслышно подошла к двери, стремительно открыла и, увидев его, сделала вид, что удивилась. Спросила с сарказмом:

— Явился, блудный... муж?

Максим вежливо поздоровался:

— Добрый день, Дарья Макаровна.

Его отчужденная вежливость сбила ее с толку, даже испугала. Во всяком случае, женщина не знала, что ответить и как себя вести — молчать или ссориться.

— Для кого добрый...

Когда-то самая маленькая комната в квартире была его кабинетом. Но когда подросла Вета, его оттуда незаметно вытеснили. Тогда он заказал мебель для большой комнаты по своему проекту, совместив в ней столовую и кабинет. Стол был большой, складной, универсальный — выполнял множество функций. Сейчас он был рабочим столом архитектора.

Даша придвинула жесткий стул и села по другую сторону стола, лицом к лицу. Вперила взгляд, осуждающий, вопросительный, грозный, хотя, показалось Максиму, и чуть испуганный, виноватый, просящий сочувствия и пощады. Он выдержал ее взгляд спокойно, ровно, не давая воли никаким чувствам.

— Ну что? — все еще верная давно усвоенному тону разговора с мужем, спросила Даша.

— Что — что?

— Что ты надумал, дорогой супруг?

— Супруг распряг себя. Наконец-то, — с улыбкой ответил Максим. — Думаю, сестра твоя сказала тебе, что я надумал...

Вскочила, схватила со стола керамическую пепельницу, бахнула ее об пол. Закричала по-бабьи:

— Почему я должна узнавать об этом от сестры? Почему? Изверг ты! — шарила взглядом по столу, что бы еще разбить.

«Если она разорвет проект, я ее побью, — со страхом за себя подумал Максим, чувствуя, что наливается гневом. — А мне нужно спокойствие. Теперь, сейчас, как никогда раньше...»

Взгляд его упал на дорогую хрустальную вазу на книжной полке, вазу эту Даша раздобыла по блату из-под прилавка.

Максим встал, взял вазу и вручил ей, ошарашив этим неожиданным поступком.

— На. Бей.

Даша держала вазу, как бомбу. Лицо ее перекосилось от злости, стало некрасивым. Максим отступил и напрягся, опасаясь, что она может швырнуть тяжелую вазу в него.

— Бей. Все можешь бить. Ломать. Но зачем? Уверяю тебя, это уже ничего не изменит. Ты знаешь мой характер. Во всяком случае, знаешь, что у меня он есть, характер! И никто и ничто не заставит меня отказаться от моего решения.

Она осторожно поставила вазу на стол. Сказала сквозь зубы, с ненавистью, с презрением:

— Какой подонок! Нет, ты не распрягся, ты распоясался. Ты не только потерял моральный облик партийца...

— Пожалуйста, партийность мою не трогай.

— Ах, боишься? Карьерист! Не думай, что своим хитрым ходом ты затуманил людям глаза. Раскусят тебя, миленького! Уже раскусили! Не рассчитывай, что легко

отделаешься от меня. Развода я тебе не дам!

— Ну что ж, подожду. Дело не в формальности, дело в сути.

Его вид в купальном халате, спокойствие и самообладание выводили ее из себя больше, чем перспектива остаться соломенной вдовой.

— Боже мой! — застонала она. — Двадцать лет я жила с таким людоедом.

— Ты неплохо жила, и неизвестно, кто кого ел.

Даша зарыдала. На этот раз, кажется, искренне. И Максим дал ей возможность выплакаться. Мягко ступая, кружил по ковру. Ждал. На какой-то миг почувствовал, что ему все еще жаль эту женщину. При всей своей напористости, проворстве и хитрости, в жизни она довольно беспомощный человек, потому что живет не естественной жизнью, а играет. Играет плохо, по-глупому, и это всем видно, но до сих пор ей прощали эту игру из уважения к нему, к его авторитету. Когда останется одна, почувствует, как все изменится вокруг, и ей будет нелегко. А не поздно ли учить ее таким жестоким способом? Снова вспомнились слова, которые прочел где-то: «Распад брака обнажает самые дурные черты обоих супругов». Имеет ли он право винить одну Дашу?

Но он решительно отбросил мгновенное сомнение, свою минутную слабость.

«Нет, не поздно! В сорок лет еще можно начать жить сначала, более разумно. Себя я наказываю не меньше, потому что должен начать новую жизнь в сорок семь. Но я не боюсь. Мне в самом деле жаль тебя, Даша. Однако отступать уже некуда. Все».

— Ты знаешь, что Вета выходит замуж?

Даша подняла заплаканные глаза.

— Ты говоришь о дочке? Не смей!

— Почему мне не сметь? Пока ты играла в молчанку, я познакомился с женихом, с его родителями...

— Теперь я знаю, зачем ты каждую неделю летал в Минск! Это ты просватал Вилю, чтоб оторвать ее от меня. Не выйдет! Не допущу!

— Ну и глупая же ты! Ей-богу, я был о тебе лучшего мнения, несмотря ни на что. Чего ты не допустишь? Кто тебе мешал поехать в Минск? Ты обязана поехать! Будущая сватья просила. Надо договориться о свадьбе.

— Не поеду. Ей нужно, пускай сама приезжает. Сватают девушку, а не парня. Надо иметь гордость, которой у тебя нет.

— Допустим, что это так. Но от нашей с тобой амбиции мало что изменится. Вета поставила нас перед фактом. Придется ехать...

Его рассудительный тон и тема разговора немного успокоили Дашу. Она встала, прошла взад-вперед по комнате, заглянула в стекло серванта, чтоб увидеть, не размазала ли слезами краску с ресниц. Ее тянуло к зеркалу — в коридор или спальню. Но от двери вернулась, остановилась перед мужем. Какое-то время они стояли молча и разглядывали друг друга внимательно и странно: он — с интересом, как бы желая наконец увидеть, что же она за человек; она — с ненавистью и презрением, даже закусила нижнюю губу, слизала с нее помаду, губа стала синей. Ему показалось, что и сама она посинела от злости. Подумал почти со страхом: «Сколько злобы в этой женщине!»

XI

Кислюк, как бы между прочим, среди самых незначительных дел, сунул Карначу проект постановления о переселении геологоразведочного управления и реконструкции дома на Ветряной — надстройке двух этажей.

Максим удивился. По двум причинам. Такие дела решаются месяцами, а иной раз растягиваются на годы, потому что легче бывает построить целый новый район, чем перестроить старый дом, даже когда необходимость реконструкции очевидна. А тут вдруг такая поспешность. Непонятная. У кого горит?

Еще больше удивило, что Кислюк протянул бумажку с таким видом, как будто у них уже есть полная договоренность и ему, Карначу, надо только завизировать — расписаться в левом углу.

— Павел Павлович, за два года совместной работы вы плохо изучили мой характер. Вы думаете, для красного словца я сказал, что надстроить эту казарму могут только через труп главного архитектора? Но даже и после того, как я вылечу из своего довольно-таки неуютного кабинета, я все равно буду шуметь. Не ломайте генплана!

— В каждый план жизнь вносит коррективы.

— Жизнь вносит разумные коррективы. Во всяком случае, только разумные поправки мы должны принимать.

— Выходит, я действительно вас плохо знаю. Зачем вам лезть в бутылку из-за мелочи, когда впереди более серьезные проблемы?

Перед этим они говорили о Заречном районе, и Кислюк поддержал Карнача, обещал повоевать за проект Шугачева.

Кроме них двоих, в кабинете председателя по другую сторону стола сидел Григорий Анох. Обсуждала вопрос о месте под новое кладбище, и Карнач тоже возражал против предложения коммунального отдела. Его возмущало, не впервые уже, что, кроме разве Игнатовича, никто не умеет заглянуть дальше, чем на пять — семь лет вперед, никто не пытается представить город через двадцать, тридцать, пятьдесят лет.

Анох взял положенную на стол Карначом бумажку, прочитал, хмыкнул.

— Карнач, ты так заботишься о будущем города, как будто собираешься прожить сто лет.

Вот она, вся философия мещанина! Что на нее ответить?

— Знаешь, Анох, больше всего я боюсь умереть, пока ты заведуешь коммунальным отделом. Говорят, в похоронном бюро берут взятки за место на кладбище. А я не накопил еще на свои похороны...

Толстый, краснолицый, на вид флегматичный коммунальщик подскочил, как мяч.

— Не повторяй бабских сплетен! Болтуны безответственные! Павел Павлович! Я попрошу Марушову, чтоб она притянула за поклеп...

— Куда? На кладбище? — мрачно и зло пошутил Максим.

Кислюк усмехнулся, усмешкой этой посадил Аноха на место.

— Не горячись, Григорий Антонович. Я не в первый раз слышу эту сплетню. Нет дыма без огня. Проверь. Ведь, если что, полетят наши с тобой головы.

— Да проверял, Павел Павлович. Предупреждал...

— ...чтоб брали более осторожно, — язвительно подсказал Максим.

— Ты что это, — сделал страшные глаза Анох. — Так ты и обо мне?.. Да я тебя!..

— Пожалей, дяденька, — издевательски взмолился Максим. А сам подумал: «Ну зачем тебе задираться еще с Анохом?»

Председатель был в хорошем настроении. Моложе их по

возрасту, он, может быть, впервые почувствовал себя старше, умнее или, во всяком случае, рассудительнее.

— Перестаньте, пожалуйста, — попросил он. — Ей-богу, как петухи.

— Павел Павлович, я такого оскорбления не прощу. Я сегодня же напишу в партбюро. Что у нас за атмосфера!

— Если мы из-за каждого замечания начнем писать...

— Какое ж это замечание? Какое замечание? — тонким, плаксивым голосом воскликнул Анох и в самом деле достал носовой платок, высморкался.

Максим едва удерживался от смеха. Кислюк мигнул ему, чтоб он молчал. Может быть, Анох заметил, потому что вдруг встал с оскорбленным видом и, ничего не сказав, направился к двери.

Кислюк произнес вслух то же самое, что минуту назад Максим говорил сам себе:

— На черта вам задираться с Анохом? Мало вам градостроительных стычек с ним?

— А надо ли нам быть такими добренькими? Что, если посмотреть под другим углом? Может быть, мы с вами спасаем его, старого дурака? В городе давно ходят такие разговоры. Стыдно слушать. Поручим бы вы органам проверить.

— Это называется капать на самого себя.

— Иногда бывает полезно капнуть и на себя. Это как душ.

— Чтоб подстраховаться?

— Даже такая цель не всегда низка. Но главное — чтоб помочь людям. И делу. Самая большая беда, что перед тем, как принять решение по сложному вопросу, мы подчас мало думаем о последствиях, пускай и далеких, для других, для общества, и много думаем о том, не

повредит ли это сегодня нашей карьере. Вы читали постановление ЦК о застройке второго диаметра Минска?

— Читал, разумеется, — удивился Кислюк.

— Скажите Игнатовичу, что сносом казармы, которая для вас мелочь, реконструкцией Ветряной я спасаю его и вас от подобного постановления, пускай не такого громкого по резонансу, масштабы не те, но все же...

Кислюк нахмурился.

— Больно вы самоуверенны, Карнач. — И сунул незавизированный проект постановления в папку с надписью «На исполком».

О разговоре своем с Карначом Кислюк в тот же день рассказал Игнатовичу. Думал, что того возмутит упорство архитектора. И был изумлен, когда Игнатович довольно потер руки и весело воскликнул:

— Ай да Карнач! Ай да чертов сын!

Но, увидев, что председатель не обрадовался его реакции, Игнатович успокоил:

— Не делай, Павел Павлович, проблемы из такой вот, с ноготок, задачки. Неужто у нас не хватит сил переубедить Карнача?

Если б Кислюк знал все тонкости довольно сложного теперь отношения Игнатовича к свояку, то, наверно, понял бы, что тот выдал суть этого отношения. Хотя, пожалуй, любой вывод здесь был бы упрощенным.

Восклицание вырвалось у Игнатовича искренне, потому что он в душе был на стороне главного архитектора относительно реконструкции Ветряной. Однако дом этот в самом деле мелочь. Сносили целые кварталы, надстраивали десятки старых домов, строили сотни новых. Новый город построили! За Игнатовичем установилась слава руководителя, который неплохо разбирается в градостроительных проблемах. Ему не

раз удавалось переубедить Сосновского в вопросах кардинальных, существенных. Так стоит ли из-за мелочи, из-за какого-то одного дома ткнуть секретарю обкома в нос, что он подкинул архитектурно сомнительную идею — «потребительскую однодневку»? Особенно сейчас, когда Сосновский недоволен. И недоволен из-за него, Карнача. Дураком надо быть, чтобы в такой ситуации поддерживать безответственного анархиста, который выкинул уже не один номер, и вместе с ним начать доказывать, что секретарь обкома ошибается. Во-первых, может быть, не так уж и ошибается. Сам Карнач говорил, что у десяти архитекторов может быть десять решений застройки одной и той же площадки и каждое из них можно принять. Так почему решение Сосновского не может быть одиннадцатым? И, в принципе, не хуже тех десяти. Во всяком случае, более дешевым, экономически выгодным. Мы еще не так богаты, чтоб выбрасывать на свалку целый дом. Недаром принято соответствующее постановление правительства. Правильно, что Карнач думает об эстетике. Тут мы, наверно, делаем ошибку. Но есть еще экономика и экономия. И есть задачи, решение которых нельзя откладывать. Диалектическая сложность жизненных узлов не дает возможности разрубать их одним махом.

Игнатович рассуждал на четко настроенной волне, без помех, в твердом убеждении, что мысли его ни в чем не грешат ни против партийной этики, ни против собственной совести. В конце концов, только дурак не прибегает к тактике и дипломатии. Настоящий руководитель должен быть зорким стратегом и гибким тактиком.

Улавливал суть других дел, о которых говорил Кислюк: новая газовая станция, новые ясли, новое кладбище… Все новое.

— Насчет кладбища поддержите Карнача на исполкоме, а не Аноха. Карнач смотрит вперед и видит будущее города, перспективу его роста. Пускай Анох не льет слезы по родственникам умерших. Никто из них не

натрет мозолей, потому что никто теперь пешком не ходит, даже на кладбище.

— Герасим Петрович, поговорили бы вы с Карначом про Ветряную... Зачем мне на заседании раскрывать карты?.. А у него аргументы убедительные, и он не постесняется... знаете, какой он полемист.

Естественная просьба, а испортила настроение. Сбила четкий ход мыслей, поднялась сумятица чувств. Сказал как будто весело:

— Нет, дорогой Павел Павлович, он твой кадр, ты с ним и говори.

Кажется, ничего особенного. Обыкновенный разговор. Слышал Кислюк слова более резкие, осуждающие. Но странно, как сразу изменился взгляд Герасима Петровича — стал жестким и холодным.

Подумал:

«Какая кошка между ними пробежала? Неужели не может простить Карначу самоотвода?»

Через несколько дней Игнатович пошел к Сосновскому и среди других дел как бы между прочим сказал о том, что главный архитектор возражает против надстройки казармы, не визирует проект постановления.

Сосновский в это время, как всегда, весело, с шутками, с юмором комментировал один документ, ставя на полях восклицательные и вопросительные знаки. Услышав о казарме (возможно, Игнатовича подвело это карначовское слово «казарма»), Сосновский поднял голову, но широкое доброе лицо его не светилось, как несколько минут назад, на него будто упала тень грозовой тучи. Покраснела лысина, чуть прикрытая редкими мягкими, как у ребенка, которого еще ни разу не стригли, поседевшими волосами. Эти волосы больше всего выдавали возраст секретаря обкома.

— Послушай, Герасим, — спокойно и даже как будто по-прежнему весело начал Леонид Минович, но Игнатович

хорошо изучил все интонации его голоса и понял, что настроение уже не то; а еще это Г е р а с и м, так Сосновский обращается только в определенном случае, и эта его фамильярность хуже брани. — Послушай, Герасим, — как бы нарочно повторил он. — Скажи откровенно, чему ты радуешься?

Игнатович растерялся.

— Что вы, Леонид Минович! Чему мне радоваться?

— Нет. Ты сказал про казарму с радостью. И вот я хочу понять, что тебя радует. Что старый лопух Сосновский дал идею, над которой специалисты смеются? Да? Или, наоборот, радуешься возможности подвести под монастырь свояка? За что? Выкладывай тайные мысли! Как на исповеди. Я твой поп.

— Никаких тайных мыслей у меня нет, — не скрывая раздражения, но с достоинством ответил Игнатович.

Сосновский некоторое время смотрел на него, потом опустил голову, углубился в чтение документа. Через минуту, не поднимая глаз, спросил:

— Что у него с женой?

— Худо. Семья, можно считать, распалась.

— Кто из них виноват?

Хотя не раз говорил жене, что сестра ее мещанка и дура, но после разговора с Максимом и Дашиных слез не сомневался — виноват Максим. Однако тут, видя настроение Сосновского, почувствовал, что от категорического приговора в такой ситуации лучше воздержаться.

— Черт их разберет, Леонид Минович.

— У него есть другая женщина?

— Не знаю.

Сосновский быстро поднял голову, посмотрел с удивлением.

— Ты не говорил с Адаркой?

— Говорил.

— Что она?

— Жена или муж обычно узнают о таких вещах последними.

— Это верно. А кто, по-твоему, должен узнавать о таких вещах первым?

Что ответить на такой вопрос?

— Не партийная же организация?

Сосновский поморщился и поскреб за ухом, взъерошив свой седой пух. И сделал заход с другой стороны. Спросил серьезно:

— Герасим Петрович, ты считаешь Карнача своим другом?

— Считал.

Сосновский на миг будто застыл — смотрел пристально, в упор. Словно нехотя согласился:

— Ладно. Считал. Прости, скажу, может, не очень для тебя приятное... Ты даже подчеркивал эту дружбу. Как бы в пример другим. И знаешь?.. Мне это нравилось. Во всяком случае, польза для тебя от этой дружбы была явная: ты лучше, чем многие из нас, грешных, научился разбираться в вопросах градостроительства. Однако, по моему разумению, дружба — это нечто большее... всеобъемлющее... широкий круг взаимоотношений людей... интимных отношений. Ваша дружба к тому же подкреплялась родством. И если ты узнаешь о неладах в семье друга, когда дело дошло до разрыва... скажу тебе откровенно, мне, старому зубру, кажется, стоило бы тебя поставить на этот ковер рядом с Карначом.

— Воля ваша.

— Не превращайся в чиновника! Я тебе не губернатор. «Воля ваша». Дело не в моей воле. Я записал бы в наш партийный моральный кодекс: наказывать за дружбу половинчатую, однобокую...

— А как же это сочетать с партийной принципиальностью?

— Принципиальность должна включать в себя искренность, душевность. И наоборот. Настоящая дружба — это прежде всего принципиальность.

«Добренький ты становишься перед пенсией», — неприязненно подумал Игнатович, хотя в душе не мог не отдать должное проницательности Сосновского. В чем-то, в чем именно, сразу не разобрался, секретарь обкома помог ему; во всяком случае, задача со многими неизвестными, которую задал ему Карнач, как-то вдруг упростилась. От этого стало легче, несмотря на проборку, которую он получил.

Между прочим, так бывало уже не раз: после разговора в этом просторном, строго обставленном кабинете многие узлы развязывались проще.

Обычно при жене или в узком кругу очень близких людей, к которым, между прочим, принадлежал и Карнач, Герасим Петрович незлобно подсмеивался над Сосновским: работник старой формации, работает методами довоенного времени или первых послевоенных лет. Мол, с такой склонностью к юмору, к постоянному веселью ему надо было пойти в актеры или в фельетонисты. Хотя шутит Сосновский метко.

Но всегда ли к месту он шутит, всегда ли соответственно своему положению? Нередко шутки Сосновского шокировали Игнатовича. Разве к лицу, например, секретарю обкома бросить такой призыв работникам города, пускай и на узком совещании: «Урбанисты, давайте прогуляемся по области. Протрясем пуза, проветрим штаны. А то некоторые

забыли, откуда у коровы молоко течет»? Многие смеялись, пересказывали слова эти как анекдот. А ему, Игнатовичу, было стыдно, он даже собирался как-нибудь при случае сказать Сосновскому, что так нельзя, не те времена, не тот стиль. Но случай не выпадал.

Вместе с тем Герасима Петровича восхищала неутомимость Сосновского. Человеку шестьдесят, а он что юноша! Завидовал его энергии — нам бы такую в его годы! — и старался не отставать от своего партийного руководителя: стыдно отставать, когда тебе на четырнадцать лет меньше. А еще изумляла в Сосновском та внешняя легкость, с которой он разрешал сложнейшие вопросы. Случалось, месяц-два стучишься в какое-нибудь министерство, и никаких результатов. Обращаешься к Сосновскому. Тот берет трубку. Шутка, анекдот, библейская притча в его, Сосновского, интерпретации, и, глядишь, руководитель республиканского учреждения, которое столько времени мариновало поставленный городом вопрос, становится на диво оперативным.

Сосновского любили. Кому-нибудь другому не простили бы такого сарказма. Ему все прощали.

«Слушай, Иван, сын Архипа из Батурич, скажи ты мне, браток, солнце у вас над Терешковичами светит? Что ты говоришь? Неужто светит? А я думал, оно только тут, в городе, плавит асфальт, не выпускает нас из кабинетов. Постановления ты пишешь? Какие постановления? Как? Ты не знаешь, какие постановления должен писать? Ах, пишешь? Не взвешивал, сколько их заготовил? Чего?.. Постановлений. Что ты там, бутерброд не проглотишь? Чайком запей. Ага, вот теперь голос прорезался. Как думаешь, прокормим скот постановлениями? Гляди, строчи их побольше! Весной пригодятся».

И трубку не рычаг. Никаких цифр, никаких заданий. Пускай переваривает секретарь райкома вот такое предупреждение за то, что отстают с заготовкой кормов.

Однако не с каждым он так говорит. Знает, с кем как

надо. К любому у него есть ключик. Психолог.

Игнатовича не просто удивляла — потрясала память Сосновского на людей. Сколько он их знает! Тысячи фамилий, имен, отчеств. Как имя жены, где учатся дети... Доярки, заведующие фермами, геологи, лесники, монтажники на строительстве ГЭС... Когда успевает встречаться с ними? Игнатович попробовал последовать его примеру, не получилось, почувствовал, что множество встреч распыляет его внимание, мешает другим, более важным и неотложным делам. Тогда он поставил под сомнение целесообразность тех принципов руководства, которых придерживается Сосновский. Необыкновенная память и актерские способности совсем не обязательны для руководителя нового типа, который должен пользоваться научными методами и новейшей техникой.

Сосновский, конечно, явление уникальное, но такая универсальность — рудимент. Все это выработано определенными условиями, когда это было необходимо, и, разумеется, огромным опытом: сорок лет человек на комсомольской и партийной работе. Отведал бы ты, Леонид Минович, производства, с которого начинал он, инженер Игнатович. Там психология — дело второстепенное. Ходя к рабочим на именины, производительность труда не поднимешь. Да и должность председателя горисполкома, которую он раньше занимал, вырабатывает совсем другую форму мышления. Правда, партийная работа имеет свои особенности. Он не отрицает: да, учился у Сосновского и многому научился. Но разве это не закономерно, что ученик должен подняться на ступеньку выше, не копировать, не подражать, иметь свой стиль и метод?

Игнатович был убежден, что, как руководитель нового типа, он безусловно выше Сосновского. Но, не сомневаясь в своей объективности, по-прежнему восхищался отдельными чертами характера и организаторским опытом секретаря обкома.

Вот хотя бы его проницательность — умение разгадать, чем дышит посетитель, и уловить смысл всех интонаций

и оттенков голоса...

«Впрочем, какая там проницательность! Просто субъективные чувства. Вдруг ему показалось, что я с удовольствием сообщаю о несогласии Карнача с его идеей надстройки дома. Чепуха. Почему это должно меня радовать? Мелкий эпизод».

Все эти мысли беспорядочно кружились в голове Игнатовича, пока он возвращался из обкома в горком.

Сосновский не отвел ни одного городского дела, каждым занялся серьезно, на этот раз даже без своих юмористических замечаний. Это было приятно. Таков стиль работы горкома — с мелочами наверх не лезем. Внес некоторую ясность, в самом деле как будто упростил одну из нелегких задач разговор с Сосновским об отношениях Карнача с женой. А вот его слова о дружбе не понравились: книжные сентенции, абстрактный гуманизм.

С такими противоречивыми чувствами и мыслями он открыл дверь в приемную и... смешался от неожиданности.

У стола, слишком близко от Галины Владимировны, сидел Карнач, сразу видно, веселый, довольный, еще более обычного элегантный; элегантность придавал модный широкий яркий галстук; галстуки эти нравились Герасиму Петровичу, но он считал, что носить такой партийному работнику не подобает.

Галина Владимировна — пунцовая, явно чем-то взволнованная. Увидев в дверях Игнатовича, вскочила со стула, будто пойманная на чем-то недозволенном, и еще больше разгорелась, чего с ней никогда не бывало, — всегда спокойная, ровная, аккуратная, одинаково вежливая со всеми.

Герасима Петровича как током пронзила мысль: неужто она? Упаси боже. Это был бы удар, фиаско. Что скажет Сосновский, если узнает, что женщина, из-за которой Карнач бросает жену, его секретарша? Ужас. Страшно

подумать. «Плохо мы работаем с кадрами, Герасим». Тогда невольно придется признать, что действительно плохо не мы — он, Игнатович, работает с кадрами. Возможная близость Максима и Галины Владимировны задела его больше, чем даже мысль о том, что скажет об этом Сосновский, еще по одной причине, совершенно тайной. Даже самому себе он не решался признаться, что Галина Владимировна нравится ему не только как хороший работник, но и как женщина. Никогда ни одним жестом он не выдал своих чувств. И никогда не выдаст. Однако это так, она ему нравится. В конце концов, твердо придерживаясь в жизни и работе морального кодекса, имеет он право хоть на одну тайную слабость? Он человек, как все люди. А делает больше многих других. Так почему же такому безответственному ветрогону, как Карнач, все можно — выпить, погулять, завести любовницу, — а ему нельзя позволить себе даже маленькой тайной радости: подумать с нежностью о красивых руках женщины, которая изо дня в день работает рядом, мысленно поцеловать эти руки?! Лишь мысленно! А думать о том, что не только руки ее целует этот нахал, просто невыносимо!

«Если правда, что она, уволю немедленно», — мгновенно, тут же на пороге решил Герасим Петрович, потому что всегда придерживался принципа: в партийных органах могут работать только морально устойчивые люди.

Стремительно, не скрывая удивления, вошел в приемную, поздоровался. Спросил без тени шутки:

— Обольщаешь Галину Владимировну?

Кровь отхлынула от лица женщины, она побледнела и ответила сурово, с укором:

— Герасим Петрович! Я уже вышла из того возраста.

— Приглашаю в театр, — просто объяснил Максим. — На открытие гастролей МХАТа. У меня есть билеты. Но ты тут установил монастырские правила. Боится Галина

Владимировна. Что скажет Герасим Петрович?

— Правильно не соглашается! — одобрил Игнатович, испытывая облегчение. — У тебя есть с кем ходить в театр. С женой.

Сказал и ушел в кабинет, не взглянув, как подействовали его слова.

Галина Владимировна увидела, что Максим переменился в лице. Попросила:

— Не надо.

Но он двинулся в кабинет следом за Игнатовичем.

Тот раздевался возле двери, вешал пальто в шкаф.

Максим, закрыв внутреннюю дверь и упершись в нее спиной, как бы для того, чтобы не дать войти Галине Владимировне, сказал тихо, но с гневным нажимом — интонацией, которую свояк хорошо знал:

— Слушай. Я тебе о жене все сказал. У меня нет жены! Я не ханжа! И не коли ты мне глаза этим! Хватит!

Герасим Петрович, повесив пальто, повернулся к Максиму, пригладил волосы, приветливо улыбнулся. Появилась уверенность, что Галина Владимировна — не та женщина, из-за которой распадается семья Карнача, и настроение его поднялось.

— Не горячись. Чего ты хочешь от меня? Чтоб я благословил ваш развод?

— Мне не нужно твоего благословения.

— Ты забываешь, что, во-первых, Даша не чужой мне человек, она сестра моей жены, во-вторых, положение мое...

— Ты можешь вызвать меня на бюро горкома и записать что хочешь. Но не лезь со своей поповской моралью мне в душу!

— Ну, знаешь... — возмутился Игнатович, повернулся, пошел к столу. — После этого нам не о чем говорить, — сказал с обидой, вспомнив слова Сосновского о дружбе,

— Со своими чувствами я сам разберусь...

— Ты пришел пригласить Галину Владимировну в театр? Выполняй свою миссию. У меня дела.

— Нет, я пришел к тебе. Принес копию моего письма в Совет Министров с протестом против посадки химкомбината в Белом Береге.

— С протестом? — Игнатович хмыкнул. — Тебе не кажется, что ты уподобляешься Дон-Кихоту? Но тот воевал с мельницами. А ты с кем вознамерился? Максим Евтихиевич! Долгое время я был уверен, ты из тех людей, кто рассуждает реалистически, не отрывается от земли. Что мне думать теперь?

— Полгода назад ты согласился со мной насчет «привязки» химика.

— Твои архитектурные планы, рассчитанные на пятьдесят лет, я готов поддержать и сейчас. Но есть и другие соображения. Экономические. И политические! Да, и политические. Они диктуются сегодняшним днем. Мы превратимся в бесплодных фантазеров, если будем забывать, игнорировать тот факт, что люди должны иметь работу, жилье, хлеб и мясо, и удобрения для полей нужны сегодня.

— Неужели в Озерище комбинат давал бы меньше продукции?

— А ты не пробовал узнать, во сколько добавочных миллионов влетит государству посадка на месте, которое предлагаешь ты?

— А кто-нибудь подсчитал, во что обойдется государству и людям этот подарок, когда через двадцать лет после того, как «химик» уничтожит естественный зеленый пояс, город начнет задыхаться? Или после нас хоть потоп? Так? Есть, наконец, закон об

охране природы! Как мы умеем обходить его, прикрываясь самыми высокими материями!

— Химики гарантируют полную очистку.

— Какие химики? Я тоже говорил с химиками, — Максим показал на тоненькую папку, которую держал в руке. — Я учитываю заключение химиков.

— Заключение, данное за столиком в кафе или ресторане? Максим Евтихиевич! Ты же серьезный человек! — Игнатович подошел к сейфу, открыл его, достал зеленую толстую папку, — А вот тут точные расчеты двух институтов, — посмотрел на часы. — Жаль, что я должен ехать на завод, а то мог бы познакомить тебя...

— Читал я эти бумажки.

— Есть новые документы. Вот так, товарищ Карнач. К твоему сведению, принято решение горкома... Ты выступаешь против решения...

— Хочешь испугать?

— Нет. Я знаю, что ты не из пугливых. Копию письма своего оставь. Пускай хранится в архиве. Будущим биографам твоим легче будет найти еще один факт твоей высокой принципиальности.

Максим шагнул к столу, осторожно, как стеклянную, положил папку перед Игнатовичем. Вообще двигался очень осторожно, словно опасаясь, как бы что-то не оборвалось в нем или не соскочил «предохранитель с чеки», потому что последние слова Игнатовича завели его. Как хотелось ответить! И как бы он мог ответить! Но понимал, это значило бы в щепу разнести все то, что они вместе строили много лет. Нелепо, неумно из-за такой мелочи — из-за неприятно задевших слов. Медленно отошел от стола.

— Будь здоров, Герасим Петрович.

— Всего доброго, Максим Евтихиевич.

Максим вышел в приемную. Тихо, без стука закрыл дверь. Но остановился тут же с видом человека, который что-то забыл.

Галина Владимировна смотрела на него с тревогой. Она боялась, что между ним и Игнатовичем произойдет нелегкий разговор. У нее даже мелькнула мысль как-нибудь помешать им. Но не решилась. Сама была под впечатлением неожиданного предложения архитектора. Хотя ничего особенного не произошло. Максим Евтихиевич сказал Герасиму Петровичу правду: он просто пригласил ее в театр на открытие гастролей МХАТа. Но если б кто-нибудь представлял, что это значило для нее. После смерти мужа ни один мужчина не приглашал ее в театр. Три года уже. А если б и пригласил, не пошла бы, может быть, даже оскорбилась бы. Но тут пригласил человек, о котором она — боже мой, слабая, наивная женщина! — изредка, только изредка и совсем втайне, стыдясь собственных мыслей, думала немножко иначе, чем обо всех остальных, с кем встречалась по службе.

Нет, не само приглашение ее так взбудоражило, не от этого она пылала как в лихорадке, когда неожиданно появился Герасим Петрович.

Взволновал разговор, который произошел между ними. Конечно, она очень удивилась такому приглашению.

— Что вы! Что станут говорить! У вас ведь жена...

— У меня нет жены.

— Как это нет? — еще больше удивилась она, хорошо зная, что жена Карнача — свояченица Герасима Петровича.

— В ближайшее время я оформлю развод.

Вот отчего бросилась кровь в голову, в лицо так, что зазвенело в ушах и перед глазами поплыли розовые круги. Она обыкновенная женщина. А у кого из ее сестер даже после трагедии, пережитого горя не

вспыхивает вдруг, в один миг, огонь надежды на то, что не все кончено, что еще раз может прийти счастье?

От приглашения она решительно отказалась.

— Тем более мне нельзя... Как вы не понимаете? В какое положение я поставлю себя перед... — она показала глазами на дверь кабинета.

В этот момент и вошел Герасим Петрович.

Но после его бестактных, прямо-таки обидных слов у нее появилось желание назло всем и всему пойти.

Теперь она зарделась от мысли, как сказать об этом Максиму Евтихиевичу. Поймет ли он такой неожиданный поворот? К тому же ситуация усложнялась тем, что в приемной были посетители — вызванные раньше работники Дома партийного просвещения. При них не станешь объяснять, что и почему.

И очень встревожило, почти испугало, как Максим застыл у двери. Конечно же, ему теперь не до нее. Сделал жест обыкновенной мужской галантности — не согласилась, стыдливая дура, будь здорова.

Но он почувствовал ее взгляд, полный страха и ожидания. Забавно тряхнул головой, как после ныряния вытряхивают из ушей воду, мягко улыбнулся ей, сказал:

— Думаю, теперь вам стоило бы согласиться на мое предложение.

Она кивнула головой.

— Я согласна. — Лицо ее засветилось и сердце затрепетало, как у девушки, которой назначили первое свидание.

Когда Максим вышел, Игнатович долго сидел неподвижно, пока Галина Владимировна не доложила о пропагандистах.

Одолевало ощущение усталости и еще, кажется, потери. Чего? Снова услышал слова Сосновского о дружбе. Какая там, к черту, дружба после всего, что произошло и происходит! Вспыхнула злость... против Сосновского. Старый моралист. Одно знает — «поговорить по душам». Но я тебе не доярка, исповеди которых ты любишь выслушивать... Ладно, признаю, сельское хозяйство ты знаешь и умеешь им руководить. А в промышленности дилетант, хотя и гордишься своим опытом. Перегнала тебя промышленность, Леня, — мстил за «Герасима». Научно-технический прогресс шагает быстрее, чем ты. Семьдесят процентов промышленности области на моих плечах. Умей ценить это, попрекал он Сосновского, хотя тот о руководстве промышленностью сегодня и слова не сказал. Но Игнатович знал ахиллесову пяту секретаря обкома и безжалостно целил туда. Вот тебе! За твой намек о моей неверности в дружбе.

Но через минуту спохватился — испугала собственная злость. Ого, куда занесло! Никогда он не давал воли таким чувством. Так можно распуститься до анархизма, сравняться с Карначом в отрицании авторитетов. А он всегда был дисциплинирован, сдержан, если иногда и критиковал кого-нибудь из тех, кто стоял выше него, то всегда делал это принципиально и уважительно.

Сосновский выдвигал его, воспитывал как руководителя. Он не «безродный Иван» и благодарен за это. Он любит Леонида Миновича. Смешно упрекать за то, что, не имея инженерной подготовки, тот не всегда может разобраться в специфических процессах современного промышленного производства. В наше время, будь ты хоть гений и пройди три технических вуза, все равно не в состоянии будешь все охватить. У Сосновского есть более важное качество — талант партийного организатора и особое чутье на людей, умение распознавать, кто на что способен.

Эти мысли успокоили и приободрили, все-таки он объективный человек!

Сказал секретарше, чтоб партпросветовцы подождали.

Набрал номер секретаря обкома.

— Леонид Минович? Я. Еще раз. Прошу простить, что беспокою.

— Не делай длинной преампулы. — Сосновский шутил: один работник любил умные слова, но говорил, пока ему не растолковали, вместо «преамбула»— «преампула»; это стало местным анекдотом.

— Не знаю, каким вам покажется мой голос на этот раз, веселым или грустным. Но считаю своим долгом сообщить... Карнач только что передал мне копию своего письма в Совет Министров с протестом против посадки «химика» в Белом Береге.

Слышались далекие чужие голоса — из-за индукции или в кабинете у Сосновского были люди. Леонид Минович молчал. Игнатович подул в трубку.

— Алло!

— Не дуй мне в ухо. Оно и так горит... Что я тебе скажу, Герасим? — Игнатович сморщился, как от боли. — Голос твой на этот раз совсем невеселый. Загробный прямо-таки голос...

«Не может человек, без своего неуместного юмора», — недовольно подумал Игнатович.

— Но почему ты звонишь мне? Страхуешься?

— Думаю, в первую очередь спросят у вас.

— Предусмотрительно с твоей стороны. Но чем я могу утешить тебя, Герасим Петрович? Устав партии и наша советская демократия разрешают Карначу обращаться в любую инстанцию. Что же касается нас с тобой, то при любом варианте накостыляют нам. Готовься,

Черт возьми, невозможно понять, когда этот человек говорит серьезно, а когда шутит. Его шарады и ребусы прямо-таки сбивают с толку. Он, Игнатович, научился не только понимать людей с полуслова, но, как

говорится, видеть каждого насквозь — и руководителя и подчиненного. Сосновский же не «просвечивается», слишком густо замешан.

XII

У Галины Владимировны эти четыре дня были, пожалуй, самые трудные с тех пор, как погиб Сергей. Три года не знала таких душевных мук.

Она всегда отличалась тактом и деликатностью, но не обладала той решительностью, которая свойственна другим женщинам, особенно в сердечных делах.

Уже через несколько минут после того, как главный архитектор вышел из приемной, она усомнилась в своем праве идти с ним в театр. А потом опять убеждала себя: вот нарочно пойдет, назло всем, и в первую очередь Игнатовичу. За его бестактный вопрос.

И так все четыре дня чередовались сомнения с решимостью, желание со страхом — идти или не идти?

Если б все не было так запутано, если б пригласил кто-нибудь другой, не Карнач, она, наверно, посоветовалась бы с Герасимом Петровичем, простив ему грубую шутку. Галина Владимировна уважала секретаря за его стиль работы, за решительность в словах и делах, чего так не хватало ей. С ним хорошо работалось. Игнатович тоже, она знала, был доволен ею, благодарил товарища, который после смерти Гордеичева порекомендовал вдову пилота, молодую коммунистку, в горком партии.

В день открытия гастролей она нарочно оделась проще и скромнее, чем обычно, не по-театральному. Правда, повертела в руках новые туфли, но не взяла их. На работе в ящике стола она держала довольно хорошие еще, но старые и уже немодные туфли, удобные, чтоб ходить в них целый день.

Не уверенная, что в последнюю минуту не передумает, Галина Владимировна решила нарочно задержаться на службе, чтоб не осталось времени съездить домой

переодеться.

Но часа в четыре позвонил он, тот, о ком она думала все эти дни.

В приемной были люди, и Галина Владимировна попросила вежливо, но официально позвонить через пятнадцать минут. Скоро у Игнатовича начнется совещание и приемная опустеет. Но не на это она надеялась в тот момент, на другое — он обидится и больше не позвонит.

А он позвонил. В приемной было пусто. Она попыталась отказаться:

— У Герасима Петровича совещание. Я не могу уйти, пока оно не кончится. А потом я не успею переодеться.

— Плюньте на все совещания. Один раз. Я отвезу вас на машине. Домой. И назад. Ровно в половине шестого буду у вас.

Она задохнулась от страха и... радости. Шепотом попросила:

— Не поднимайтесь, пожалуйста. Я сама выйду.

Зимний день короток. Было уже темно. Но на тихой улице под голыми каштанами горели яркие фонари,

Максим знал, что Галина Владимировна будет озираться, как новичок преступник, и поставил свой «Москвич» подальше от здания горкома. Встретил ее пешком, как бы случайно.

В машине она села на заднее сиденье. Он улыбнулся этой наивной уловке — в театр пойти отважилась, а в машине садится подальше — и, повернув зеркальце так, чтоб видеть ее лицо, включил свет — посмотрел на нее.

Вид у женщины был невеселый. Максиму стало жаль ее.

Впервые явилась мысль отказаться от своей довольно-

таки авантюрной затеи.

На открытие гастролей придут многие работники областных и городских организаций, даже те, кто годами не бывает в театре. И многим из них, главное, женам — силе очень страшной — он бросит вызов, почти такой же, какой бросил своим самоотводом. Но он шел на это сознательно, чтоб одним махом перечеркнуть все условности. Пускай узнают все сразу. Пускай поговорят. Через все это надо когда-нибудь пройти.

Он не чувствовал за собой вины и потому не видел необходимости делать из развода тайну. Но зачем ему впутывать в свою трагикомедию эту постороннюю женщину, с которой он, по сути, еще и мало знаком?

Военный городок, где она жила, находился на ближней окраине, у реки. Чтоб проехать туда, надо было выписывать пропуск. Долго. Он остался с машиной у ворот, а она побежала. Дом от проходной был недалеко, метров четыреста. Но, может быть, от мороза, который к вечеру усилился, у нее так перехватило дыхание, что она, вбежав в теплую квартиру, совсем задохнулась.

Пятилетний Толик кинулся ей на шею.

— Мама пришла!

Дочка-четвероклассница, хозяйка и нянька, смотрела на мать удивленно, догадываясь, что случилось что-то необычное.

Галина Владимировна, отдышавшись, сказала:

— Дети, я иду в театр. Поиграйте сами.

Постаралась сказать это самым будничным тоном, как будто поход в театр — дело обычное, ходит она туда, по меньшей мере, каждую неделю.

— И я с тобой, мамочка! — захныкал Толик.

Таня не сказала ни слова, повернулась и пошла на

кухню.

Оттуда спросила тоном свекрухи:

— Есть будешь? Подогреть?

Галина Владимировна зажала рот руками, чтобы не закричать, не завыть по-бабьи от своего вдовьего горя. Там, в горкоме, она почему-то не подумала, что ей придется пройти еще и через такое испытание.

Да, надо пройти. Надо победить! Не сдаться. Переступить некую невидимую грань. Она и так жила три года только для детей.

Бросилась в комнату. Торопливо скинула свою простенькую юбку, кофточку.

Толик — молодец, мужчина. Крикнула ему, что детей вечером в театр не пускают, что она поведет его в воскресенье, и он отстал, уже где-то на кухне ведет в атаку свой воображаемый отряд десантников.

Открыла шкаф, чтоб выбрать платье получше, и вздрогнула — еще одно испытание! Вдруг поняла, что ни одного из тех платьев, которые покупал Сергей, в которых она ходила с ним, надеть не может. На работу наденет, в театр — нет. Вынула шерстяной костюм, который купила прошлым летом и в котором теперь, в зимнее время, почти каждый день ходит на работу.

Когда причесывалась, в зеркале увидела, как из другой комнаты наблюдает за ней дочка. Какие у нее глаза! В них грусть, боль, разочарование, укор! Застыла с поднятым гребешком, с распущенными волосами. Боялась шевельнуться.

Таня, должно быть, поняла, что мать заметила ее, спряталась за стену. Тогда она позвала ее неожиданно для себя твердо, будто приказывая:

— Таня!

Дочка появилась в дверях.

— Что, мама? — как всегда, послушная, вежливая.

Классная руководительница как-то сказала, что Таня могла бы учиться лучше. Она, мать, ни разу не решилась передать дочке эти слова, зная, какой груз она взвалила на худенькие детские плечики; хорошо, что учится на четверки.

Галина Владимировна повернулась и, глядя на дочку, стала быстро, по-домашнему скручивать волосы в привычный узел, в зубах она держала, шпильку.

— Что, мама? — повторила девочка.

Мать вынула изо рта шпильку, воткнула в волосы.

— Ты... не хочешь, чтоб я шла в театр?

Таня потупилась и не ответила.

Мать шагнула к ней, но, будто сил не хватило, опустилась на кровать.

— Я три года нигде не бывала. Ни в театре. Ни в гостях... Таня... Танечка... Мне тридцать четвертый год. Мне хочется еще жить...

И не выдержала, заплакала. Даже не закрыла лица, не упала на подушки. Только согнулась, как от сильней боли в животе, и затряслась от рыданий. Наверно, при одной Тане заплакала бы вслух, но подумала о сыне, как бы не привлечь его внимания. А Таня вдруг упала перед ней на колени, обняла, уткнулась головой в подол.

— Мама! Мамочка! Не надо! Не плачь. Прошу тебя. Ну конечно же, иди в театр. Я за Толиком присмотрю. Не волнуйся...

От дочкиной сердечности и ласки еще сильней хотелось плакать. Она целовала ее мягкие волосы и орошала их слезами.

— Мама... — прошептала Таня, — если он хороший... я

буду его любить. Клянусь тебе, мамочка.

Вмиг высохли слезы.

Она сжала ладонями Танину голову, посмотрела в глаза.

— О чем это ты говоришь? — и засмеялась. — Глупенькая моя и маленькая! Кто мне нужен... Никто мне не нужен! Никто! Кроме вас с Толиком!

И сама поверила, что никто ей не нужен, что человек, который ждет ее в машине, абсолютно ничего для нее не значит; просто так, случайное приглашение.

И успокоилась. Почти весело с помощью Тани закончила сборы. Без колебаний надела шубу, которую Сергей когда-то привез из одной дружественной страны, где обучал товарищей летному делу. Поцеловала детей. Без спешки, не торопясь, чтоб не обращать на себя внимания соседок — жен летчиков, вернулась к машине. Села на переднее сиденье.

Максим с некоторым удивлением оглядел ее дорогую шубу, от которой еще пахло шкафом.

— А я, застывши на морозе, подумал уже, что вы не придете.

— Что вы! Грех отказываться от такой возможности. Когда-то в институте я играла в народном театре.

— О-о!..

— Вас это удивило?

— Почему-то удивило. Может быть, потому, что в жизни, мне кажется, вы совсем не актриса. Никогда не играете. Между прочим, за это вас любит весь городской актив.

Она не ответила. Некоторое время вообще молчала.

Максим подумал: окунулась в минувшее или улетела в

будущее? Но он ошибся, она думала о сегодняшнем дне. Фраза его про актив почему-то напомнила, что жена архитектора — сестра жены Игнатовича и что шефу — во второй раз назвала его так, с оттенком иронии, — безусловно, не понравится ее нынешний поступок.

Она спросила почти шепотом:

— А жены... вашей... не будет?

Максим резко затормозил машину. Остановился. Посмотрел на нее. Черт возьми, как он не подумал, что Даша может прийти с Игнатовичами? Наверно, придет, потому что любит показать на людях свою причастность к искусству. Неплохо окончательно дать ей понять, что от их союза ничего не осталось, что он открыто, без ханжества готов пойти на сближение с другой женщиной. Но смолчит ли она? Скорее всего учинит скандал. На ее стороне формальное преимущество: никто не знает, как они живут, но все знают, что они муж и жена. Поддержат ее. Права свои, писаные и неписаные, Даша усвоила отлично.

— Назад? — опять-таки шепотом спросила Галина Владимировна.

— Назад? Нет! Только вперед! После такой подготовки — и отступать? С Дарьи Макаровны, пожалуй, станется учинить скандал, но мы не дадим ей этой возможности. Мы сядем врозь.

Она нервно рассмеялась.

— Вы предусмотрительны. Но зачем вам такая партнерша?

Максим поставил машину не на площади, а в проулке за театром. Галина Владимировна спросила озабоченно:

— Не уведут?

— Ее уже три раза крали. Но возвращали обратно. Один наглец даже письмо оставил с благодарностью. Я хочу, чтоб украли совсем. Может быть, тогда мне, как

потерпевшему, продали бы без очереди новую. А то эту больше латаю, чем езжу на ней.

У театрального подъезда она смущенно попросила:

— Дайте мне билет.

Максим достал билеты, один оторвал ей.

— Так рядом же, — испуганно сказала она.

— Не волнуйтесь. Вы будете сидеть далеко от меня.

Когда передавал билет, почувствовал, как дрожит ее рука — женщину трясло. Грустно подумал:

«Проклятые условности. Сколько надо пережить, чтоб пойти с человеком в театр. Первобытные нравы!»

Галина Владимировна быстро взбежала по ступенькам. Театралов у входа было много, несмотря на мороз. Слышались вопросы: «Лишнего билетика нет?»

Максим увидел Лизу Игнатович. Она стояла за колонной и кого-то ждала. Вряд ли Игнатовича. Скорее Дашу. По тому, как Лиза посмотрела на него, понял: видела, с кем он вышел из переулка. Но это не испугало, наоборот, развеселило. Лиза не в пример сестре неглупа, обтесалась на комсомольской и профсоюзной работе. Интересно, как она себя поведет?

Когда Максим спустился в гардероб, Галина Владимировна уже разделась, сменила сапоги на туфли, шубу и сумку с обувью держала в руках. Не хотела, боялась, чтоб он проявлял к ней излишнее внимание. Но в гардеробе никого знакомых не было. Актив раздевался в кабинете директора театра. Он предоставил ей самой сдать вещи, но, стоя рядом, пошутил:

— У меня слабые навыки конспиратора. Идите за мной. Я покажу вам место.

Он покупал билеты для себя и для Шугачевых. Лучшие

— тогда еще не знал, кого пригласит — отдал Шугачевым. Запомнил ряд, места.

Максима немного смущала процедура знакомства Галины Владимировны с Шугачевыми. Боялся не за Полю, а за Виктора. Тот по простоте своей может ляпнуть что-нибудь не к месту. Но Шугачевых еще не было. Добравшись до ряда, Максим тихо сказал:

— Шестнадцатое — ваше.

Она удивленно посмотрела на него и молча стала пробираться к месту, которое он показал.

Максим пошел обратно в фойе, чтоб встретить и предупредить Шугачевых. Наконец увидел Полю и с облегчением вздохнул, пошел навстречу. Был уже второй звонок. Но где же Виктор?

Еще одна нелегкая задача! Виктор остался дома. В театр пришла с матерью Вера. Как ей объяснить?

— Вера, дитя мое, выполни мою просьбу, садись со мной.

— Почему? — Девушка передернула худыми плечиками.

— Твое место занял человек, который не мог со мной сесть...

Вера нервно засмеялась.

— Тетя Даша?.. Какая это чудная вещь — семейная жизнь! Пока дошли до театра...

Поля с укором взглянула на дочь.

— Вера!

— Нет, правда. Это прелестно — семья, на которую ты, мама, молишься...

Они оба, мать и он, понимали, что это крик юной души, болезненный крик. Он полоснул их по сердцу. Но никто из них не мог унять эту боль. Максим увидел, как

побледнело розовое с Мороза лицо Поли.

Дали третий звонок.

Пускай Вера пока считает, что на ее месте сидит Даша. Так, кажется, подумала и Поля. Ей надо объяснить. Она, конечно, корректно будет молчать. Но именно это молчание окажется для Галины Владимировны самой страшной карой, радость от посещения театра превратится в муку.

Чуть отстав от Веры, он прошептал Поле:

— Там не Даша. Но, поверь мне, это очень хороший человек. И несчастный. Клянусь тебе, Поля, тут ничего такого...

Она сжала его руку. Он не понял, что Поля хотела выразить — согласие, осуждение? Сказала не шепотом, обычным голосом с укором:

— Ах, Максим, Максим! Вы — как мальчишка!

Садясь рядом, Поля кивнула Галине Владимировне, как знакомой, с которой уже сегодня виделась, и улыбнулась по-матерински снисходительно, так улыбаются взрослые женщины своим молодым подругам. Но с первого взгляда женщина не понравилась Поле — слишком красивая. В молодости она завидовала красивым, потом стала относиться к ним недоверчиво и даже немножко жалела их — редко они бывают счастливы. Этот эстет Максим выбирает только красивых, но немного счастья дала ему его красавица.

Люстры погасли, но занавес долго не поднимался. Поля почувствовала, что соседка вся сжалась, напряглась, кажется, затаила дыхание. Нет, это не в предчувствии радости от спектакля. Это от страха.

Поля вспомнила слова Максима. Боже мой, какое она, в конце концов, имеет право кого-то осуждать? В жизни все так сложно. У самой у нее камень на сердце после того, что она узнала про дочку. Прошло столько дней, а.

она все еще не отважилась поговорить с Верой. Была какая-то неопределенная надежда, что их совместный поход в театр поможет начать этот разговор. Пришлось выдержать войну с Виктором, который кричал, что дети могли бы постоять в очереди и взять билеты и себе и даже им, родителям, а не рассчитывать на старого отца.

Поля легонько сжала локоть соседки, прошептала:

— Познакомимся. Меня зовут Полина Николаевна.

— Галина Владимировна, — шепотом ответила та, и у нее вырвался вздох облегчения.

Мать села в седьмом ряду, а они с дядей Максимом — в восемнадцатом. Вера сразу со спины, по прическе узнала, что рядом с матерью не Даша, а другая, незнакомая женщина. Это ее поразило. Она, наверно, смолчала бы, во всяком случае, подождала бы объяснений дяди Максима, ведь она доверила ему самую серьезную тайну, но вдруг увидела Дашу. Та встала с крайнего у прохода кресла, оглядела зал, как бы ища кого-то. Увидела ее, Веру, кивнула головой, здороваясь, но погрозила пальцем.

Вере стало жарко. Кровь кинулась в лицо. Хорошо, что в это время погас свет. Немного придя в себя, девушка спросила решительным шепотом:

— Что это за женщина рядом с мамой?

Максим тоже видел, как Даша погрозила пальцем, и понял: это потрясло еще совсем по-детски наивную Веру.

— Обещаю все тебе объяснить. Поверь на слово, эта женщина не имеет никакого отношения к тому, о чем ты подумала, — шептал Максим, стараясь говорить как можно убедительнее.

Вера умолкла, сидела с застывшим лицом. Прожектором осветили провинциальный ярко-красный плюшевый занавес. Со сцены прозвучали слова:

— Отчего вы всегда ходите в черном?

И вдруг такой же юный голос рядом:

— Мне не хочется слушать объяснения. Я хочу встать и уйти.

— Пожалуйста, не делай этого, Вера. Я прошу... Пожалей маму.

И опять со сцены:

— Это траур по моей жизни. Я несчастна.

— Хорошо. Я не уйду. Смешно. Чем я-то лучше? Какая разница, кто обманщик, кто обманутый...

— Вера. Не говори глупостей. Ты добрый, хороший человек. Ей-богу, и я неплохой. И женщина эта. Она несчастна. У нее двое детей. А муж погиб. Летчик.

На них зашикали соседи.

Они умолкли, стали вслушиваться в то, что говорят актеры. Но, когда через некоторое время Максим тайком взглянул на Веру, он увидел, что мысли ее далеки от того, что происходит на сцене.

В антракте он предложил Вере пройтись по фойе. Она отказалась. Хотел было пригласить Полю и предупредить ее, в каком настроении дочка. Но Поля разговаривала с Галиной Владимировной. Это обрадовало его, и он не стал им мешать. Вышел один.

В фойе гуляли Сосновский, Игнатович, секретарь обкома Петрова, смотрели выставку местных художников.

Максим остановился поодаль от этой группы.

Сосновский увидел его, позвал:

— Карнач, давай сюда.

Поздоровался за руку, прищурился, оглядел так, будто

не видел много лет, со смешинкой в глазах спросил:

— Воюем, зодчий?

— Воюем, Леонид Минович.

— Валяй. Шуми. Не давай нам, бюрократам, закиснуть.

— А я сам уже давно бюрократ.

— Э-э, брат, да ты худо о нас думаешь. Я понимаю это слово в его первородном значении: бюрократы — члены коллегиального органа, имеющего власть. А ты как понимаешь?

Вокруг засмеялись. Хорошо знали остроумие Сосновского, его склонность к парадоксам.

Сосновский позаботился о том, чтоб на гастрольные спектакли пригласили лучших людей колхозов и совхозов. Он никогда и нигде не забывал о хлеборобах. Треть мест была отдана зрителям из села.

Три колхозницы в одинаковых шерстяных костюмах появились в фойе. Сосновский окликнул их. Поздоровался. Представил — всех знал. Спросил у одной, со звездочкой Героя:

— Как, Галя, отдыхалось в Сочи?

— А, Минович, не поеду я больше никуда. Лучше, как дома, нигде нет. Попринимала эту мацесту — сердцу плохо стало. Никогда не болело оно у меня. Провалялась неделю... Во страху набралась! Но больше всего одного боялась: помру, думаю, дети сберкнижку не найдут, так далеко запрятала.

Тут даже Игнатович не сдержал смеха и подумал: «Ай да молодчина!»

Но все испортила другая женщина, Петрова. Спросила:

— А сколько у вас на книжке?

Галя опустила глаза.

— Есть немного.

У Сосновского передернулась щека. Он хмуро пошутил:

— Сперва, Марья Архиповна, свою книжечку положи на стол, тогда и в наши заглядывай.

Петрова вспыхнула полымем, поняв свою бестактность.

Подошла Даша в новом платье из модной ткани — на черном фоне серебряные молнии. Казалось, платье шумело, как листья березы, на все фойе и рассыпало молнии вокруг. Даша сделала элегантный реверанс Сосновскому и взяла Максима под руку.

— Леонид Минович, разрешите на минутку забрать свою дорогую половину.

— Пожалуйста.

Максим послушно пошел за женой: интересно, что она скажет?

Сосновский посмотрел на Игнатовича: как это понимать? Тот пожал плечами: черт их разберет!

Максим видел, что Даша решила продемонстрировать перед всеми мир и согласие в семье. Ему было тошно от этого притворства. Но он молчал, даже не спрашивал, что ей нужно. Она крепко держала его руку и прижималась плечом, явно показывая, какая ласковая, хорошая она жена.

— Слишком молодую партнершу ты выбрал для театра. Не поверят, подумают, дочь. Девушку можешь скомпрометировать. У нее есть жених. А тут много студентов из их института.

Максим молчал.

— Я была в Минске.

Это его заинтересовало, и он взглянул на нее, чтоб уже загодя по выражению лица понять, какое впечатление

произвели на нее Ветин жених и будущие сваты. Увидел, не очень они понравились ей, как он и ожидал.

— Ну?

— Парень, может быть, и ничего, хотя, по-моему, тюфяк. Но эти Прабабкины твои… Действительно прабабкины. Вот где форма соответствует содержанию. Они словно вчера вернулись с фронта. Тридцать лет послевоенной жизни прошло мимо них. Это уникальный случай. Прогресс не затронул их, особенно ее. Экземпляр — хоть в музей.

— Какой прогресс? — хмуро спросил Максим.

— Как какой прогресс? По-твоему, ничего не изменилось со времени войны?

— А мне понравились Прабабкины. Они из тех людей, что всегда на фронте, на передовой.

Даша произнесла с сарказмом:

— Что ж… пускай будут Прабабкины. Мне с ними не жить… В наше время не родители выбирают женихов. Чтоб подготовить Вилю к свадьбе, нужны деньги…

«Ах, вот оно что…»

— Сколько?

— Рублей… ну, хотя бы четыреста.

— Зачем столько?

— Милый мой, у тебя одна дочь. Ты никогда не интересовался нашими женскими нуждами. Мы дорогие.

— Это правда. Вы очень дорогие. Хорошо. Я займу.

Она засмеялась, довольная, и опять потерлась плечом о его плечо, попробовала перекинуть новый мостик.

— Тебе не кажется странным, что для того, чтоб

поговорить о самом дорогом — о дочери, мы должны случайно встретиться в театре?

— Я приходил домой, чтоб поговорить о дочке.

— Ты не о дочке говорил. — От голоса ее снова повеяло холодом.

Навстречу шла, как видно, из буфета Нина Ивановна Макоед с преподавательницами своей кафедры. Бросила сотрудниц, подлетела к ним, поцеловалась с Дашей, громко засмеялась, привлекая к себе внимание.

— Даша, Максима разрешишь поцеловать?

Чмокнула в щеку, со значением сжала локоть. Так же громко упрекнула:

— Маэстро! Дешевый одеколон употребляешь. Неужели у главного архитектора не хватает на лучший? Даша! Выкинь этот его вонючий одеколон.

Ведь хорошо знала, какие у них отношения и где он живет, и била Дашу под вздох, безжалостно, злорадно, с сознанием своего превосходства и своей победы.

Вернувшись в зал после третьего звонка, когда все уже сидели на своих местах, Максим увидел, что Веры нет. Разволновался. Не мог себе простить: зачем оставил девушку одну в антракте? Надо было остаться, поговорить по душам и все объяснить. Но на его приглашение погулять по фойе она сказала, что пойдет к матери.

Поля сидела на своем месте и разговаривала с Галиной Владимировной так, как будто женщины были давно и хорошо знакомы. Действительно, за пятнадцать минут антракта они почти подружились. Достаточно было грустного признания Галины Владимировны: «Я три года не была в театре. После того как погиб муж», — и Шугачева потянулась душой к соседке и простила ей все, что сама о ней думала. А рассказ о детях, о том, как приняла Таня сборы матери в театр, растрогал Полю до слез.

Поля понадеялась на Максима, что он будет опекать Веру. Оглянулась, когда погас свет, и ее бросило в дрожь. Свойственная ей деликатность не позволила побеспокоить соседей — встать и пойти догонять дочку.

Галина Владимировна сразу почувствовала, что соседка чем-то расстроена, что она смотрит на сцену и ничего не видит, ничего не слышит. Ей самой знакомо это состояние душевной тревоги и смятения. Но что могло так внезапно взволновать Полину Николаевну?

А Поле уже представлялись всякие ужасы. Всю жизнь она дрожала за детей. Провожала в школу и боялась, как бы кто-нибудь из них, шаля, не попал под машину. Страх за Веру уже давно прошел, класса с седьмого или восьмого. И вот появился вновь. Ударил в сердце так, что облилась холодным потом.

То, что услышала от Максима несколько дней назад, когда он сидел с ней на кухне, попивая настойку, почти не было неожиданностью. Ведь она была заботливой и внимательной матерью. И слишком красноречиво было Верино настроение, ставшее переменчивым, как осенняя погода: неожиданные, совершенно не свойственные ей переходы от бурного нервического веселья к черной тоске.

Странно, что догадка, которая постепенно становилась уверенностью, почти не испугала. Странно потому, что всю жизнь она признавала нормой материнство только в замужестве и семья для нее — святыня. А тут как-то очень быстро свыклась с мыслью: если красавец этот Вадим и не женится, бог с ним, пусть это останется на его совести. Иметь ребенка — для женщины всегда счастье.

Пугало одно — молчание дочери. Нет ли у нее дурного на уме? На это она, мать, никогда не согласится. Раза два сидела в очереди к участковому гинекологу, чтоб предупредить врача на случай, если Вера обратится к ней за направлением... Но каждый раз удерживало сомнение: а что, если она ошибается? Возведет поклеп на дочь.

Больно ранил ее Максим. Ему-то она была благодарна. Но то, что дочь доверила свою тайну чужому мужчине, а не ей, матери... О, как ей стало обидно и больно в тот момент! Даже Максим, немножко уже подвыпивший, растревоженный своими нелегкими проблемами, увидел, как она изменилась в лице. Стал успокаивать.

По обыкновенной житейской логике, она должна была бы в тот же вечер поговорить с дочкой. Но не может начать этот разговор вот уже десять дней. И отцу не сказала, боялась, что Виктор сразу разбушуется. А самое опасное и неразумное — делать из этого трагедию. Хорошо понимала, что откладывать разговор нельзя, чем раньше, тем лучше, однако, может быть, впервые в жизни ее сковывала странная нерешительность, страх, неуверенность, что она сумеет заставить и дочь и мужа посмотреть на это так, как смотрит сама.

Одно все-таки она сделала — наведалась к участковому гинекологу, предупредила, чтоб та не давала направления. Но это были мучительные дни — появился страх за дочку, которого она давно уже не знала. Страх этот поднял ее посреди действия.

— Вам дурно? Вас проводить? — испуганно и громко спросила Галина Владимировна.

— Нет, нет... Не надо.

Слова Галины Владимировны подействовали на соседей. Полю вежливо пропустили, никто не зашикал. У дверей догнали слова Нины:

— Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас...

Максим вышел следом за ней. Не уговаривал остаться.

Поля призналась:

— Ах, Максим! Я до сих пор не решилась поговорить с ней. Сегодня же поговорю, — и грустно улыбнулась. — Наделает шума Виктор.

— Я подвезу тебя.

— Нет. Нет. Я поеду автобусом. — Она как будто испугалась, возможно, подумала, что он собирается поехать и остаться у них, чтоб успокоить Виктора. А ей не хотелось никаких, даже самых близких свидетелей. Максим это понимал. — Придумайте что-нибудь для Галины Владимировны насчет Веры и меня. Почему мы ушли.

— Придумаю.

Он проводил ее до дверей. Поля заботливо предупредила:

— Не выходите. Простудитесь, — и вздохнула: — Ах, Максим, как это трудно — быть матерью взрослых детей.

XIII

Виктор Шугачев переживал нелегкие дни. Ему, человеку нерешительному, привыкшему к дисциплине и безотказному подчинению, предстояло совершить шаг, принять решение, которое, безусловно, многих удивит, а его, в лучшем случае, лишит звания главного инженера проекта.

Максиму он сказал с необыкновенной легкостью, что, если не будет разрешения на эксперимент, на район, который сложился у него в голове после двух лет поисков и раздумий, он откажется возглавлять группу по проектированию Заречного.

Там, на даче, под заснеженными березами, его обрадовало, что Максим принял и одобрил его намерение так же легко. А потом, дома уже, Виктор подумал, что именно легкость Максимова одобрения, его немногословие — не слишком охотно он обсуждал эту проблему — говорят о том, что друг и автор АПЗ[2] принял его слова с недоверием, скептически, как юношеский порыв, который люди опытные, взрослые считают бессмысленным, но поддерживают, хвалят в

педагогических целях.

Возможность такого отношения к его намерению обижала и злила, но придавала еще больше решимости. С кем воевать в такой ситуации, когда нет конкретного противника? Кто возражает против того, чтобы Заречный район был самым лучшим, уникальным по архитектурно-планировочному решению? Сосновский? Игнатович? Карнач? Исполком? Госстрой? Все — за. Но никто не может увеличить ассигнований. Однако же увеличивают в других городах — в Москве, в Вильнюсе, в Таллине. Значит, есть люди, которые берут на себя такую ответственность. Где найти такого человека? Шугачев, который никогда не занимал административных должностей и плохо знал структуру органов, составляющих и утверждающих планы и дающих деньги и материалы, надеялся на одного конкретного и близкого человека — на Карнача. Но в последнее время у Максима как будто пропала его прежняя уверенность и ослабела пробивная сила. Неужели из-за этой глупой бабы? Шугачев теперь прямо-таки ненавидел Дашу: мало того, что испортила жизнь другу, так еще вредит делу.

Сомнения разъедали, как рак. Ну хорошо, откажется он от проектирования района по существующим нормам... Что от этого изменится? Руководителем проекта сделают Макоеда или Леонову, и в результате появится еще один типовой район без малейшего признака индивидуальности. А его, седого человека, заслуженного архитектора, посадят вместе с Зотовой на проектирование защитного парапета над обрывом в парке. Да еще чуть не в два раза снизят оклад. И никуда не денешься. Не поедешь искать счастья в другом месте. С его семьей не очень-то сорвешься с насиженного гнезда. Попробуй заикнись Поле о такой перспективе — сумасшедшим назовет.

Обо всем и всегда он советовался с женой, без ее указания бутылки молока не покупал. А вот об этом, таком существенном для него, о намерении своем и сомнениях никак не решался заговорить, потому что не

знал, как Поля отнесется. Более решительная, она неожиданно может поддержать его дерзкий замысел. Но может и высмеять, категорически возразить против такого юношеского запала. Не удивительно: мать прежде всего подумает о детях — как их кормить, одевать, учить.

Теперь есть хоть эти мучения, которые возбуждают творческую мысль, заставляют работать с утроенной энергией, чтоб было что показать архитектурному совету, любому представителю любого органа, любой комиссии, когда возникнет в этом надобность. А если Поля наложит вето, что у него останется? Пустота в голове, в сердце. И пустая биография, Типовая.

Однако хорошо знал, что, не посоветовавшись с женой, не пристанет ни к одному берегу.

Неделю назад, когда Максим предложил билеты на открытие гастролей МХАТа, Виктор наметил: с женой поговорит, возвращаясь из театра, когда можно не спешить и пройтись пешком.

Но Поля решила по-своему — в театр пойдет Вера. Он побунтовал немножко: дети грабят его и материально, и духовно. Но Поля была добрая, только улыбалась его возмущению, давая наказы детям и никаких поручений ему. Сиди, Витя, смотри телевизор, отдыхай.

Проект Заречья — тот, который, возможно, не будет никогда осуществлен, Виктор делал дома. Поля не любила, когда он работал вечерами — не те годы. Но тут он прикинул, что будет свободна Верина комната, ее стол и доска, можно закрыться от младших и хорошо, в охотку поработать, сделать эскиз нового варианта торгового комплекса.

Разрешив ребячьи проблемы, Виктор потребовал от детей тишины и закрылся в комнате. Но только успел очинить карандаш, как неожиданно вернулась из театра Вера. Виктор удивился:

— Что случилось?

— У меня болит голова.

Вид у нее действительно был кислый, на головную боль она в последнее время часто жаловалась.

— Сходила бы в поликлинику.

Вера посмотрела на отца с кривой улыбкой, послушно пообещала:

— Схожу.

Он не обратил внимания на ее усмешку. Взял доску с приколотым к ней ватманом, карандаши и пошел на кухню, где частенько работал. Но минут через двадцать пришла Поля, явно взволнованная. Спросила у Тани, которая выскочила ей навстречу:

— Вера дома?

Неожиданное возвращение жены вслед за дочкой уже встревожило. Он выглянул в коридор, где Поля снимала пальто.

— Что вас сорвало из театра, Поля? — спокойно и мягко спросил Виктор, желая вызвать жену на откровенность.

— У меня болит голова.

Это его разозлило.

— Угорели вы, что ли, если у вас у обеих заболела голова?

— Может быть, и угорели, — грустно вздохнув, сказала Поля.

Виктор подошел, взял жену за локоть, заглянул в глаза.

— Поля, ты что-то хочешь от меня скрыть. Не стыдно тебе?

— Ах, Витя. Не спеши, пожалуйста. Я все скажу.

— Я сама скажу! — послышался сзади громкий Верин

голос, она стояла в дверях общей комнаты, одетая уже в свой старый ситцевый халатик, в котором выглядела совсем девчонкой, более щуплая, чем ее младшая сестра. — Я сама скажу. Только, пожалуйста, закрой, мама, ребят в спальне.

Катя, которая больше, чем все, обрадовалась раннему возвращению матери, решительно запротестовала:

— Не хочу в спальню! Не хочу! — и бросилась к Вере.

Вера, не обращая внимания на сестренку, пошла к себе, уверенная, что Катьку мать утихомирит и, конечно, запрет в спальне, потому что иначе та не даст поговорить, будет стоять под дверью.

Вера храбрилась. Решила быть смелой, независимой, если надо, даже грубой и циничной в разговоре с родителями. Но не так она была воспитана и не такой у нее характер. На деле она сгорала от стыда, немела от страха, даже глаза застилало зеленое пламя. И обида на Вадима, злость на него вспыхнули с такой силой, что хотелось упасть на пол, кататься и выть как раненый зверь.

Отец вошел первый, растерянный и встревоженный, сел у стола и нетерпеливо поглядывал на дверь, как бы боясь, что Вера начнет говорить о чем-то тайном и страшном без матери. А Поля все еще уговаривала Катю, не хотела применять насильственных мер, а то наделает малая шуму.

Виктор боялся смотреть на дочь и уставился в журнал «Архитектура СССР», красным карандашом отмечая детали одного проекта, которые ему не нравились.

Вера тоже не решалась взглянуть на отца. Стояла, прижавшись спиной к стене, опустив голову.

Мать вошла, неторопливо села на диван, сложила на груди руки, спокойная, величавая, как верховный судья. Молчала. Ждала.

Вера с трудом оторвалась от стены, прошла между

отцом и матерью к окну, уперлась руками в стол, смяв угол своего чертежа, и, не замечая этого, сказала с игривой легкостью:

— Дорогие предки. Я должна сообщить вам пренеприятное известие: у меня будет ребенок.

Она сказала это так быстро и как будто несерьезно, что Виктор не сразу сообразил, о чем это она, его Верочка, которую он все еще считал маленькой.

— Какой ребенок? У кого?

— У меня. У меня бу-дет ре-бе-нок, — отчетливо повторила она.

— Откуда?

— Папа! Неужели ты забыл, откуда берутся дети?

Шутка эта, такая неуместная и грубая в устах Верочки, обожгла огнем и в то же время мгновенно осветила все, потрясла, испугала: перед ним не Верочка! Произошло что-то, что отняло у него ту Верочку, которую он восемнадцать лет так любил. И Шугачев обхватил руками голову, застонал:

— Зарезала! Зарезала! Беда одна не ходит...

Но прозвучал суровый голос верховного судьи:

— Чем это она тебя зарезала? И какая еще у тебя беда? Проект не утвердили? Зарезала! Заголосил, как баба. Старый дурень!

Поля никогда так не бранила мужа при детях, и это поразило его. Виктор обессиленно опустил руки и уставился на жену, веря, как верил всю жизнь, что только она может спасти, пробудить от этого кошмара.

Поля улыбнулась мужу и неожиданно сказала:

— Прости, Витя.

Они смотрели друг на друга, точно забыв о Вере, о том,

что услышали от нее, будто ища слова, чтоб еще раз попросить друг у друга прощения, и, не находя их, виновато улыбались, молчали.

Вера не выдержала, крикнула, уже откровенно, без игры, прося пощады:

— Почему вы молчите? Объявляйте ваш приговор! Карайте! Вот я какая!..

Мать повернула к ней голову, улыбнулась ласково, чуть укоризненно.

— Какой тебе приговор? Ты сама объявила его. У тебя будет ребенок. А у нас с отцом будет внук, У нас будет радость, — и убежденно, горячо, протягивая руки и словно подавая ей эту радость: — Верочка! В дом войдет радость!

Вера оторвалась от стола, шагнула к матери и вдруг упала перед ней на колени, как маленькая, уткнулась в ее подол, залилась слезами. Только чуть слышно прошептала:

— Мамочка, миленькая...

Виктор высмеивал такие сцены в кино, но, когда смотрел их, всегда утирал глаза — был сентиментален. И сейчас слезы сыпались, крупные, как горох...

Лиза Игнатович сидела в третьем ряду, смотрела на сцену, но слов актеров не слышала, не понимала их смысла — другим была занята голова. Лиза кипела от гнева. Она видела, как Карнач пришел в театр с секретаршей ее мужа, как замаскировал свой поступок — посадил любовницу с Шугачевой. Какая наглость! Какой вызов обществу!

Лиза была всего на два года старше Даши, но всегда, с детства, отличалась рассудительностью, практичностью, хозяйственностью и после смерти матери забрала Дашу к себе в город, помогла поступить в институт, позаботилась о ее замужестве. Когда по ее совету Игнатович познакомил Дашу с бывшим

товарищем по институту, Лиза, тогда комсомольский работник, собрала о Карначе все сведения и характеристики. Отзывы из проектного института были самые лучшие: талантливый молодой архитектор, общественно активный, человек с веселым характером, душа коллектива; правда, в этом Лиза видела и отрицательную сторону, опасную — слишком много девушек кружилось вокруг него, и невозможно было поверить, что до двадцати семи лет он не знал женщин.

Лиза считала, что своего Игнатовича на его двадцать втором году жизни она получила чистеньким и наивным, прямо из пеленок. Герасим в то время в разговоре с девушкой не мог связать двух слов, заикался, бледнел и потел.

Лиза была убеждена, что только благодаря ей Игнатович стал тем, что он есть, — руководителем такого масштаба, выдающимся оратором, организатором.

Когда Герасим сказал ей про разлад у Карначей, она, считавшая себя весьма проницательной, вместе с удивлением, разочарованием в своей способности все предвидеть, вместе со злостью на Дашу и почти материнской тревогой за ее судьбу почувствовала гордость за мужа: к нему первому пришел Карнач по такому случаю; сестра к ней не пришла, а он пошел к секретарю горкома. Но тогда же подумала: вот они, его грехи молодости, которых она боялась еще до замужества Даши; человек, вкусивший запретного плода, когда-нибудь соблазнится снова.

За много лет работы в комсомольских и профсоюзных органах у Лизы выработался определенный склад мышления, характерный для женщин такого типа. Она не допускала, что личные чувства могут в каком бы то ни было случае взять верх над общественными интересами. (Между прочим, у нее самой личные чувства иной раз все же брали верх, но она была не в счет, себе она разрешала отступать от этого принципа.) И еще она верила, что хороший пастух каждую отбившуюся овечку вернет в стадо. А если не себя, то

своего Игнатовича Лиза считала пастухом, который легко может вправить мозги и вернуть в стадо даже такого анархиста, как Карнач.

Лиза знала, что у ее сестры характер нелегкий. Да, Даше не хватает того, что есть у нее, — здравого смысла. Однако никогда она не поверит, что в происшедшем у Карначей после двадцати одного года совместной жизни разладе виновата Даша. Нет, нет! Только он, этот цыган, юбочник, которому готовы кинуться на шею все женщины, потому что он всех умеет заворожить. Когда-то в молодости даже ее, самую верную из всех верных жен, заворожил так, что кружилась голова и по ночам являлись грешные мысли.

Когда Даша сказала сестре, что она готова согласиться на развод, Лиза чуть в обморок не упала от отчаяния. Задело не столько то, что рушится счастье сестры, сколько то, что из-за Дашиного безволия так легко могут пошатнуться ее, Лизины, убеждения и уверенность в своей силе, в том, что Карнача можно заставить считаться с общепринятыми нормами и моралью.

«Забудь думать про развод! — решительно заявила она сестре. — Борись за свое счастье. Мы с Герасимом поможем!»

«Да не хочу я, чтоб он жил со мной по приказу партбюро», — закапризничала Даша.

«Ты плохо знаешь мужчин. Не понимаешь, что им в таком возрасте дороже всего? Служба. Не станет он портить карьеру. Получит предупреждение — вернется в семью. Но и ты не должна быть такой дурой. Брось свои капризы. Не девочка. Дочь замуж выдаешь. О себе подумай. Что у тебя будет за жизнь после развода? Не надейся, что в твои годы легко снова выйти замуж. Разве что за пенсионера или пьянчугу».

Появление Максима в театре с женщиной, почти демонстративное, во всяком случае, весьма примитивно, для таких ворон, как Даша,

замаскированное, прямо-таки ошеломило Лизу и чрезвычайно, по ее представлению, усложнило обстановку. Особенно потрясло то, что женщина эта — секретарша ее мужа. Лиза вспомнила, как Герасим хвалил ее — клад, а не работница: аккуратная, вежливая, скромная, — и кровь ударила ей в голову. Не раз она в шутку прибавляла: — «И красивая». — «И красивая», — серьезно соглашался Герасим. «Скромная!» — хотелось ей тут, в театре, злобно расхохотаться в лицо товарищу Игнатовичу.

Лиза не была ревнива, но бдительности никогда не теряла, считала, что лучше предупредить болезнь, чем лечить потом.

Игнатович почувствовал, что у жены дурное настроение, как только вошел в зал и сел рядом. Почувствовал по тому, как она отодвинула руку, когда локти их на подлокотнике привычно соприкоснулись, как она игнорировала его замечания, шутки, когда разговаривала с Дашей, со знакомыми, сидевшими вокруг. Это его испугало и сбило с толку. Последнее время он оберегал свой душевный покой. Собственно говоря, она же, Лиза, первая начала ограждать его от всяких волнений, читала целые лекции о том, что умный руководитель должен сдерживать свои эмоции, беречь нервы, избегать стрессовых ситуаций, которые являются главной причиной сердечных заболеваний. Сперва он шутил: «Это в профсоюзе можно так работать, в партийных органах немыслимо». Но ее настойчивость возымела действие: постепенно он научился владеть собой и сохранять спокойствие, равновесие в такие моменты, в таких острых ситуациях, когда любой другой, даже внешне флегматичный юморист Сосновский, взрывался так, что щепки летели.

Игнатовичу казалось, что он приобрел качества, которые выделяли его среди других руководителей и за которые его еще больше стали уважать.

Одним словом, Лиза уже давно не вела себя так. Поэтому Герасиму Петровичу было не до переживаний Нины Заречной. Ломал голову: что могло случиться?

В антракте Лиза отказалась пройтись по фойе, хотя, подобно сестре, любила покрасоваться, чувствуя свое превосходство над женами других общественных работников — не домашняя хозяйка, деятель областного масштаба, поэтому у нее было о чем поговорить и с секретарем обкома, и с директорами заводов.

После второго антракта Игнатович понял: Лизу взволновало что-то такое, что происходит здесь, в театре. Но что? Голова разболелась от догадок.

Герасим Петрович едва дождался конца спектакля и постарался одеться поскорей, чтоб выйти раньше товарищей, с которыми жил в одном доме.

Крепко морозило. Под ногами звенел снег. Лиза спрятала лицо в воротник и, может быть, поэтому дышала тяжело, как астматик.

— Лиза! Какая муха тебя укусила?

— Та самая.

— Ничего не понимаю.

Лиза остановилась, откинула воротник. От света витрины лицо ее было зеленым и казалось очень злым и некрасивым, такой некрасивой он не видел Лизу никогда.

— Не понимаешь? Ах, какой ангел святой! Секретарша твоя хваленая-перехваленая. Несчастная вдова, кроме работы и детей, ничего не знает.

— Лиза, как не стыдно! В нашем возрасте...

— Седина в бороду, бес в ребро. И ты не лучше других. Здорово подбираешь кадры, товарищ Игнатович! Не забывай, на этом очень многие погорели.

— Ты очумела, я тебя не узнаю. Что ты мелешь? — раздраженно сказал Герасим Петрович, оглядываясь. — Горячка у тебя, что ли?

Прошел сотню шагов молча, боясь трогать Лизу, а то еще, пожалуй, опять остановится и начнет выдавать при Сосновском, который шагал где-то сзади. В порыве ревности женщина на все способна.

Но Лиза еще не потеряла головы. Желая продолжить разговор теперь же, она свернула в безлюдный переулок. Однако молчала, явно ждала, что он скажет, оправдываясь. Он спросил примирительно, мягко:

— О чем, собственно, речь?

— Что? Царапнуло по сердцу? Они вместе приехали в театр. Она и Максим. Шли и озирались, как преступники. Какая наглость! При живой жене! Тоже твой кадр! И дружок! Воспитывали друг друга. Хватило, правда, совести не сесть рядом напоказ людям, жене! Посадил ее с Шугачевой. Но даже Шугачева возмутилась и покинула зал... Несчастная Даша, слепой котенок. До чего дожили! Позор! Имей в виду, пятно ляжет и на тебя. Распустил этого доморощенного гения, теперь пожинай, что посеял.

Хотел сказать, что сама она больше, чем кто-либо, увлекалась в свое время Карначовыми архитектурными идеями. Но не сказал. Странное чувство овладело Герасимом Петровичем.

Снова, как тогда, в кабинете, когда он, вернувшись из обкома, застал в приемной Максима, наступила душевная депрессия, ничего не хотелось — ни оправдываться, ни ссориться с женой, ни выяснять детали. Тогда это длилось недолго. Трезво рассудив, он объяснил поведение Максима как обыкновенную, присущую ему галантность. В самом деле, если бы между ним и Галиной Владимировной что-нибудь было, Карнач, верно, не объявил бы так просто о своем приглашении.

Теперь он подумал, что Карнач хитер, как сто чертей, и поверил жене. От этого стало горько.

Вслед за душевным спадом накатил холодный вал

злости на Максима, нехорошей злости, такой не было ни тогда, когда Карнач поставил его в неловкое положение своим самоотводом, ни после двух очень нелегких разговоров в его кабинете. Тогда были вспышки раздражительности, недовольства недавним другом и свояком. Теперь же холодная волна злости как бы застыла, крепко и надолго.

«Черт возьми, мало того, что он свою семью разбивает... Лиза права, тень падает и на меня... Так он еще может внести разлад и в мою семью своим донжуанством, пренебрежением моральными нормами... С этим надо кончать! Надо дать по рукам!»

Лиза поверила мужу, когда он разразился гневной тирадой против Максима, и несколько смягчилась, потому что поняла: человек, которого она в этот вечер возненавидела, получит по заслугам.

Но этого ей было мало. Лиза потребовала, чтоб он уволил Галину Владимировну.

Игнатович возмутился:

— Черт возьми! В какое положение ты меня ставишь? За что я уволю вдову с двумя детьми на руках? Думай, что ты говоришь!

— Такая не помрет, — попробовала огрызнуться Лиза.

— Постыдись! Не помрет... В наше время никто не помрет. Но что она подумает о нашей справедливости!

Лиза поняла, что хватила через край.

Озябшие до дрожи, они пили в теплой уютной кухне горячий чай и тихо, почти шепотом — Марина спала— уже мирно беседовали. Сперва о спектакле, потом опять о Максиме.

Игнатович между прочим сказал:

— Современный мещанин. Мне не понравилось, когда он купил машину. А потом это его увлечение дачей, ее

строительством. Как куркуль какой-то, частник, день и ночь строгал и пилил. На собрания не являлся. И так сползал все ниже и ниже... Я предупреждал его... Но для него не существует авторитетов.

Не сразу увидели, что в дверях стоит Марина в цветастой пижаме, слушает. Когда родители заметили ее, спросила:

— Это вы про дядю Максима?

— Ты почему не спишь? — строго сказал Герасим Петрович.

Марина вошла в кухню, села за стол напротив отца.

— Папа! Объясни мне, что такое современный мещанин.

— Человек, который свои личные интересы ставит выше общественных.

— Я не знаю интересов нашего класса, но знаю, что свои интересы я ставлю выше классных.

— Значит, и ты мещанка, — раздраженно ответил Герасим Петрович.

— А ты кто? — в упор глядя на отца, спросила Марина.

— Марина! — возмутилась мать. — Спать немедленно! Уроки сделала?

Герасим Петрович встал из-за стола, подошел к раковине, сам сполоснул чашку, из которой пил чай. Всегда делал это при дочери — для примера, потому что только по принуждению она мыла посуду. Сказал вроде в шутку, спокойно, однако с явной ноткой обиды:

— Поросенок ты, Марина, вот что я тебе скажу.

Марина тоже поднялась, потянулась, достала рукой абажур (мать не доставала, а она в неполные пятнадцать лет вон как вымахала; словно черт за уши

тянет, смеялась Лиза), ударила по нему; она часто раскачивала кухонный абажур, люстру в столовой, зная, что это раздражает родителей.

— Вот что, дорогие предки. Если дядя Максим мещанин, то я не знаю, кто же не мещанин. А я хочу знать. Мне надо знать. Я вступаю в жизнь, как вы говорите. И вы обязаны все мне объяснить.

XIV

Есть люди, которые умеют прожить тихо, ни с кем не конфликтуя. Максим всю жизнь конфликтовал. В институте. На работе. Даже в армии. С коллегами. Друзьями. Начальством. Теперь и с женой. А в должности главного архитектора — сразу со многими организациями и людьми: с заказчиками и строителями, Госстроем и Белгоспроектом, с руководством и отделами исполкома, с коммунальниками, художниками, транспортниками.

Те, кто любил город и свое дело, понимали его, поддерживали, оставались друзьями, дураки и приспособленцы обижались на его непримиримость и становились врагами.

«Председатель соглашается, ты не соглашаешься. Тебе больше всех нужно?»

«Больше».

«Тебе земли жалко? Государственная. Не твоя».

«Потому и жалко, что государственная».

«Дорогой мой. Так в Москве и Минске строят. А мы город N, как писали классики».

«И в городе N мы не будем строить по старым шаблонам».

«Проект одобрен Госстроем».

«В Госстрое сидят не самые лучшие архитекторы».

«Ой, открутят тебе, Карнач, голову».

«Но прежде чем открутят мне, я хочу открутить некоторым бракоделам».

Знал, кое-кто его смелость объясняет родством и дружбой с Игнатовичем. Мол, имея такую руку, можно высказывать любые мнения и критиковать любого работника.

Но сложная жизнь столкнула и с Игнатовичем.

Было больно, что человек, в объективность которого всегда верил, теперь, в такой нелегкий для него час, не хочет или не может понять его поступков и переживаний. Даже самоотвода не понял, не понял, что, не о себе думая, а о нем, Игнатовиче, не желая поставить его в неловкое положение из-за своего семейного разлада, он поднялся на трибуну конференции с заявлением, которое одних озадачило, других возмутило. Игнатовича возмутило. И выходит, что одно это определило весь строй и направление его мыслей. На чем же держалась их дружба? Неужели Игнатовичу не приходит в голову, как нелегко ему, Карначу, было пройти эти десять — пятнадцать шагов, которые отделяли ряд, где он сидел, от высокой трибуны?!

Максим не знал, как к его самоотводу отнесся Сосновский. Никто ему не передал, что сказал на этот счет секретарь обкома. И вот жизнь вздумала столкнуть его и с этим человеком, которого он уважал и любил, который был для него высоким авторитетом.

Столкнуться предстояло из-за прямо-таки нелепого случая. Банального и мелкого.

— Мелкого? Для кого мелкого? Для Гали Даниловой? Для ее двойни? — Сидел у себя в кабинете один, но произнес эти слова вслух. — Нет! Не мелкого.

Встал, возбужденный, злой и глубоко озабоченный, в задумчивости прошелся по узкой и длинной комнате —

«гробу», которую ему выделили как бы в насмешку; правда, расставив мебель, развесив проекты на стенах, он сделал уютным это совсем «не архитектурное» помещение.

Черт возьми! У него собственных проблем больше, чем нужно. Что ему до какой-то малознакомой семьи? Есть руководители треста, руководители управления, это их люди, пускай они и ломают головы, как им устроить Галю Данилову и ее близнецов.

Попытался заняться служебными делами, чтоб переключить внимание. Нет, близнята эти, младенцы за занавеской из простынь и одеял в комнате общежития, где жили еще пять девушек, не выходили из головы. Какое счастливое лицо было у матери, когда он приехал в общежитие во второй раз и сообщил Даниловым, что до Нового года они получат квартиру, даже адрес дал, чтоб посмотрели дом. Радовалась не только мать, но и те девушки-штукатуры, которые жили с Даниловыми. Что они теперь подумают о нем? Что подумают — это мелочь в сравнении с тем, как семья будет жить в старом общежитии с такими малютками.

Заведующий жилищным отделом Семен Ворчик, который вышел десять минут назад, приходил не только для того, чтобы предупредить, что квартира, предназначенная Даниловым, будет отдана другим. Нарочно пришел посмотреть, как он будет реагировать. Конечно, история эта известна не только в жилищном отделе, но и во многих других, все с интересом ждут, как же поведет себя главный архитектор. Как покажет здесь свою смелость и принципиальность?

Максим набрал номер Кислюка. Но, услышав голос председателя, нажал на рычаг. Нет. Не телефонный разговор. Хотя с глазу на глаз он может оказаться еще тяжелее.

Снова походил по комнате. Нервно хмыкнул. Странно получается в жизни. Лучший порыв твоей души — желание сделать людям добро — может обернуться тебе же во вред. Совсем ни к чему ему сейчас еще и этот

конфликт.

Поразмыслив, пришел к выводу, что с Сосновским столкнуться не придется, что Сосновскому, безусловно, не сказали, кому предназначалась квартира. Узнав это, секретарь обкома, вне сомнения, все поломает. И выдаст Кислюку за подхалимство. Значит, поссориться придется со своим непосредственным начальником, что тоже совсем нежелательно.

Максим мысленно выругал руководителя стройтреста Алейника, веселого хитрюгу, который очень ловко умеет свои заботы сваливать на других. Со строителями главному архитектору приходится цапаться очень часто. С Алейником Максим иной раз разговаривал в таком тоне, что со стороны казалось: после этого они не подадут друг другу руки. Но Алейник был незлопамятен и по-прежнему прекрасно относился к своему безжалостному критику. Максим даже не мог понять, отчего это — от чрезмерной доброты Алейника, от уверенности в себе как руководителе, от нового стиля работы, который еще не распространился повсеместно, или от сугубой хитрости? Во всяком случае, нередкие стычки на объектах не сделали их врагами, наоборот, почти сдружили.

В тот день Максим вызвал Алейника на строительство музыкальной школы, где бессовестно нарушался проект — технология изоляции стен между классами, — строили, как обыкновенную школу.

Главный архитектор показал брак руководителю треста. Тот налетел на прораба. Прораб, стараясь перед начальством, стал ругать рабочих, которые тоже были виноваты — гнали норму, игнорируя технологию, за которой должны следить инженеры.

Руководство тактично отошло, спустившись на нижний этаж: пускай, мол, прораб разбирается сам. Но их догнал молодой рабочий, возбужденный, красный, протянул мятый листок бумаги.

— Вот! Все! Хватит! Давайте расчет! На черта мне

такая работа! Что я за нее имею?

Алейник взял заявление, сунул в карман.

— Приходи, Данилов, ко мне в конце дня. Поговорим.

— Пять раз говорили.

— Не пять, а три. Поговорим в четвертый раз. Глядишь, и договоримся.

На улице у машины Алейник, как бы обрадованный чем-то, весело спросил у Карнача:

— Слышал? Видал?

— Слышал.

— А знаешь, сколько у меня не хватает рабочих?

— Опять-таки слышал от тебя.

— А ты говоришь! Ты меня сейчас ткнул носом в стенки. Я тебя тоже ткну. В людей. Как депутата горсовета. Поехали!

Алейник привез Максима в рабочее общежитие, довольно мрачный «сундук» еще довоенной постройки, плод конструктивизма. Максим не раз думал, что война, разрушив две трети города, действительно настоящие памятники, словно в насмешку над историей архитектуры пощадила это общежитие и еще кой-какие ему подобные «шедевры». Хотя теперь общежитие само вошло в историю: люди, которым оно дало приют после войны, построили новый город.

По деревянной лестнице, ступени которой были выбиты до ям — только отполированные гвозди торчат (и никто их не забьет), — они поднялись на второй этаж, вошли в широкий коридор с таким же выбитым полом. Одно хорошо в этих довоенных общежитиях — просторные коридоры, которые служат жителям клубом. Постучали в дверь, которая почему-то одна среди двух десятков других, коричневых, замусоленных, была недавно и

хорошо покрашена белой краской и выглядела нарядно, как невеста.

Молодой женский голос недовольно крикнул:

— Кто там?

Алейник открыл дверь, и они вошли в комнату, где разместилось пять девичьих постелей с вышитыми накидочками на подушках. На стенах над кроватями фотографии и открытки: крестьянки в платочках и парни, как правило, в военной форме уютно располагались между модными киноактерами. От других комнат общежития эта отличалась тем, что правый угол ее — от окна до половины стены — был отгорожен простынями и одеялами. Да еще запахом. Благоухание дешевых духов, свойственное девичьим общежитиям, забивал острый запах детских пеленок и детской кухни. Откинув головой одеяло, выглянула молодая женщина в прямо-таки удивительном виде: оголенная полная белая грудь и два запеленатых младенца на руках.

Увидев чужих мужчин, женщина стыдливо ойкнула и спряталась за занавеску. Сразу заплакали дети. Оба. Возмущались. Оторвали их от груди.

Максим с удивлением отметил, что у детей разные голоса: один кричит басовито, с паузами, кажется, крикнет и ждет, возьмут ли его, другой заливается так голосисто, что даже боязно — зайдется от крика.

Женщина вышла из своего укрытия, застегивая блузку. Повернулась к Алейнику:

— Здравствуйте, Виктор Антонович!

Максиму даже не кивнула. Он мало ее интересовал. Знала, что это главный архитектор, не раз видела на стройках. И еще знала, что архитекторы проектируют квартиры, но не дают их. Вот если б председатель горсовета приехал!

— Вот, Галя, — сказал Алейник, показывая на Максима,

— если этот человек тебе не поможет, прокукуем мы с тобой тут до весны.

Галя оглядела архитектора внимательнее, и губы ее скептически скривились.

— Это наш депутат. Помнишь? Мы за него голосовали.

— Была я у депутата.

— Ты высоко взяла. Бери ниже — оно ближе, — Алейник смеялся, неведомо чем довольный. Самим собой, своей хитростью?

Максиму было не до смеха. Он понял намерение руководителя треста. Тот знал, что остаться равнодушным Карнач не сможет, загорится и попробует помочь этой семье, а пробивная сила у него немалая. В самом деле, нельзя ли помочь? Но как?

— Ладно, Галя, иди корми своих строителей. Депутату все ясно. Слов не надо. А тем более слез.

Галины глаза постепенно наливались слезами.

В тот же день Максим говорил с Кислюком. Знал, что разговор будет нелегким. Человек вообще внимательный к людям, Кислюк из сотни дел, которыми приходится заниматься председателю горсовета, больше всего не любил дела квартирные, прямо-таки ненавидел их и боялся. Зная, что восемьдесят процентов из тех, кто записывается на прием, будут просить квартиры, он хитрил, находил неотложные дела, чтоб не вести самому прием, посылал заместителей. Об этом знали в горсовете, подсмеивались над ним. Дошло до горкома. Игнатович на заседании бюро упрекнул Кислюка, что он редко сам принимает трудящихся.

Работников других отделов исполкома, кроме жилищного, Кислюк при всей своей вежливости просто выгонял из кабинета, если они приходили ходатайствовать о квартирах. Злые языки даже сплетничали в коридорах, что Павел Павлович каждого

сотрудника, который приходит к нему по квартирным делам, берет под подозрение: нет ли здесь сделки с просителем? Шутили: хочешь попасть в «черный список», иди попроси для кого-нибудь квартиру.

Максим не боялся, что Кислюк выгонит его из кабинета или не станет слушать. Однако решил зайти издалека.

— Павел Павлович, вы интересовались статистикой рождаемости в городе?

— Ну...

— Падает рождаемость.

Кислюк поднял голову от бумаг, насторожился.

— Почему это тревожит архитектора? Уж не боишься ли, что не для кого будет строить?

— Этого я не боюсь. Но принадлежу к числу тех людей, которые ищут причины такого явления. Достаток растет, а детей... один, два... Трое считается много. Разве это нормально для здорового общества?

— На этот счет мнения расходятся. Может быть, это для развитого общества и естественно. Научно-техническая революция сокращает потребность в людях...

— Производство без людей? Для чего? Для кого?

— Не впадайте в крайности. Будут люди.

— Тема для долгой дискуссии. Я хочу сказать о другом. Рождение ребенка всегда было событием, праздником для семьи. В практике советских органов давно повелось приветствовать рождение ребенка. Рождение тройни уже чрезвычайное событие для города, сельсовета. Думаю, в наше время не только тройня, но и двойня...

Максим не закончил фразы, потому что увидел, как председатель — это уже знакомо — покраснел: догадался, куда ведет архитектор.

— Это вас Алейник настроил? — (Чертов Алейник! Не признался, что уже говорил с Кислюком.) — Хит-ре-ец! Свои квартиры роздал и назанимал на целый годовой фонд. Погорит он на этом! Погорит! Почему они раньше не подумали об этой семье?

— Они же не знали, что там двойня родится.

— Не знали! А я знал? Исполком — бог святой?

— Исполком должен уметь сделать то, чего не может бог. На то мы с вами, Павел Павлович, Советская власть. Семье этой надо найти квартиру. И безотлагательно!

Кислюк даже подскочил.

— Где найти? Где она валяется? Максим Евтихиевич! Вы же работник исполкома! Кто-кто, а вы должны знать, что все расписано до последнего метра. Да и роздано уже. Конец года. Хитрец этот план по жилью не выполняет, а квартиры ему давай. У нас очередь продвигается на тридцать — сорок человек, а в ней полторы тысячи...

— Вам Алейник говорил, как живет эта семья?

— Говорил.

— Не желаете ли посмотреть?

— Нет.

— Напрасно.

— Чего вы от меня хотите?

— Квартиру. Не для себя. Для детей, которых сегодня впервые увидел.

Кислюк выдернул из ящика стола толстую папку.

— Вот вам списки тех, кто получит квартиры до конца года, если ваш Алейник не подведет. Нате. Садитесь. И вычеркните своей рукой. Кого хотите. Того, чей дом вы

сносите. Инвалида. Только сами пойдите и растолкуйте. Сами!

Максим знал, что Кислюка можно взять не спором, не криком, а уверенным спокойствием — метод испытанный.

— Павел Павлович, ей-богу, это несерьезно для председателя исполкома. Я знаю вас, вы знаете меня. И если я пришел к убеждению, что квартиру Даниловым дать надо, я не остановлюсь на разговоре с вами. Мы потратим много энергии, которая нужна нам на другие дела.

Председатель смягчился, однако ничего не обещал. А в конце дня позвонил сам, сообщил:

— Добрые соседи выявили одного жулика, который подсунул справку, что у него туберкулез, открытая форма, а он, кроме как насморком да корью в детстве, никогда ничем не болел. Прокуратура займется тем, как из тубдиспансера выплывают такие справки. Ловкача этого квартиры лишаем. Вашим двойняшкам повезло.

— Двойняшки не мои, Павел Павлович. У них есть отец, — засмеялся Максим.

Кислюк тоже захохотал, чувствовалось, доволен, рад, что нашлась возможность устроить семью Даниловых.

В общежитии девчата, обрадованные не меньше, чем Галя, которая даже расплакалась, вмиг (откуда только взялась!) выставили бутылку портвейна и заставили Максима выпить за детей, за их счастье. Пригласили в крестные отцы. Одна хохотунья сказала, что ей очень нравится такой кум, она тайком от родителей-комсомольцев повезет детей крестить. Не побоится он поехать с ней?

Максим считал, что сделал доброе дело, и скоро забыл о нем, хватало других забот.

И вот история эта снова всплыла и обернулась другой

стороной, довольно неприглядной.

С ходу, не дойдя до стола, на середине кабинета Максим спросил Кислюка:

— Что с квартирой для Даниловых?

Председатель, взглянув, кто вошел, снова углубился в бумаги и на заданный в упор вопрос даже не поднял головы.

— Поставили в список на заселение в следующем году. Решим по результатам первого квартала...

— Даниловым предназначалась квартира в доме, который сдается до Нового года.

— Товарищ Карнач! Никому ничего не предназначается, пока нет решения исполкома. Было такое решение? Голосовали вы за него?

— А ваше слово?

— Кому я давал слово?

— Мне.

— Я сказал о возможном варианте. Не получилось. Сколько у вас бывает вариантов?..

— Павел Павлович. Я все знаю.

— Что вы знаете? — перелистывая бумаги и по-прежнему не поднимая головы, на удивление спокойно для разговора о квартире спросил Кислюк.

— Кому отдается квартира...

Председатель выдал свое раздражение, повысив голос:

— Какая квартира? Номер?

— Павел Павлович. Я не с улицы пришел. Я работаю в горсовете.

— Ну и что? — снова будто бы равнодушно, как бы забавляясь, спросил Кислюк.

— Мы с вами в одной партийной организации.

— Ну и что?

Максим кипел. Огромным напряжением воли сдерживал себя, зная, что если сорвется, то скажет такое, после чего вместе работать станет невозможно, придется тут же подавать заявление об уходе. А это будет обидно, потому что с Кислюком при всех его человеческих слабостях (у кого их нет!) можно работать.

Однако все же голос его угрожающе зазвенел:

— А то, что, может быть, на ваш взгляд, вы приняли мудрое решение. А я считаю это, мягко говоря, непорядочным. И скажу на партийном собрании. И еще кое-где...

Кислюк наконец оторвался от бумаг, поднял голову, откинулся на спинку кресла, как бы ища опоры. Нашел ее и посмотрел на Максима удивленно, но не растерянно, уверенно, смело, без того чувства неловкости, которое явно заметно было, когда он боялся поднять глаза от бумаг.

— Скажите, Карнач, вам надоела ваша должность?

Этот вопрос будто перерезал бикфордов шнур, который уже дымился под динамитом. Максим ответил почти весело:

— Уж не испугать ли вы меня хотите, Павел Павлович? Но вы, видно, забыли, что я не Анох. К тому же у меня профессия, которая сейчас очень нужна стране.

Кислюк вздохнул, должно быть, сообразив, что перед ним в самом деле не Анох. Что этот человек умеет не только возглавлять отдел или управление исполкома. И снова наклонился над бумагами, однако сказал твердо:

— Это вы хотели меня напугать. Но я не боюсь. И дискуссию о распределении квартир вести с вами не желаю! Выступайте где хотите!

«Вот как! — подумал Максим. — Значит, крепко на тебя нажали. Кто?»

Максим жалел, что лишился такого друга и советчика, как Игнатович. Он не считал Игнатовича мудрецом — обыкновенный человек, как все мы, грешные, Знал его слабости. Знал, что он осторожен. Но его осторожность, рассудительность, умение семь раз отмерить, прежде чем отрезать, хорошо уравновешивали его, Максима, взрывчатость и размашистость, стремление рубить любой узел. Игнатович узлы терпеливо развязывал. Наверно, он сумел бы развязать и этот, с квартирой для Даниловых.

Но Максим пойти к Игнатовичу не мог. Вышел от Кислюка с решением немедленно обратиться к самому Сосновскому. Не звонить — попроситься на прием. Но вдруг почувствовал, что диалог с Сосновским не получается. Сосновский — не Кислюк. Находчивый и остроумный, он одним словом может разрушить любую логическую конструкцию и поставить собеседника в смешное положение.

Максим боялся показаться смешным. Не хватало еще, чтоб его благородное негодование кто-то высмеял! Несчастный идеалист! До седых волос дожил и не уразумел, что ж это за штука такая — жизнь. Куда лезешь со своими студенческими протестами?

Но скоро понял, что снова, как до разговора с Кислюком, пытается найти оправдание тому, чтоб не заниматься этим делом. Стало стыдно. Мысленно ругал в раздражении всех, кто имел отношение к этой квартире, кроме Гали с детьми. Даже ее мужа корил: «Женятся, черт бы их взял, а где жить будут, не думают». Но безжалостнее всего ругал самого себя.

«Все! Сдавайся! Хенде хох! Спускайся до середнячка. Не трепыхайся, как рыба. Приспосабливайся,

спокойней будет жить. А правда, на кой мне лезть в каждую щель? Хитрец этот и ловкач Алейник свалил свою заботу на меня и теперь хихикает в кулак. В исполкоме все навострили уши: что сделает Карнач в такой ситуации? Не ждите сенсаций, спектакля! Ничего я не сделаю! Ничего! Я сыт по горло своими заботами. Дай мне бог помочь самому себе».

Надеялся, что пройдет день, другой и острота сгладится. Эпизод этот заслонят другие дела, более масштабные и близкие по профессии и службе, а дел таких всегда хватает, в конце года особенно.

Но и на третий, и на четвертый день он по-прежнему, может быть, даже с большей силой, чувствовал себя обманщиком, вралем, болтуном перед Галей и девушками из общежития, а главное, от чего в особенности гнусно становилось на душе, трусом перед начальством. Никогда, кажется, не был им.

XV

Вера пела. Чертила у себя в комнате и пела.

Шугачев вернулся с работы, отпер дверь своим ключом, из коридора услышал, что дочка поет, удивился. Не снимая пальто, заглянул на кухню, где жена звенела кастрюлями.

— Ты слышишь?

— Что?

— Она поет.

Поля, раскрасневшаяся, в цветастом переднике, как в кольчуге, стала в воинственную позу и окинула мужа таким взглядом, что он сразу почувствовал себя перед ней маленьким.

— А тебе хочется, чтоб она плакала?

— Не хочется. Но...

— Радуйся, что она поет. Девочка вернулась к жизни.

Виктор рассердился.

— Черт вас, баб, поймет. Живу я с тобой чуть не тридцать лет и каждый день разгадываю новую загадку.

Поля сразу смягчилась, сказала со смехом:

— Так это ж хорошо, Витя. Значит, тебе не скучно со мной.

— Что верно, то верно, с тобой не соскучишься. Со всеми вами, — все еще хмуро проворчал хозяин, расстегивая пальто.

— Дай я тебе помогу раздеться. Не болит рука? Я пчелиного яду купила. На ночь натру.

Поля понесла его пальто в коридор на вешалку. Он размотал шарф. Приложил ладони к горячей кастрюле. Тепло, как доброе вино, разлилось внутри, дошло до ног. Он почувствовал, что весь как бы оттаивает. На дворе было морозно и ветрено, а он втиснулся в автобус, который не довез до дома на добрый километр. За десять — пятнадцать минут ветер пробрал до костей.

Вслушался в Верину песню, мотнул головой и тихо засмеялся.

Поля тайком из коридора наблюдала за мужем, по движениям, по смеху его поняла, что настроение его изменилось. Но она не улыбнулась, думала о другом: у мужа старое пальто, оно плохо греет, надо как-то выгадать на новое, это ее забота. Подошла, сняла с его головы сильно поношенную ондатровую шапку.

— Холодно?

— Холодно.

— Выпей рюмку настойки.

— Вот это идея! Только не полынной. На сосновых

почках. От нее весной пахнет.

А Вера пела. Вера действительно вернулась к жизни. Как после тяжелой болезни. Ожила и душевно преобразилась за несколько дней после того вечернего разговора, когда она и мать с середины спектакля ушли из театра.

Вера с детства считала, что ее мать самая добрая, самая умная. Но то, что сказала, как приняла мама ее отчаянное признание, этому нет названия, еще не придумали люди. Мама в один миг беду, несчастье превратила в радость, в ту радость, о которой, наверно, мечтает каждая женщина.

До сих пор Вера со страхом ходила в институт. Казалось, что все в группе и на курсе смотрят на нее с повышенным интересом, любопытством, подозрительностью и готовы ткнуть пальцем: вот она какая! И хотя ничего еще не было видно — прошло всего три месяца, — она надевала свободные платья, которые не облегали бы ее худенькую, гибкую фигурку. Не со страхом — с ужасом, от которого холодело все тело и, казалось, останавливалось сердце, думала она о том дне, когда все обнаружится. Что будет? Дома? Здесь, в институте? Жить с этим ужасом дальше не хватало силы. Что будет, то будет. Сначала пускай узнают мать и отец!

И вот как все повернула мама. Милая, родная! Я целовала твои руки в тот вечер. Я всю жизнь буду молиться на тебя!

На следующий день после того разговора Вера пришла в институт такая, какой была на первом курсе: жизнерадостная, веселая, добрая ко всем, немножко ироничная, хотя больше по отношению к себе, чем к другим.

Вадима, который, после того как она его выгнала, разыгрывал обиженного и не подходил, не разговаривал с ней, очень удивила такая перемена. Сперва он обрадовался. Может быть, как-то все обошлось? Нет, не

похоже. На Веру не похоже. Да и все ее поведение... Между прочем, после оплеухи, хотя он и делал вид, что оскорблен, у него зародилось какое-то новое чувство к ней — какое-то особенное уважение и особенная нежность, не такие, как там, в деревне, когда они жарко целовались в сосняке. Если б как-нибудь удалось помириться, он совсем иначе вел бы себя и любил бы ее иначе — серьезно, глубоко. Ведь она ему нравится давно, пожалуй, с того дня, когда он, второкурсник, увидел ее, новенькую, в институтском коридоре и, чтоб познакомиться, сказал: «Вы что, Дюймовочка из сказки?» А она дерзко ответила: «А вы пират из «Острова сокровищ»?»

Верино поведение, несколько нервно-оживленное в первый день, как бы напоказ, становилось все естественнее, спокойнее. И казалась она теперь как будто старше, опытнее, как жена художника Новицкого, с его, Вадимова, курса; Новицкой тридцать лет, у нее двое детей, муж выпивает, а она всегда веселая и к девчатам своей группы относится по-матерински.

Вера становилась похожа на Новицкую. Это открытие потрясло Вадима. Прежде всего оно окончательно развеяло его надежду, что каким-то чудом все обошлось. Нет, ничего не обошлось. Вера не такой человек, чтоб пойти на аборт.

Сознание, что ребенок, его ребенок, появится на свет уже весной, встревожило Вадима и испугало. Когда Вера впервые сказала ему об этом, он относился ко всему легко; она хочет, чтобы он женился, — пожалуйста. Теперь женитьба представлялась делом совсем не таким простым. Не только потому, что мать его чуть в обморок не упала и глотала валерьянку, когда он сказал ей о своем намерении. Мать с отцовской помощью можно переубедить. А как переубедить Веру, как загладить свою вину перед ней? Он ведь не подлец какой-нибудь. Разве не учил его отец: «Главное — прожить жизнь честным человеком».

То, что Вера вдруг так изменилась, повзрослела, заставило Вадима задуматься над всем этим и как-то

сразу, так же внезапно, как изменилось Верино настроение, почувствовать ответственность перед ней, перед тем человеком, который вскоре появится на свет, и перед всеми людьми.

Вадим искал случая помириться с Верой. Он нарочно ходил по коридору, где в перерыве толпились студенты ее группы.

Вера стояла с подругами и рассказывала что-то веселое. У нее был талант — она умела подражать голосам знакомых. Девчата заливались смехом.

Увидев Вадима, Вера поманила его пальцем, а сказала голосом Ваньковича, преподавателя истории русской и белорусской архитектуры, который именно так вызывал студента для опроса:

— Поди-ка сюда, драгоценный мой, миленький, родненький. К этим священным руинам.

Это рассмешило девушек. Однако Вадим послушно подошел.

— Девчата! — обратилась Вера к подругам серьезно и, как показалось Вадиму, даже грустно, но именно это настроило студенток на смешливый лад. Они ждали новой шутки. — Помните, как этот верный рыцарь ухаживал за мной? О, какие серенады он мне пел! Вы бы только слышали! — Никто не засмеялся, слушателям вроде даже неловко стало. — А что мы имеем на сегодняшний день? — спросила Вера опять голосом другого преподавателя, но и это не вызвало смеха.

Вадим похолодел: неужто она может прямо вот так сказать о ребенке? У него был растерянный жалкий вид. Вера посмотрела ему в глаза и, должно быть, поняла, чего он испугался. Сказала весело, с едкой иронией, которую понял только он:

— А теперь мой верный рыцарь поет серенады под другими окнами.

Верин однокурсник Саша Ткачук, к которому Вадим

когда-то ревновал ее, подбежал откуда-то сбоку, потребовал с пафосом:

— Вера, скажи, кто она, и мы перебьем эти окна.

— Нет, Сашка. Слишком хлопотно носить передачи, когда тебя посадят на пятнадцать суток.

— А мы сделаем так, чтоб посадили Кулагина.

Вадима выручил звонок на лекцию.

Было это позавчера. А сегодня Вадим, посиневший от морозного ветра, ждал ее на автобусной остановке на их улице. Вера увидела из автобуса, как он прыгал с ноги на ногу, спрятавшись от ветра за газетным киоском. Пижон, ходит без шапки, и снегу намело в его каштановую шевелюру так, что, казалось, голова вдруг поседела. На миг ей стало жалко его, но она отогнала эту жалость, сердито подумав: «Глупая! Он тебя не жалеет, а ты... Кто его заставляет ходить без шапки?»

Сделала вид, что не заметила его, и, заслонившись меховым воротничком, хотела прошмыгнуть мимо. Но Вадим догнал ее, пошел рядом. Вера как будто удивилась:

— Ты?

Однако невольно замедлила шаг — до дому было двести метров. То ли от холода, то ли от волнения, но Вадим никак не мог начать разговор.

Вера помогла ему:

— Ты хотел что-то сказать?

— П-по-чему т-ты т-такая? — никогда раньше он не заикался, совсем замерз, бедняга, у нее опять затеплилась почти материнская жалость.

— Какая?

— В-ве-с-селая.

Она остановилась, стала против него, глаза ее гневно блеснули. Передразнила со злостью:

— В-ве-с-селая. А тебе хотелось бы, чтоб я в петлю полезла? Нет, не дождешься! Не те времена! Я радуюсь. Да, радуюсь, что у меня будет ребенок! Сын или дочка!

Вера почти крикнула это. Женщина, проходившая мимо, услышала ее слова и с любопытством оглянулась. Но Веру уже ничто не тревожило после разговора с родителями, после того, что сказала мать.

— Огорчает разве только одно, что его отец ты.

— В-вера! Зачем ты?.. — Посиневшие губы его дрожали так, что казалось, он вот-вот заплачет, как маленький. — Х-хочешь, завтра пойдем в з-загс?

— Нет, не хочу! Не хочу! Не желаю иметь такого мужа!

И побежала дальше. У своего дома оглянулась. Вадим шел следом. Спросила почти спокойно:

— Ты хочешь идти к нам?

Он кивнул.

— И не думай!

— В-вера!

— И не думай!

Нырнула в подъезд. Но через минуту чуть приоткрыла дверь, глянула, что делает Вадим. Ссутулившись, как старик, седой от снега, он медленно шел назад по улице. Ах, как ей хотелось окликнуть его, вернуть, повести в их теплую уютную квартиру, сказать матери, что завтра они пойдут в загс! Сесть вместе пить горячий чай с малиновым вареньем — от простуды. Должно быть, иней растаял на ресницах, и влага эта ела глаза. Она отворила дверь настежь. Чувствовала, что, если Вадим обернется, увидит ее и кинется назад, она не выдержит и побежит навстречу. Но когда он

остановился, как будто в раздумье, она снова спряталась в подъезд.

Когда вспоминала дома, в тепле, за подготовкой задания по типологии общественных зданий, как Вадим пошел один, без шапки по такому холоду, хотелось плакать от жалости к нему. Но тут же всплывала радость. Радость оттого, что выдержала характер.

И Вера пела.

Поля радовалась, когда за столом собиралась вся семья. В последние годы это редко случалось. Даже завтракали врозь, потому что в разное время уходили в школу, в институт, на работу. Обедали вместе разве что в выходные и праздничные дни, но тоже не всегда. Порядок нарушал Игорь. К ужину он тоже редко являлся. И нельзя его было упрекать: двадцать шестой год парню, самостоятельный человек, молодой архитектор, у него свои интересы, друзья, девушка. В тот вечер к радости матери, что Вера повеселела, прибавилась еще эта, пускай небольшая, радость — к ужину собрались все. По этому случаю Поля накрыла стол в комнате, ужин приготовила почти как в праздник, даже бутылку самодельного вина поставила для мужчин. Младших привело в восторг такое застолье, особенно Катьку, которая уселась на почетное место — у торца стола рядом с отцом.

Раньше Вера часто подтрунивала над затянувшимся ухаживанием брата за молодой докторицей, девушкой красивой, но капризной (это огорчало Полю). Последние месяц-полтора Вера избегала разговоров на эту тему.

И вот она снова шутливо спросила, обрадовав этим мать:

— Гарик, что-то медички твоей я давно не вижу. Уж не поссорились ли вы?

Игорь легонько щелкнул сестру по носу, насмешив младших.

— Во-первых, я тебе, кнопка, не Гарик, а Игорь Викторович. Дипломированный архитектор. Заруби себе на курносом носу. А во-вторых, если родители считают, что тебе не рано знать о таких вещах, то разъясняю: такой собачий холод остужает все чувства.

— Раньше было наоборот, — улыбнулась мать, раскладывая по тарелкам душистые и румяные, поджаренные с луком шкварки.

— Когда это было наоборот, мама? — засмеялся Игорь. — И что было наоборот?

— Зимой собирались на вечерки.

— Хе, вспомнила доисторические времена! А где нам собираться? Чем больше мы строим, тем теснее нам жить. Парадокс. Верно, отец?

Виктор не откликнулся. Ему не хотелось затевать бесплодный спор с сыном. Довольно уже было таких споров. А Игорю сегодня охота было порассуждать. Он цыкнул на Катьку, которой вдруг захотелось поменяться с Таней вилками; но школьница придерживалась педагогического принципа: не уступать баловнице, все, мол, уступают ей, и она скоро сядет им на голову.

— Катерина Великая! Не шуми. Слушай мудрые речи, а то посажу под стол.

— Ты, Игорь Викторович! — девчушка произнесла имя брата, как кличку. — Сам полезешь под стол.

— Пробовали мы, мама, наладить вечеринки. Но, во-первых, больше двух-трех пар ни одна семья не выдерживает. Музыку наши высокоинтеллектуальные любимые заводят такую, что даже у меня, закаленного по части шума, начинает болеть живот. И сразу же со всех сторон — сверху, снизу — аккомпанемент. В виде угрожающего стука. Так мы с тобой, отец, строим.

— Не мы строим, — возразила Вера.

— Милая моя! На втором курсе пора уже знать роль архитектора в строительстве. Хотя я готов согласиться с тобой, сестра. Не мы строим, — и посмотрел на отца, явно желая втянуть его в спор; знал, что с таким утверждением старший Шугачев не может согласиться. Но тот снова промолчал. И сын продолжал свои рассуждения о том, где и как проводит время молодежь.

— Было одно приличное место — кафе «Космос». Там можно было согреть нутро кое-чем и разогреть душу танцами. Но теперь и там запретили даже сухое вино. Воюем с пьянством! Что ж осталось делать? Пить целый вечер дрянной кофе? Нэ можем. Нэ приучены к такому деликатному напитку.

Катька засмеялась над его «нэ».

— Ты часто начал согревать нутро, — недовольно бросил Виктор.

— Отец! Неточную имеешь информацию, а потому неправильный делаешь вывод. На мой заработок не очень-то разгонишься, если б и хотел. Половину я отдаю матери.

Поля сказала:

— Женился бы ты, Гарик.

— На ком? На Жанне? Куда же нам деться? Жить где?

— Нашлось бы место. В тесноте...

— О нет, мама! Зная Жанну, никогда не приведу ее сюда. Тебя жалею. Испортит она тебе жизнь.

— Зачем же любить такую цацу? — сурово, осуждая брата, спросила десятилетняя Таня.

Поля грустно улыбнулась — ей давно не нравился излишний, действительно недетский рационализм девочки.

Игорь весело похвалил сестру:

— Ты мудрец, Танюша! Философ! Но, дражайшая моя сестрица, в жизни не все так просто, как тебе кажется. И Жанна не только «цаца», как ты говоришь. Жанна — загадочное создание не менее загадочной природы. А все загадочное нас притягивает. Как магнит гвозди. Видела?

Виктору не нравилось, что этот разговор ведется при младших детях. Даже Катька и та навострила уши. Довольно того, что телевизор открывает детям больше, чем им следовало бы знать в их возрасте. Да и Вера, поначалу веселая, когда заговорили о женитьбе брата, насторожилась и словно замкнулась, не поддержала ни мать, ни Игоря. Вера, пожалуй, лучше, чем все, знает эту Жанну, и для нее было бы почти трагедией появление в доме невестки, да еще такой «форсистой», по определению Максима. Максим, между прочим, познакомившись с Жанной, сказал Виктору: «Не стремись, чтоб сын женился на этой принцессе. Она — копия моей Даши».

Странно, что Поля не подумала о Вере, советуя сыну жениться.

Чтоб перевести разговор на другую тему, Виктор сказал сыну:

— Был в вашей мастерской. Смотрел проекты застройки Московской. Что вы делаете? Ни одного оригинального решения. Все типовое в худшем смысле этого слова.

— Отец! Осторожно! Типовое стало словом положительным. Живем в век стандартов. А еще великий Корбюзье сказал: архитектура оперирует стандартами.

— Ты нахватался цитат, а до смысла их не доходишь. Архитектура оперирует стандартными материалами, этого потребовало индустриальное строительство, но сама архитектура не может... она никогда не должна быть стандартной.

— Это иллюзии, отец. Она давно уже стала такой, твоя дорогая архитектура. Скажу больше, типовое строительство уменьшило потребность общества в архитекторах... Они не нужны.

— Ну, загнул! — засмеялась Вера. — Нас везде не хватает.

— Кого не хватает? — удивился Игорь. — Я говорю об архитекторах-художниках, каким воображает себя наш отец...

— Игорь! — Матери давно не нравилось ироническое отношение сына к отцу. Но Виктор снисходительно улыбнулся: мол, пускай болтает, я не обижаюсь.

Игорь наступал на сестру:

— Ты заглядываешь в специальные журналы?

— Читаю их больше, чем ты.

— Читаешь, но не думаешь. Слышала про ЦНИИЭП?

— В нашем доме о нем Катька знает.

— Слава богу. Я там был. Это грандиозное учреждение. Там все на уровне сегодняшней проектной техники. ЭВМ, АСУ и так далее. Иначе нельзя. Отстанем. По проектам этого института строятся почти все театры, кинотеатры, клубы, административные здания, спортивные комплексы. Все, что формирует эстетический облик городов. Зачем же при такой системе десять... двадцать тысяч зодчих? Их достаточно сотни.

— Вы с Макоедом самый гениальный проект посадите так, что вырастет конюшня, — как бы между прочим обронил Шугачев-старший, все еще не желая ввязываться в гущу спора, потому что не раз выходил из него с занозами в душе.

— Отец, не переходи на личности! Недозволенный прием! Но я ловлю тебя на слове. Ты согласился...

почти согласился, что зодчий в классическом понимании в наше время не главная фигура. Во всяком случае, в таком городе, как наш. Архитектор-планировщик. Архитектор-организатор... Вот кого не хватает, дорогая сестра! Их нужна армия при наших масштабах. Планировщика просит каждый колхоз. А проекты домов им пришлют, какие они захотят. Московские. Минские. Чешские. Польские. Индустриализация строительства ведет к интернационализации архитектуры. Национальная архитектура в прошлом. В памятниках.

— Это же неправда! — горячо возразила Вера. — Неужели ты не видишь разницы в проектах наших и армянских архитекторов? Литовских и узбекских?

— Это последние потуги. Провинциализм. Централизация проектирования покончит с этим анахронизмом, который вы, традиционалисты, поднимаете как знамя.

— Сын мой, — с торжественной иронией и с глубокой грустью в душе, потому что чувствовал в словах Игоря долю правды, сказал Шугачев-старший, — мы с тобой провинциальные архитекторы. Что же останется на нашу долю?

— Я сказал что — планировка и организация. Это, между прочим, давно понял твой друг Карнач...

— Опять неправда! — весело и победоносно крикнула Вера, — По проектам дяди Максима возведены самые интересные здания. Лучший Дворец культуры...

— Ну, не все его считают лучшим. Многие наши коллеги ни в грош не ставят этот дворец.

— А ты как считаешь? — спросил отец настойчиво и сурово.

— Я? — Игорь на миг смешался.

— И он за ними, — сказала Вера с обидой и горечью из-за того, что член их семьи, ее брат так

пренебрежительно относится к своему учителю. В том, что Игорь и она пошли в архитектуру, заслуга дяди Максима, может быть, не меньше, чем отца.

— Я пока приглядываюсь.

— Приглядываешься? К чему? Или прислушиваешься к Макоеду?

— И прислушиваюсь. Чтоб знать истину...

— Ты меньше разносил бы макоедовские сплетни! Это занятие для бездарностей.

Почуяв, что отец начинает сердиться, Игорь попытался обернуть все в шутку.

— Мама! — как маленький, крикнул он матери, которая вошла в комнату с тарелкой аппетитных блинчиков с творогом, обильно политых топленым маслом. — Мне хотят заткнуть рот!

Дисциплинированная Таня и Толя, который считал себя совсем взрослым, всегда с интересом слушали споры архитекторов. Мать, в любых других вопросах высший авторитет, никогда не вмешивалась в профессиональные разговоры мужа и детей, разве только когда уж слишком разгорались страсти и дело доходило до ссоры или когда Игорь разрешал себе неуважительно подсмеиваться над отцом. Полю радовало, что они собираются вместе и так горячо спорят.

Слова Игоря, что ему хотят заткнуть рот, рассмешили Катьку. Девочка, представив, как и чем это можно сделать — заткнуть рот, — так и закатилась смехом.

— Мама! Игорю заткнули рот.

— Чем? — улыбнулась Поля, ставя тарелку с блинчиками на середину стола.

— Игорь! Чем тебе заткнули рот?

— Словами, дорогая Катерина.

— Разве словами можно заткнуть? — удивилась Катя.

Детская непосредственность всех рассмешила.

— Можно, Катька. Такой кляп вставят, что не пикнешь.

— Не плети чепуху ребенку, — сказала мать. — Кто тебе вставлял кляп?

— Никто как будто бы. А между тем я почему-то стал мудрым. Иной раз хочется на совещании, на собрании сказать то, что думаю. Но включается какой-то автоматический тормоз. Иногда тормозит намертво: не лучше ли помолчать? А иногда спускаюсь тихо, ровно, как хороший шофер с горы, говорю то, что нравится...

— Начальству? — презрительно спросила Вера.

— Нет, сестра. Говорю то, что нравится большинству. Играю, как посредственный актер, на публику.

— Зачем? — серьезно, даже встревоженно спросила Поля.

— Черт его знает. Пользы от этого в большинстве случаев мне никакой.

— Он как Катька, — сказала Вера. — Хоть глупость сказать, только бы обратить на себя внимание.

— Ты сама глупая! — закричала обиженная Катька.

Вера отмахнулась от сестренки.

— А скорее всего, это от Жанны. Она любит показать себя. С кем поведешься...

— ...от того блох наберешься, — помог сестре Толя без улыбки и, кажется, без особого интереса к их разговору; он прикидывал, хватит ли на всех еще по блинчику. Толя был самый справедливый и самый простодушный в семье, все всегда делил на всех, любую мелочь, и презирал всякие условности, которые, по его

мнению, усложняют человеку жизнь: например, вилкой он брал только то, что нельзя взять пальцами, а блинчик не ковырять вилкой, а взять пятерней — одно удовольствие.

Мать слышит каждое слово, видит каждый жест и взгляд.

— Бери, бери, Толя, не считай, На кухне еще есть. Таня! Ты одного блинчика не можешь осилить?

— Мамочка! Так ужинали купцы.

— Грамотные вы все!

Надо было ответить Игорю, который, пока она разговаривала с младшими, сказал Вере, продолжая диалог:

— А я думаю, это от отца. Наследственность. Наконец ее перестали отрицать у нас.

Распустился Игорь, никакого уважения к отцу. Но Виктор не обиделся на слова сына, с молодой улыбкой ответил:

— Нет, врешь, брат. И на собраниях я выступал редко. И на публику никогда не играл. Это болезнь твоего поколения. Нам было не до того.

— Отец, не переноси мою болезнь на все поколение. Сам ты говоришь, мы разные. И вы разные. Кар-нач и ты, например. Хоть вы и друзья.

— У нас разные характеры. Но у нас одни идеалы.

— Только ты борешься за них как идеалист, а Карнач — как реалист. Он строит дворцы... Их могут ругать. Но о них напишут монографии. Теперь он захватил себе монумент партизанам...

Игорь осекся. Он вдруг увидел, как отец положил вилку — очень уж осторожно — и как побагровело его лицо.

— Сын мой, — угрожающе тихо и хрипло обратился Виктор к Игорю. — Я понимаю так: ты хочешь сказать, что я непрактичный дурак, потому всю жизнь проектирую жилые дома? Верно?

Игорь не отвечал.

Шугачев-старший поднялся из-за стола, и голос его зазвенел:

— Да. Я проектирую жилье. И скажу тебе, что ни один дворец, ни один монументальный комплекс не дал бы мне той радости, какую дает работа над жилым домом, районом...

— Громкие слова, отец. Кто про них сказал доброе слово, про твои дома?

— Игорь! — возмутилась мать.

— Ничего, Поля. Это хорошо, что сын откровенен, хотя и грустно, что он так думает. Любовь к славе движет творчество, но часто и губит художника... Я тоже думал о ней, о славе. Раньше больше, теперь меньше. Но если можешь, прошу поверить... Это не громкие слова. Работал я не ради нее, не ради монографий. Проектируя, я думал о людях... о детях... о тебе, о Тане, чтоб вам было тепло, уютно... просторно...

Игорь хмыкнул.

— Я тебя понимаю. Думаешь, у меня не болела душа, когда я проектировал лестничные клетки, по которым нельзя было внести мебель, совмещенные санузлы и два с половиной метра от пола до потолка? Но что лучше — такая квартира или ничего? Теперь мы стали богаче. Переросли эти габариты. От многого отказались. Теперь мы можем думать о городе, районе, который удовлетворил бы потребности людей завтрашнего дня... Твои потребности... Катькины... Даже потребности твоей Жанны. — Шугачев усмехнулся, обошел стол, остановился перед сыном и дочерью и торжественно заявил: — И я сделаю такой район! Он уже построен!

Здесь! — он хлопнул ладонью по лбу, повернулся и сказал жене тише и не так уверенно: — Я построю такой район в Заречье. Несмотря ни на что, — и сел на свое место, улыбнулся обессиленно, как будто окончил тяжелый труд, потом виновато, как бы извиняясь, что не все сделано так, как им, детям, хочется, попытался пошутить: — Ты еще напишешь монографию про мой район.

— Браво, папа! — с искренней радостью воскликнула Вера.

— Браво! — захлопала в ладоши Катька.

В Полиных глазах затаилась тревога, она одна почувствовала, что у Виктора неспокойно на душе. Впервые ее не обрадовало то, что он говорит с детьми так серьезно, такими высокими словами и будто превозносит себя. Значительно проще было его понять, когда он посмеивался над теориями Игоря или сердился, кричал. В таких случаях она с улыбкой думала: «Пускай хоть в семье человек проявит свою власть».

Игорь смотрел на отца без обычной иронической усмешки, серьезно и пытливо, как будто увидел вдруг совсем другого человека.

— А ты знаешь, старик? Эта твоя уверенность мне понравилась. У тебя никогда не хватало уверенности. Каждый свой проект ты ставил под сомнение. Только все карначовское хвалил.

— Карнача не трогай. Он выдающийся архитектор.

— Он тебя вырастил, свинтус ты, — с обидой за Максима бросила брату Вера.

Поля мыла тарелки, когда Виктор вошел в кухню. Остановился у нее за спиной. По шагам, по молчанию, даже, кажется, по тому, как он дышит, она почувствовала, что он хочет поговорить с глазу на глаз.

— Опять сама моешь? — недовольство явно деланное. —

Мало у тебя помощников? Тарелки не могут помыть!

— Витя! У каждого из них свои дела. Столько уроков!

— Растишь белоручек.

— Витя, у нас неплохие дети, — Поля старалась говорить мягко, осторожно, чтоб не задеть за больное, а что это, никак не могла догадаться.

Виктор отошел и сел на табуретку у стола. Помолчал.

— Поля!

— Что, Витя?

— Я сказал им неправду. Детям.

Она поставила тарелку на тумбочку и повернулась от раковины, сняла с плеча полотенце и закутала им. покрасневшие от горячей воды руки, точно застеснявшись, что они такие красные, мокрые.

— Самое странное, что именно сегодня я хотел сказать вам правду. Но этот чертов сын Игорь так повел разговор, что я не мог иначе. Пойми...

— Нет, не понимаю, — чуть шевельнула она губами.

Шугачев на миг закрыл лицо ладонями, но тут же протер пальцами глаза, словно в них попала пыль, провел ладонями по щекам и сказал решительно:

— Заречного района не будет. Нет, район будет, но не по моему проекту.

Подождал, что она ответит. Поля молчала. Он вскочил и, расхаживая по тесной кухне — три шага вперед, три назад, — стал горячо и многословно убеждать:

— Думаешь, мне легко слушать попреки родного сына? Ты думаешь, я дурак, не понимаю, что он говорит правду? Да, большинство моих домов устарело. При моей жизни. Это трагедия для архитектора. Ведь мы все мечтаем творить на века. Мне пятьдесят четыре года. У

меня есть опыт... Я могу... и я хочу построить район, который выразил бы нашу эпоху. Не люблю громких слов! Скажу тебе проще. Комплекс этот выразил бы нашу с тобой радость жизни, радость наших детей. А мое восприятие мира, я уверен, дало бы радость и людям, которые бы там жили. Разве для этого не стоит потрудиться? Я понимаю безжалостный закон экономии. Я проектировал самые экономичные дома. Но больше не могу. Верно, не пришло еще время для постройки того, что спроектировано у меня в голове. Но почему можно другим — в Москве, в Вильнюсе? Почему нельзя мне?

О нормативах Поля наслышалась и от мужа, и от сына, и от их коллег, молодых и старых. В экономических расчетах проектов она разбиралась получше иного архитектора. И, между прочим, будучи бережливой хозяйкой, зная цену деньгам, которых постоянно не хватало, она не всегда одобряла их недовольство нормативами, тем, что нельзя тратить государственные деньги без ограничений. Но никогда и никому не высказывала своего мнения. И считала, что ее Виктор, не в пример молодым, самый разумный: он иногда тоже ворчал, однако всегда заботился о стоимости каждого проектируемого им дома, Даже Максима попрекнул. Правда, за глаза. Когда они осматривали Дворец культуры, сказал: «Замечательное, конечно, здание. Но триста тысяч сверх сметы...» — почмокал и покачал головой.

Что же вдруг случилось?

Виктор умолк. Неужто ждет от нее ответа, почему ему нельзя спроектировать такой район, какие строят в других городах? Как будто она председатель Госстроя, не меньше. Смешной ты, Витя.

Она сказала:

— Ты же сделал половину работы. Год сидишь.

— Но эту работу никто не утвердит. Я не укладываюсь в нормативы.

Поля вздохнула.

Опасаясь, что она будет против того, что он намерен сделать, Виктор снова стал убеждать:

— Я должен отказаться, Поля. Я больше не могу совершать насилие над своим талантом. Есть же у меня характер!

«Характер есть, воли нет», — подумала Поля, но промолчала.

Виктор спросил:

— Ты знаешь, чем это для меня может кончиться?

Поля раскутала руки, взяла тарелку и начала осторожно вытирать, бережно, как очень ценную вещь, хотя тарелка была самая дешевая; дети немало били посуды, и она покупала что подешевле. Этими осторожными движениями она как будто отвечала мужу, что хорошо понимает, как может отразиться на благосостоянии семьи его непродуманный шаг.

Голос Виктора упал, но он все еще оправдывал себя:

— Хороший архитектор не нуждается в должности. Но главный архитектор проекта — это не должность. Это признание.

Поля отвернулась к раковине и открыла горячий кран.

Виктор разозлился.

— Почему ты молчишь? Почему я один должен решать, что делать? Все я! Все я!

На деле без ее совета он не решал ни одной мелочи: какую надеть рубашку, идти гулять или не идти, что купить на ужин. Потому и нервничал сейчас, что жена ведет себя так, как будто его работа ее не интересует.

Поля понимала это. Но что ему посоветовать? Всю жизнь она старалась помочь ему в работе всем, чем

могла, и боялась только одного — помешать. Поля вытерла руки и села на табуретку у дверей по-деревенски, на краешек. Виктор приблизился к ней, сморщился, как от боли, сказал шепотом, показывая на дверь!

— Потянуло меня за язык... Ну, что я мог ответить, когда он, поганец, попрекнул, что я всю жизнь сижу на жилье? Болтун. Да, не вовремя все это. «Я построю район, о котором тебе захочется написать монографию». А завтра он узнает...

Полю это тронуло, даже обрадовало: отцу так важно, что подумают о нем дети!

— Витя, дети тебя поймут.

Он смотрел в окно на улицу, на дом напротив, кстати, его дом, который всегда мозолил глаза, потому что был этот дом, пожалуй, самый неудачный. Мало утешало, что внешний вид его испортили строители, что они больше виноваты. Максиму дворец никто не испортил, потому что он дрался из-за каждого пилястра, за каждый канелюр, глаз не спускал...

Выходит, Поля одобряет его намерение? Так просто? Так легко? Шугачев почувствовал разочарование. Не понимает, значит, чем это грозит. Стоя у окна, сказал нарочно громко, пускай слышат дети:

— Меня пугает не то, что из моего отказа могут сделать, знаешь, какие выводы... Я сам сделал бы. Руководитель мастерской отказывается от задания! Какой же ты руководитель? Освобождай место. Не подводи институт. Если хочешь, могут даже записать в карточку — тридцать лет чистая... Когда меня после этого сделают главным архитектором проекта? Искать под старость счастья в другой республике? — Он нарочно сказал это, не сомневаясь, что Поля запротестует самым решительным образом. Странно, что она промолчала. Непонятно она себя ведет сегодня. Глаза у нее стали грустные, и лицо как будто побледнело. Сделалось жалко ее, и он успокоил: —

Никуда я не уеду. Я белорус. С этим городом связан пуповиной. Мне ничего не страшно! Я могу работать рядовым проектировщиком. Нам будет нелегко. Но я знаю, ты не упрекнешь меня. Ведь нет?

Поля кивнула головой: нет, не упрекну.

Он обнял ее за плечи, поднял с табурета.

— Ты самая умная из всех жен.

Они с Полей рядом прошли по кухне и присели у стола. Он сел напротив, лицом к лицу, и признался:

— Я одного боюсь, Поля. Что ничего этого не будет. Ни разбора. Ни выговора. Ни снятия с должности. Просто отдадут проект Макоеду. И он все испоганит. Такой район!

Виктор смотрел на жену в упор, ожидая, что она, как всегда, скажет что-нибудь такое, от чего все станет простым и ясным. Как с Верой. Ему казалось — трагедия, а Поля разрешила все так мудро.

Наконец она спросила:

— Ты с Максимом советовался?

Он почему-то рассердился.

— Не хочу я с ним советоваться! Он дал АПЗ, уверял, что они с Игнатовичем добьются разрешения на экспериментальный район. Я надеялся на них. На кого мне больше надеяться? А теперь у них разлад. Из-за глупой бабы он готов загубить такое дело!

— Не брани его, Витя. Ему нелегко.

— А мне легко?

Она сказала удивительно просто и уверенно:

— Витя, ты сделаешь этот проект.

— Так ты меня понимаешь и поддерживаешь? Спасибо!

— Тебя совесть замучает, если ты откажешься.

Он закричал на всю квартиру:

— Совесть! Из-за этой идиотской совести...

— Не кричи, Витя. Дети. Ты и по этим нормативам спроектируешь не хуже.

Он вдруг обмяк, обессиленно опустился на табурет. Он капитулировал перед обезоруживающей непоколебимой уверенностью жены. Устав от душевной борьбы, он в глубине души рад был Полиному решению. Он не обманул детей. Сказал им правду! Заречный район будет. Его, шугачевский!

XVI

Шугачев не знал, что Макоед предпринимает шаги, чтоб перехватить у него проект Заречья.

У Макоеда был необыкновенный талант — все узнавать, обо всем пронюхивать раньше других. О самых высоких совещаниях и постановлениях он по секрету рассказывал до того, как появлялись официальные сообщения или публикации этих постановлений. Всегда хорошо был осведомлен о взаимоотношениях людей интересовавшего его круга. Первым узнавал, кого повышают, кого понижают, куда кого переводят, кто заработал выговор, а кто благодарность и награду. Только с самоотводом Карнача сел в лужу. Это была неожиданность, которая его ошеломила. Но еще больше сбило его с толку и причинило прямо-таки душевные муки то, что он долго не мог выяснить причину такого непонятного, странного и, казалось ему, совсем не свойственного Карначу поступка. Он всегда считал и тайком убеждал всех знакомых, весь Союз архитекторов, что Карнач по характеру своему карьерист.

Еще большее разочарование Бронислав Адамович испытал, когда узнал о причине Максимова самоотвода. Сперва даже не поверил. Ерунда. Еще одна

карначовская мистификация. Но когда убедился, что это так, когда об этом загудел весь филиал Белгоспроекта, не мог простить себе такой слепоты и глухоты. Постарел, что ли? Как он, такой жох, мог не знать о семейных отношениях человека, за которым с самого института следит пристальнее, чем за кем бы то ни было? И более ревниво. Сам себе признавался в этом. Да, ревниво. Что ж тут такого? Они ведь однокурсники. И только они двое из всего курса получили за дипломные проекты пятерки. Оба их проекта, у него — жилого дома, у Максима — районного универмага, были приняты для строительства объектов. Для выпускников это наивысшая оценка, потому что большинство дипломных проектов никакого практического значения не имело. Тогда он от всей души клялся Максиму в дружбе. «Через десять — пятнадцать лет мы с тобой будем ведущими архитекторами республики». Максим скептически улыбался. Почему? От сознания своего превосходства? От неверия в его, Макоеда, способности? Эта улыбка не понравилась Брониславу уже тогда, на выпускном вечере. И зависть уже тогда была: Карнача оставили в Минске, его послали в областной центр.

А потом... Карначу все удавалось. Карнача хвалили. На него, Макоеда, наводили критику. Он сам чувствовал, что у него не получается так, как хотелось бы. Считал, что его талант губит провинция. Но Карнач сам приехал в их город и сразу оказался в центре не только архитектурной жизни. Тогда Макоед сделал вывод: надо уметь жить. Даже жениться надо уметь. Он забыл о том, что, когда Карнач женился на свояченице Игнатовича, сам Игнатович был всего лишь инструктором горкома комсомола.

Макоеду всю сознательную жизнь хотелось добиться руководящего поста. Но он, уже изрядно облысев, добрался только до должности руководителя мастерской. Как ему хотелось стать главным архитектором города! Но дорогу перебил Карнач. Черт его принес из столицы!

И вот Карнач покачнулся. Перед Макоедом засветил маячок. Ах, если б ему вырвать из-под Карнача кресло... Используя свой и карначовский опыт, он сумел бы показать себя. В конце концов, много значит быть каждый день на глазах у начальства, самому планировать застройку и первому узнавать, что планируется сверху. В таком положении легко и для себя получить выигрышный проектик, вроде карначовского Дворца культуры, которому городские и областные власти дали самую высокую оценку и теперь показывают как достопримечательность города каждой делегации.

Сперва его немного разочаровало, что Карнач споткнулся на семейных ухабах. Лучше было бы, если б он поскользнулся на работе, на архитектурном поприще. Но, рассудив, продумав детально, Макоед пришел к выводу, что вряд ли спустят это главному архитектору города. Надо иметь в виду, чья сестра Даша. А родство — большая сила. Пока ты свояк первого секретаря горкома, ты на коне. Разорвешь родство, неведомо где можешь оказаться.

Зная, что Игнатович архитекторов, художников принимает без очереди, Макоед записался на прием на третий день после конференции, когда еще не выяснил причину самоотвода Карнача. Он сгорал от любопытства и надеялся, что в разговоре с Игнатовичем сумеет если не выяснить причину, то нащупать хотя бы тоненькую ниточку, которая помогла бы распутать клубок.

Раньше по этому делу он не рисковал обращаться в горком, потому что не сомневался: Игнатович поддержит Карнача, — главный архитектор не давал разрешения на место, где ректорат института и молодые архитекторы из его, макоедовской, мастерской хотели посадить общежитие. Как архитектор Макоед в душе соглашался с аргументами Карнача. Но дурак он был бы, если б стал поддерживать коллегу. Тем более что, кроме всего прочего, Нина просила помочь институту, — ей надо еще пройти конкурс, чтоб

закрепить за собой кафедру.

Результат приема окрылил его. Во-первых, Игнатович хотя и дал понять, что дело мелкое и горком не будет подменять архитектурное управление, но не возражал против посадки общежития там, где просил институт. Во-вторых, и это для Макоеда было главной радостью, пока они были у секретаря, Карнач, который раньше заходил в этот кабинет без стука, вынужден был ждать в приемной.

В такой ситуации очень важно почаще показываться Игнатовичу на глаза. Но с чем? Не полезешь же опять с общежитием или другой подобной мелочью. Надо подбросить такую архитектурную идею, которая могла бы заинтересовать секретаря горкома. Какую? Подкинь, когда в голове пусто.

Но вдруг озарило... Заречный район... Знал, как интересуется Игнатович будущей застройкой этого района. Хочет сделать экспериментальным. Разработка проекта поручена мастерской Шугачева. Не без стараний Карнача. А Шугачеву Макоед завидовал не меньше, чем Карначу. Кому он не завидовал! Но вместе с тем он умел лучше, чем кто бы то ни было, анализировать происходящее, соотносить большое и малое. Состоялся Пленум Центрального Комитета партии. Генеральный секретарь говорил о недопустимом распылении средств в капитальном строительстве, о неоправданном удорожании многих строек, призывал к экономии. Экспериментальный район, на который Шугачев разевал рот и с идеей которого носится как курица с яйцом, требует дополнительных ассигнований. Черта с два вы получите их теперь! Кто это после Пленума выделит лишние миллионы для какого-то областного города? Надо перечеркнуть идею Шугачева, его проект — проектом более экономичным.

К удивлению Нины Ивановны, Броник дней десять не открывал свой бар, точно ключи потерял, и до поздней ночи сидел не у телевизора, а над чертежной доской.

— Что за срочная работа такая? — спросила она.

— Конкурс.

— Ты — как студент, который собирается жениться и у которого одна надежда на конкурсную премию. На что конкурс?

— Секрет. Хочу сделать тебе сюрприз.

Когда чертежи определились, Нина Ивановна выразила недоумение:

— Конкурс на планировку района? И ты хочешь за это получить премию? Мура какая-то. Студенческий черновик.

Он подскочил:

— Все, что я делаю, для тебя мура!

Они поссорились. И Броник в тот вечер выцедил почти недельную норму, которую он, работая, сэкономил.

Игнатовичу его идея не понравилась, хотя рассматривал эскизы секретарь долго и внимательно. Замечаний не делал. Вежливо сказал:

— Простите, Бронислав Адамович. Но, знаете, знакомо все. Как бы сказать? Вторично. Районов-близнецов у нас хватает. Хотелось бы получить новое, оригинальное решение. Поработайте, поищите. Я знаю, это не сразу приходит... Творчество!

Макоед понял, что свой проект ему не протолкнуть. Но не пал духом. То, что Игнатович ничего не сказал о шугачевской идее, которую давно, год назад, одобрил, и просит его, Макоеда, поискать новое решение застройки Заречья, обрадовало его. Значит, произошел поворот. Авторитет Карнача явно покачнулся. Похоже, что Игнатович ищет себе нового консультанта по архитектурным проблемам. В таком разе черт с ним, с Заречьем. Разумеется, было бы неплохо столкнуть Шугачева под откос. Удар по Шугачеву — удар по

Карначу. Но пускай работает на здоровье, он, Макоед, добрый. Шугачевская идея требует сверхнормативных ассигнований, которых никто не даст. И будешь ты, Витя, проектировать район обыкновенный, типовой, славы на котором не наживешь, только крови тебе попортят при утверждении.

А ему важен не район, ему главное показать себя, свою глубокую заинтересованность в вопросах архитектурного облика города, о чем так заботится Игнатович. Поэтому он обещал, что будет работать, будет искать.

Нина как-то без него прочитала планировочный эскиз более внимательно, узнала район. Вечером сказала:

— Кому ты готовишься подложить этим свинью? Шугачеву или Карначу?

— Почему ты не хочешь увидеть здесь здоровое соперничество двух зодчих?

— Это ты зодчий? Не смеши меня.

В последнее время она слишком часто и зло насмехалась над его способностями архитектурными и... мужскими. Это не только оскорбляло Бронислава Адамовича, это пугало. Он всегда боялся, что Нина может его бросить. Теперь эта опасность как будто приблизилась. Что их связывает? Детей нет. А она такая красивая. В институте столько мужчин. Мучился от ревности, подозревая сразу трех преподавателей. И ошибался...

Хотя жили они как кошка с собакой, но — недаром говорят в народе: муж и жена одна сатана — не могли не влиять друг на друга. Неприязнь Броника к Карначу постепенно передалась ей. Правда, она иногда дразнила мужа, что Максим ей нравится. На деле же считала, что из-за него Макоеду нет хода в большую архитектуру и это отражается на их достатке, хотя зарабатывали они в три раза больше, чем двое архитекторов Шугачевых — старший и младший.

Когда Броник позвонил ей, что Карнач нацелился на ее место в институте, она испугалась (ей так хотелось заведовать кафедрой!) и возненавидела этого человека, который мало того, что всю жизнь оттирает ее мужа, теперь еще становится на ее пути. Но через несколько дней в архитектурных кругах бомбой взорвалась новость — Карнач разводится с женой. Тогда в ее душе произошло что-то странное: боясь Максима и почти ненавидя, она в то же время почувствовала, что неведомая, страшная и притягательная сила влечет ее к этому человеку, такому не похожему на мужа. Что это — холодное женское любопытство или пожар, разгоревшийся из той маленькой искорки, которая когда-то давно, при первом знакомстве, затеплилась и тлела под пеплом неприязни — им изо дня в день засыпал ее Макоед?

Так что не только из холодного расчета решилась она на поступок, даже для нее нелегкий.

Сближение дало радость, какой она никогда не знала. Подтверждалась истина из старых романов: от ненависти до любви — один шаг. С Макоедом она после этого долго не могла лечь в постель, выдумывая самые невероятные отговорки. И издевалась над ним так, что подчас самой делалось стыдно и гадко. Днем и ночью она думала о Максиме. Если б он только пальцем ее поманил, сказал одно слово, она тут же, в тот же миг, презирая все сплетни, которые, как круги по воде, разошлись бы по городу, рискуя даже кафедрой, ушла бы к нему в Волчий Лог, в заснеженную пустыню.

Но на ее настойчивые звонки Максим отвечал любезной, веселой, однако бездумной, без подтекста и намеков болтовней, анекдотиками и сказочками. И всячески увиливал от предложения встретиться: то у него командировка в Минск, то лекция в дальнем райцентре, то скульптор приехал, с которым вместе они работают над монументом.

Это ее не просто огорчало — беспокоило, заставляло злиться на весь мир. Даже на него. Но она сдерживала себя: не надо торопить события, надо ждать, понять его

осторожность, зачем давать Даше козырь, чтобы она могла оплевать на суде его, а заодно и ее. Но иногда ей становилось не по себе. А может быть, он и в самом деле хочет идти в институт на ее место? Из-за положения человек может отказаться даже от любви, в особенности в таком возрасте, далеко не юношеском. От этой мысли ее кидало в дрожь. Она придумывала страшные кары, которые обрушит на его голову. Одним словом, она жила в смятении чувств — с внезапными переходами от розовых грез о будущем к страху и гневу.

Макоед пронюхал, что городские власти недовольны протестом Карнача против «привязки» химического комбината в Белом Береге. Чего он лезет? Хочет себя показать? Размещение таких объектов решается не на его уровне.

Макоед вернулся в тот день с таким видом, будто выиграл за тридцать копеек «Жигули». За обеденным столом, попивая аперитивчик, потирал руки.

— Нинуля! Как это римляне говорили? Кого Юпитер хочет покарать, лишает разума? Так?

— Кого это он лишил разума, твой громовержец?

— Карнача. Такой стратег и тактик был. Такой ловкач. Так вознесся. И вот... закружилась у человека голова. Что ни сделает, то, прости, в лужу...

— А что он сделал?

— Мало? Самоотвод... Протест в Совмин против строительства комбината.

— Он думает о будущем города.

— Хе. В том-то и беда, что он думает, будто один он думает.

Диалог шел на расстоянии: он — в комнате, она на кухне, готовила салат. Вошла в комнату с салатницей в руках, увидела, как Макоед сияет, как потирает руки, и... остановилась, не дойдя до стола.

Это злорадство, над которым она раньше подсмеивалась, дразня и подзадоривая Макоеда, теперь стало нестерпимым, оскорбляло ее.

Она гадливо сморщилась, как будто наступила на жабу.

— Да ты ногтя его не стоишь, слизняк лысый!

Макоед давно научился различать, когда Нина дразнит, издевается над ним, и, хотя это обижало, сохранял относительное спокойствие, иногда, в хорошем настроении, даже подыгрывал ей. Но на этот раз было непохоже просто на насмешку. И слов таких она никогда еще не говорила. Такой обиды нельзя простить! Надо хоть раз показать ей свой характер:

Бронислав Адамович вскочил со стула.

— А ну, повтори... повтори, что ты сказала!

— Повторю! Сто раз повторю! — уже закричала в полный голос Нина Ивановна и бросила салатницу на пол.

Зазвенели, разлетаясь, фаянсовые черепки, жирное бело-коричневое месиво заляпало половину дорогого ковра.

Бронислав Адамович, ошеломленный таким поведением жены, испуганно отступил от стола. Много она ему крови испортила, но до такого не доходило ни разу. С ума сошла баба. Что она несет? Что она несет! Ужас!

— Не смей говорить гадости про Карнача! Я люблю этого человека!

Он застонал.

— Нина...

— Хочешь знать больше? Я его любовница.

И ушла в спальню, гордая своей отвагой. Там открыла шкаф, выкинула из него на кровать несколько платьев

на плечиках. Первый порыв был — собрать чемодан и уйти отсюда навсегда. Теперь, когда сделала такое признание, разве можно оставаться? Но уже следующие плечики — с шубой — застыли в руках и словно сами потянулись назад в шкаф.

Только в кино так просто уходят жены от мужей, осознав их никчемность и свою ошибку. В жизни все гораздо сложнее. Куда она пойдет из этого теплого гнезда? К кому? Кто ее ждет? И вещей у нее не на один чемодан (только пальто и шуб штук семь) — на добрую машину. Волна отхлынула. Обнажилось дно — весь этот быт, комфорт, они держат, привязывают. Смешно в наше время бросать квартиру, на которую имеешь не меньше прав, чем он. В последние годы, после защиты диссертации, она получала в иные месяцы, когда у Макоеда не шли статьи, больше его и все деньги тратила на себя и убранство квартиры. Богатую компенсацию получил бы Макоед за потерю жены!

Нет, в Волчий Лог она пойдет, но тогда, когда ее попросят, на руках понесут. А теперь пока что надо бить отбой.

Прислушалась, что делает Макоед. Ни звука. Точно умер. Это ее даже немного испугало. Но так бесшумно не умирают. Ошарашен, что ли? Вспомнила, какие глаза у него стали — что у коровы, которую ведут на убой.

Нина Ивановна усмехнулась. Интересно, однако, что он делает, в какой позе сидит. Не выдержала, как девчонка заглянула в замочную скважину. Броника было не видно. Пожалела, что вместо легких застекленных дверей они поставили эти, дубовые. На черта им двоим такая изоляция. Скрывают они друг от друга мысли, а не слова. Слова могут быть любые, даже такие, какие она только что сказала. У других после таких слов была бы трагедия. У них будет фарс. Еще один. Она не сомневалась: ей удастся убедить Броника, что все это неправда, что она просто шутила, хотела подразнить его.

Наконец услышала, как заскрипел стул, как тяжело вздохнул оскорбленный муж.

Жив курилка.

А когда забулькал коньяк (в фужер наливает) и Макоед, забыв о своем горе, привычно крякнул, Нине Ивановне захотелось расхохотаться.

Потом слушала, как он, пыхтя и покряхтывая, подбирал черепки и салат, вытирал ковер. Конечно, жаль такую дорогую вещь. На кухне полилась вода в пластмассовое ведро.

«Хочет замывать. Переложит порошка, и химия съест краску».

Она посмотрела на себя в трюмо, нашла подходящую улыбку и с ней вышла из спальни.

Бронислав Адамович разогнулся, удивленный ее появлением. С мокрой тряпки текла мыльная вода. Остатки потных волос, которыми он обычно умело прикрывал лысину, прилипли ко лбу, воротник расстегнут, галстук сбился набок и висел поверх пижамной куртки.

В ней снова шевельнулась гадливость, но она тут же взяла себя в руки.

— Ах, какой ты молодчина, Броник. Разве можно найти лучшего мужа?

Из коровьих глаз его брызнули пьяные слезы. Хотя она знала его сентиментальность, чувствительность, но слезы эти на миг тронули ее.

— Ты по-ве-рил? — растягивая слова, наивно удивилась она.

Бронислав Адамович швырнул тряпку на ковер, мыльные брызги даже на стол полетели. И на нее. Одна-две попали на лицо.

— Ну, дорогой мой. Не знала я, что ты такого мнения о своей жене. Если ты мне поверил, то что было б, если б ты услышал такую несусветную сплетню от кого-нибудь другого?

В ответ он, как раненый бык, покрутил головой и угрожающе замычал, хотя чувствовал, что уже обессилел и не способен на месть.

Нина Ивановна осторожно приблизилась к мужу.

— Успокойся. Я хотела проверить, осталась ли у тебя хоть ревность. Мне давно казалось, что ты даже ревновать перестал. Я и теперь сомневаюсь. — Она вдруг перешла в наступление. — Если эта тряпка под ногами, — пристукнула каблучком по ковру, — тебе дороже жены... если ты прежде всего подумал о том, чтоб пятна не осталось... Ты бойся пятен на совести!.. Ты, как попугай, повторяешь слова о любви. А где она? Я не чувствую ее. А я хочу любить! Я хочу любить! — Она притворно всхлипнула. — Поэтому я и выдумываю черт знает что, только бы сделать тебе больно. Неужели ты, называющий себя психологом, не можешь своим куриным умом дойти до этого? Не можешь понять меня?

Бронислав Адамович перешел в оборону, потом сдался, даже просил прощения.

XVII

Свадьба была, как все свадьбы в ресторане. Они похожи друг на друга, как военные парады. Никакой инициативы. Это Максима всегда удивляло. Если свадьба, городская свадьба, празднуется дома, бывают еще какие-то выдумки, попытки возродить старые добрые традиции. В ресторане от всего свадебного обряда остается одно «Горько!», которое кричат часто и слишком громко. А новое — длинные и скучные тосты. Еще счастье, если попадется хоть один шутник, который может подкинуть что-нибудь веселое, посмешить, а большинство ведет себя как на

производственном совещании, где юмор считается легкомыслием.

Максиму сперва было скучно. Не просто скучно — горько, но не в том смысле, в каком здесь звучало это слово. И ничто не могло подсластить этой горечи — ни поцелуи дочери и зятя, ни потуги одного из Ветиных коллег, волосатого музыканта, рассмешить почтенное общество старыми свадебными анекдотами.

Долго не мог понять причину такого настроения. Кажется, все хорошо. Прабабкины ему нравились все больше. Даже жених начал нравиться. И гости как гости. С его стороны их немного. Родные не приехали. Игнатовичи тоже не приехали, хотя не он их приглашал, приглашали Вета и Даша. Вете обещали, что будут. Выдерживает Герасим дистанцию — подальше от такого друга. Из их города приехал один Виктор Шугачев. Без Поли. Захворала Катька. Максим пригласил человек шесть своих минских коллег. Архитекторы сидели все вместе справа, пили почему-то мало (это Максима беспокоило — почему?) и горячо обсуждали какую-то свою архитектурную проблему, кажется, все спорили с одним Шугачевым, но по физиономии было видно: Виктору нравились возражения противников. Максим догадался: друг проверяет на столичных коллегах свой проект застройки Заречья. Весело подмигнул Шугачеву, подумал: «Кажется, неорганизованный человек, не любит профессиональных разговоров, а между тем не тратит зря времени — и здесь проверяет себя».

Очень хотелось перебраться туда, к своим, и за доброй свадебной чаркой поворошить «архитектурные сплетни». Но вынужден был сидеть в «президиуме» — рядом с молодыми и с Дашей. Нельзя омрачать Вете радость. Приходится притворяться, играть роль счастливого отца и мужа. Может быть, от этой раздвоенности и настроение такое собачье? Да. Вете надо было все сказать. Теперь он жалеет, что не сделал этого до свадьбы. Хотя вряд ли одно Дашино соседство, ее лицемерие, показное внимание и ласковость

(«Максим, хочешь заливного? Ты пьешь и не закусываешь. Опьянеешь, мой дорогой») могли так царапать душу. Есть другая какая-то причина. Не нравятся ему Ветины друзья — слишком шумные. Что у них, слабеют барабанные перепонки от музыки, что ли? Собственно говоря, не нравилась не крикливость их внешнего вида и поведения, пускай красятся и шумят как хотят и сколько хотят, никакое модничание его не шокирует, он знает, что форма не всегда соответствует содержанию даже у людей солидных, что уж говорить о таких юношах и девушках, считающих себя к тому же великими артистами. Не нравились их неуважительность, обидное равнодушие к гостям, приглашенным родителями жениха.

Их гости — военные друзья, офицеры-отставники, инвалиды, у каждого по нескольку орденских планок на широких лацканах вышедших из моды костюмов. Один полковник пришел в военной форме со всеми орденами. Сватья, Ганна Титовна, тоже пришла в гимнастерке с орденами, пустой левый рукав засунут за пояс. Это тронуло Максима до слез. Да, иначе она не могла прийти на свадьбу сына. Это не игра. А он слышал, как вначале, пока гости еще не познакомились, кто-то из молодых подсмеивался:

— А та тетка из какого спектакля?

Даша тоже прошептала:

— Что это она так нарядилась, наша сватья? Как на маскарад.

Боже мой! Какая душевная глухота! Для одних — спектакль, для других — маскарад. Неужто так трудно понять эту женщину?

Ветины друзья выслушивали тосты своих коллег, не очень внимательно слушали архитекторов и почти совсем не слушали пожилых седых людей с орденскими плавками на груди и в широких брюках. Конечно, они говорили не так остроумно и не так утонченно, как профессор Ромашевич, историк архитектуры, который

еще двадцать пять лет назад на лекциях завораживал его, студента Карнача, когда он сидел в аудитории в такой же гимнастерке, только более поношенной и не так чисто отстиранной. Отставники говорили по-разному: одни коротко и просто, другие, особенно когда уже подвыпили, вспоминали, как женились на войне. Полковник рассказал, как поженились Прабабкины:

— Мы, офицеры, готовили свадебный ужин, а невеста со снайперской винтовкой сидела на ели. И сняла в тот вечер фашистского офицера.

Ганну Титовну называли просто Галей. Говорили о ней много и прочувствованно, забывая порой о молодых — о сыне ее, о невесте. Говорили так, будто отмечали ее юбилей. Максим видел, что ни одна из офицерских жен не поморщилась, как это часто бывает, когда оказывают внимание другой женщине. Кривилась одна Даша.

Он спросил у нее:

— Тебе нравятся Ветины друзья?

— Вилины? А что? Теперь вся молодежь такая. Ты хочешь, чтоб они сидели, как на поминках. Как ты. Чем ты недоволен?

— Я всем доволен.

Он поднялся и на правах одного из хозяев стола предложил:

— Знаете что? Пошли танцевать.

Молодежь радостно поддержала. Прабабкиным, кажется, такая узурпация власти не понравилась, они и их гости остались за столом. Сидели в банкетном зале ресторана «Юбилейный», оркестр играл в большом зале, где в этот субботний вечер было полно народу.

Максим старался танцевать с Ветиными подругами, чтоб поближе познакомиться. Не выходило. Одни почему-то замыкались, как бы разгадав его намерение, другие глупо кокетничали и мололи чепуху. Это его

еще больше расстроило. Расхотелось танцевать.

Подлетела Даша, румяная, запыхавшаяся.

— Мы давно с тобой не танцевали.

— Не хочу.

Она показала ему язык и подхватила спортсмена.

Максиму стало противно смотреть, как Даша выламывается в модном танце.

Он вернулся к столу, но не во главу, а подсел к своим коллегам — к Ромашевичу, к Витьке Шугачеву, который никогда не танцевал, а выпить и закусить при случае был не прочь.

Шугачев уже успел профессору испортить настроение, раскритиковав его последние работы по теории архитектуры советского периода. Не соглашался с его оценкой жилых домов, строившихся до войны. Ромашевич, лекции которого лились, как песня, писал тяжело: мысль есть, а читаешь, будто камни ворочаешь. Когда-то, в молодости, когда Максим был еще студентом, Ромашевич сам с иронией говорил им об этом. Но теперь, познав вкус славы, критику своих трудов принимал вежливо, как надлежит интеллигенту, однако не слишком благосклонно.

Максим понимал, что́ Шугачев мог наговорить, и постарался «пролить елей» на раны старика. Немного осталось друзей, которых ему захотелось пригласить на свадьбу дочери. Зачем же им тут цапаться между собой? У профессора есть недостатки, но работает он как вол: на факультете, в Союзе архитекторов, дома, за письменным столом, в разных секциях, комиссиях и редколлегиях. Такого человека нельзя не уважать. Максиму захотелось выпить со своими. Там, рядом с Дашей, ничего не шло в горло. Кому действительно было горько, так это ему.

— Давайте, зодчие, выпьем.

— За твою дочку, Максим.

— Нет. За Владимира Осиповича. За ваш труд, профессор.

— За какой? — спросил Ромашевич, недружелюбно взглянув на Шугачева.

— За весь труд. Большой и многогранный. Вы наш крестный отец.

— Функциональная целенаправленность диктуется уровнем общественных потребностей. Предшественники наши понимали это лучше, чем мы, — упорно продолжал свою мысль опьяневший Шугачев.

— Бесспорная истина, Шугачев. — Профессору хотелось с честью выйти из баталии, он рад был, что появился Карнач, который на банкетах умел примирить самые полярные мнения. Ромашевич, как и Максим, не любил профессиональных дискуссий в нетрезвом состоянии.

— Хвали́те, хвали́те друг друга, — угрюмо откликнулся пьяный гость Прабабкиных, полный мужчина, сидевший против архитекторов, хотя до этого никто никого не хвалил, наоборот, спорили. — А вас надо, — он энергично махнул рукой, точно отрубил, — кри-ти-ко-вать!

— Мы ждем не дождемся такой критики, — пошутил Максим.

— Да? Ждете? — смягчаясь, усомнился гость, но, поняв, что над ним смеются, вспылил: — Ты, светило! Как ты строишь? Я не могу своего дома найти.

— Сегодня это и в самом деле трудно. Туман.

Архитекторы засмеялись.

— Ржете? Да? А надо плакать. Туман? А кто напустил тумана?

Ганна Титовна, должно быть, знала характер этого

гостя или услышала, как он разговаривает с отцом невесты и его друзьями. Позвала:

— Антон Иванович!

Толстяк сразу встал.

— Галя! Одну тебя люблю. А они... — и махнул рукой так, словно хотел смести всю компанию архитекторов.

Не смеялся только Шугачев. Вдруг помрачневший, что с ним редко случалось, Виктор хотел одного: продолжать затеянный им серьезный спор. Может быть, в подпитии ему казалось, что если он всем докажет, что нельзя строить по существующим нормам, то хотя нормативы от этого не изменятся, ему легче будет работать над своим Заречьем, сознавая, что все его поддерживают и понимают. Его разозлило и огорчило, что теоретик, профессор, автор книг, по которым учился Игорь и учится Вера, убежденно доказывал, что архитекторы в наше время имеют такие возможности, о каких зодчие прошлого не могли и мечтать. А серость объясняется просто массовостью. Масштабы строительства потребовали целого корпуса архитекторов, которых быстро и плохо учили и которые не накопили еще опыта.

Профессор сыпал цитатами:

— «Юность и здоровье гарантируют возможность творить много, но потребуются десятки лет, чтобы творить хорошо». Кто это сказал? «Проблема дома — проблема эпохи».

— Сто раз слышал, но никогда не соглашался. Начетчики вы и талмудисты! Красиво умеете говорить.

Они смеялись над «критиком», который не может найти своего дома. Шугачев оборвал шутки коллег:

— Он здорово сказал. Напускаем тумана. В тумане этом друг друга не видим. А нас не видят люди, у которых есть власть решать наши проблемы. Один Ромашевич может накоптить столько, что света белого не увидишь.

Архитекторы притихли в предчувствии скандала.

Максим возмутился:

— Витя! Ты портишь мне праздник. Проси прощения у Владимира Осиповича.

— Зачем прощения? Творческая дискуссия. У нас и не такое можно услышать, — сказал профессор с улыбкой, чтоб замять неловкость, но, видно, обиделся.

Опять их выручила Ганна Титовна. Как она зорко следила за всеми гостями! И как ей хотелось, чтоб свадьба была веселая!

Подошла незаметно из-за спины Максима, положила ему руку на плечо.

— Не надоели вам, друзья, серьезные разговоры? Идемте танцевать. Кто хочет со мной станцевать вальс?

Максим увидел, как смешались его друзья, сидевшие напротив, через стол.

— Я неплохо танцевала, — упавшим голосом сказала женщина.

Максим вскочил.

— Я, Ганна Титовна!

Все потянулись за ними в общий зал, чтоб посмотреть, как будет танцевать эта необыкновенная женщина в солдатской гимнастерке с орденами и медалями, с пустым рукавом. Даже Шугачев, которого до этих пор, казалось, ничто не интересовало, кроме его архитектурных проблем и желания доказать профессору, что от теоретиков в немалой степени зависит, когда советская архитектура сделает новый качественный скачок, тоже пошел, хотя никогда не танцевал и не любил танцев в ресторане.

В зале танцевали под модную песенку, совсем невеселую, минорную. Шугачева и это разозлило,

потому что танец как бы подтверждал его несогласие с Ромашевичем. Выходит, даже под траурный марш Шопена можно выламываться так, как выламываются эти парии и Максимова Даша. А значит, и под любую «архитектурную музыку» можно «танцевать» как кому вздумается. Ему, традиционалисту Шугачеву, воспитанному на образцах классической архитектуры, трудно принять этот разрыв между теорией, богатой и стройной, и практикой, в которой очень часто от красивых профессорских рассуждений остаются лишь рожки да ножки. Странно, что профессор считает это закономерным. Идет великий эксперимент, говорит он, во всех видах и жанрах искусства. Пишем серьезную музыку, а танцуем вот так...

Ганна Титовна сама подошла к оркестрантам и заказала вальс. Те долго советовались между собой, листали ноты.

Шугачев почему-то со страхом подумал: «Неужто не умеют?» Странно, ему, обычно равнодушному к танцам и к музыке вообще, вдруг очень захотелось, чтоб заиграли вальс, тот, старый и знакомый, под который танцевал когда-то и он. Нет, не с Полей. В Берлине, на площади, в День Победы. С незнакомыми девушками-солдатами. Его желание исполнилось. Правда, заиграли не тот вальс, о котором он думал, но тоже знакомый, военный — «Осенний сон».

Ромашевич пригласил Дашу. Но они не успели начать, потому что в круг вышли Ганна Титовна и Максим. И тогда они остановились. Очевидно, многие, кто подошел, чтоб танцевать вальс, тоже остановились среди зрителей. А потом начали подходить любопытные из глубины зала. И все смотрели на эту необычную пару, на поседевшую женщину, которая как бы пришла оттуда, с войны, с передовой. И, будто для контраста, кружились и те, молодые и красивые, которые родились после войны и имели счастливую возможность танцевать так часто, что довели свое умение до виртуозности. Но смотрели не на них. Смотрели на Ганну Титовну, которая явно давно уже не танцевала,

да и непривычно ей и неудобно было вальсировать с одной рукой. Даже оркестрантов что-то задело за живое — мастерство ли молодых или душевный взлет этой женщины, — и они играли не по-ресторанному, с подъемом.

Собралась целая толпа, как на танцплощадке в санатории.

Шугачев, которому спор с профессором испортил настроение, вдруг почувствовал, что ему хорошо — грустно, но и радостно. От умиления, восторга, что жизнь побеждает, по щекам текли слезы, и он не стыдился их, вытирал ладонью, забыв о носовом платке.

Все вокруг как бы расцветилось радугой. Ведь все хорошо на этом свете. И работа его, И теория Ромашевича, напрасно обидел старика. Надо извиниться. И эта молодежь. Их танцы — это же излучение энергии и радости, которые иногда переходят в детское озорство. Разве не такой же веселый и жизнерадостный район построил он в своем воображении? И построит в Заречье! Обязательно построит.

В начале вальса Ганна Титовна опять сказала, будто оправдываясь:

— Я хорошо танцевала, — и, пройдя полкруга, добавила: — Молодая.

Максим с грустью подумал: сколько у нее было той молодости? В восемнадцать лет на фронт. Что ей ответить?

— У меня в молодости не хватало времени на танцы. Научила жена. Она не могла жить без танцев.

— У вас интересная жена.

— О-о! Очень интересная.

— Но сегодня она почему-то нервничает.

— Правда? Да нет... она всегда такая.

Ганна Титовна ответила не сразу:

— Всегда такой быть нельзя.

— Она может.

Тут, в углу у оркестра, сумрачно, цветная подсветка, но Максим увидел, как сватья старается заглянуть ему в глаза, прочитать настроение и мысли.

«Проницательная женщина. Догадывается о наших отношениях».

— Старый хирург, который отрезал мне руку, чуть в обморок не упал, когда увидел, как я через две недели после операции вальсирую в коридоре госпиталя под музыку по радио.

От спазма в горле перехватило дыхание, и Максим сбился с такта.

Первыми сошли с круга молодые. Знали себе цену, как хорошие актеры, и боялись переиграть. Артистически закончили. И, наверно, были разочарованы. Их будто и не заметили. Но оркестр, видно, старался для молодых виртуозов и отомстил за невнимание к ним — оборвал игру неожиданно, вразнобой.

Все равно Ганне Титовне и Максиму захлопали. Только тогда женщина увидела, как много собралось вокруг людей, сконфузилась.

Даша встретила его на лестнице. Максим спускался вниз. Она поднималась наверх, подкрашенная, но все равно бледная, поблекшая какая-то, усталая; пока не увидела его, поднималась, понурив голову, тяжело опираясь на перила. Нельзя столько пить и танцевать в ее возрасте. Давно ведь жаловалась на сердце. Впервые за много месяцев Максим подумал о ней с заботой, как о близком человеке, пожалел даже. «Нервничает», — вспомнил наблюдение сватьи. Да, все это выламывание ее с молодыми — от отчаяния.

Увидела его, оживилась, кажется, даже обрадовалась.

— Ты!

Как будто они не сидели только что рядом за свадебным столом. А собственно говоря, и не сидели, потому что далеко они были друг от друга.

Максим хотел пройти мимо, но подумал, что, может быть, ей и в самом деле худо, потому и обрадовалась, что он рядом, может поддержать, помочь.

Нет, засмеялась Даша невесело, но она не была пьяна.

— Ты!.. М-м-ой благо-верный...

— Не кривляйся, пожалуйста.

Тогда она спросила серьезно, кивнув наверх:

— Тебе нравится этот маскарад?

— Почему маскарад?

Она помолчала, подумала — почему?

Объяснила неожиданно:

— Не такого мужа я хотела для Вили. И не таких свояков для себя.

Сочувствие к ней сразу потонуло, бултыхнулось, как камень в прорубь. Даже круги не пошли. Появился спасительный сарказм, который всегда выручал его и крепко бил того, кто его вызвал.

— Желанных для тебя родственников шуганули в семнадцатом.

Она брезгливо поморщилась.

— Ах, как остроумно! Ха-ха-ха-ха! Я хотела, чтоб Виля вошла в музыкальную семью. А не в семью домоуправов.

— В каждой семье своя музыка.

— О да! — вдруг серьезно согласилась Даша.

В зале заиграл оркестр. Она подняла голову, прислушалась, в глазах ее мелькнул нездоровый блеск.

— Не танцуй больше, — доброжелательно посоветовал Максим. — Ты плохо выглядишь.

Даша всхлипнула, как будто хотела заплакать, но не заплакала, наоборот, засмеялась.

Максим спустился на ступеньку, но она задержала его.

— У тебя есть деньги?

— Деньги? Да.

— Сватья сказала, что не хватает, чтоб рассчитаться за эту пьянку. Требует двести рублей.

Максиму стало как-то неловко и неприятно. Он сам говорил с Прабабкиным и о расходах на свадьбу. Поскольку с их, карначовской, стороны гостей меньше, Ганна Титовна просто, по-деловому, назвала сумму, которую они должны внести, что-то около трети всех расходов. И Максим так же просто отдал ей деньги. Что ж, выходит, передумали сваты? Стало неприятно. Но лишь на один миг. Тут же с веселым цинизмом рассудил: «А почему не передумать? Почему не сорвать калым? За жениха в наше время надо хорошо платить. К тому же люди, далекие от моей профессии, полагают, что архитекторы гребут деньги лопатой».

Деньги у него были. Занятые. У Поли, Поля сама навязала их. Когда они с Виктором собрались ехать сюда, в Минск, спросила, сколько у него денег. Денег у него было немного. Поля сказала, что с такими деньгами отцу невесты ехать на свадьбу нельзя, мало ли что может случиться. И предложила одолжить. Дала триста рублей мелкими купюрами — десятки, пятерки, трешки. Сразу видно, долго собирала. На обновы детям. Или, может быть, тоже на свадьбу — думала о женитьбе

Игоря, о Верином замужестве.

Максим никогда не жалел денег, они не задерживались у него в кармане, сколько ни зарабатывал. А тут этих занятых пятерок и трешек, что толстой пачкой лежали в кармане, ему было жаль. Даже противно стало. На что жалеет? На свадьбу дочери? Не оправдывайся, что жалеешь потому, что это Полины деньги, так нелегко собранные ею. Какая Поле разница, куда ты их потратишь и какими купюрами вернешь — сотней трешек или тремя бледно-розовыми бумажками?

Он торопливо сунул руку во внутренний карман, отделил несколько бумажек (на билет домой), вытащил пачку, протянул Даше. В лицо ей не смотрел, не хотел видеть, что на нем отразилось. Через две ступеньки побежал вниз.

Только в умывальнике перед зеркалом подумал, что было бы логичнее и правильнее самому предложить эти деньги Ганне Титовне. Как бы она обосновала свое требование?

Отмахнулся от мысли о деньгах: глупости. Есть о чем думать! Но настроение еще больше испортилось.

Свадьба шумела веселей. Гости перезнакомились, подвыпили, Шугачев и Ромашевич помирились и, как студенты, пили на брудершафт. Архитекторы целовались с отставным полковником, который не мог узнать свой дом.

Максим поймал себя на том, что ему хочется напиться до такого же состояния, чтоб не узнать своего дома. Дурная примета! Постарался удержаться. Вернулся к молодым, сел рядом с Виолеттой.

Дочь за один этот торжественный день изменилась удивительно. Еще вчера она была совсем другой, какой знал ее с малых лет, ко всему, что делалось для подготовки свадебного торжества, относилась с веселым легкомыслием, как к детской игре. Это беспокоило отца: уж не модная ли игра для нее и

замужество? А сегодня, на свадьбе, она... нет, не грустная, но уже не бездумно-беззаботная, серьезна, как перед вступительным экзаменом.

Удивило хозяйское ее внимание.

— Карик, по-моему, на том конце нечего пить.., Передай рыбу на левое крыло. Нам тут понаставили, будто мы из голодного края.

Когда кричали «Горько!», поднималась первая и первая целовала мужа без смущения, застенчивости, как на серебряной свадьбе, разве что слишком долго.

Раньше огорчало Ветино легкомыслие. Но и эта ее зрелая практичность не порадовала. Материнские контрасты. Даше всегда не хватало чувства меры. Чего доброго, такая Вета, какой она показала себя сегодня за столом, через неделю захочет командовать Ганной Титовной. Надо с Ветой поговорить. Конечно, не сейчас и не здесь.

Она и о нем проявила заботу:

— Устал, папа?

— А ты?

Улыбнулась.

— Невеста не имеет права уставать. Как считаешь, ничего?

— Все хорошо.

Вот так, он здесь в гостях.

— Ганна Титовна заказала еще водки. Напрасно.

«Отчего это — от скупости или из боязни, что перепьются? Как я плохо знаю свою дочь».

— Я задам тебе один банальный вопрос.

— Счастлива ли я?

— Семейное счастье — понятие, для проверки которого требуется время. И немалое.

— У тебя было время для проверки. Ты счастлив?

— Родителям таких вопросов не задают.

— Почему? Мама вчера сказала, что она несчастна.

— Ты знаешь свою мать. Настроение — ее хозяин. Я не хотел бы, чтоб ты была похожа на мать... в семье.

— Вот ты и ответил на мой вопрос. Скажи, можно всю жизнь любить человека?

— Можно. Это как раз то, что называется счастьем.

Корней, который разговаривал с одним из своих подвыпивших товарищей, повернулся к ним, чтоб послушать, о чем говорят отец и дочь.

— Давай свой банальный вопрос. Ответим вместе с Корнеем. — Она положила руку на руку мужа.

Когда они остались вдвоем в шумном зале впервые за весь суматошный день, у него появилось странное желание спросить у дочери... хочет ли она иметь ребенка? Вопрос этот не был банальным. О банальности он сказал, чтобы придать ему шутливый оттенок. Обо всем остальном они так или иначе говорили раньше. Этот же вопрос до ее замужества не мог возникнуть. Возможно, что и сейчас он неуместен и в какой-то степени бестактен. Но ему хотелось знать, как дочь относится к тому, что стало началом их разлада с Дашей. Знал, Вета удивится. Знал, ответит, что надо окончить консерваторию. Однако по тому, как она удивится и как скажет, можно будет понять, сопоставить кое-что и сравнить. Но теперь в разговоре участвовал третий — ее муж. И Максим почти обрадовался, что Корней помешал ему задать этот вопрос, все-таки слишком тонкая и деликатная тема для беседы отца с дочерью.

— Я хотел спросить... любишь ли ты меня?

— Папа! — Вета засмеялась, обняла его и три раза поцеловала в щеку.

После Ветиного вопроса «Устал, папа?» и разговора с ней он действительно почувствовал усталость. Едва дождался, пока гости начали расходиться. С ним прощались как с хозяином. А он ушел, ни с кем не простившись. С дочкой, зятем и его родителями завтра встретится.

Но в фойе его ждала Даша. Взяла под руку. Максима даже передернуло. Меньше всего хотелось сейчас выслушивать ее, разгадывать очередную хитрость, а без хитрости, направленной к собственной выгоде, эта женщина и слова не вымолвит.

Почти грубо высвободил руку.

— Что, опять не хватило денег?

Даша сделала вид, что обиделась.

— Ты можешь без грубости? Не хочу идти ночевать к ним. Ненавижу твоих Прабабкиных. Возьми меня в гостиницу.

Что это, надежда на примирение? Поздно. Надо ответить ей решительным «нет». Но не ответил. Задумался. Она ждала, искательно заглядывая ему в лицо. Максим думал не о ней и не об их отношениях. Все решено, и не может быть ни возврата, ни компромисса, слишком часто он шел на компромиссы, хватит. Он подумал о дочери и о сватах. Как они к этому отнесутся? Не хотелось, чтобы все открылось сегодня.

Максим угрюмо направился к вешалке, нашаривая в кармане номерок. Даша шла следом, притихшая, покорная, но на губах ее блуждала лукаво-торжествующая ухмылочка.

В вестибюле гостиницы возле администратора толпились люди, хотя перевалило за полночь. Мест не было, однако командированные, как верующие у святыни, надеялись на чудо или на милость немолодой

«богини» с крашеными волосами и заштукатуренными пудрой морщинами, которая сидела за священной загородкой, равнодушная к любым самым высоким словам и молениям, кроме единственного — броня.

На лифте они поднялись на пятый этаж, где у Максима был номер на одного.

Дежурная по этажу была новая, не та, которой Максим отдал ключ днем. На вид простая женщина, однако явно недовольная то ли своим ночным дежурством, то ли жизнью вообще.

Когда Максим назвал свой номер, подозрительно осмотрела его и Дашу и спросила недоверчиво:

— Вы у нас живете? Как ваша фамилия?

Фамилия убедила женщину, что этот человек действительно живет здесь, но теперь подозрительное внимание ее целиком переключилось на Дашу.

— А вы?

Даша не обиделась, засмеялась. Расстегнула шубу, открыв свое искрящееся вечернее платье, и села в мягкое кресло против дежурной, как бы предчувствуя, что объясняться Максиму придется долго.

— Это моя жена. Мы были на свадьбе. Вышла замуж дочь. Она здесь учится, в консерватории. Жена ночевала у родителей жениха. Но сейчас, когда там молодые... другие гости... знаете, тесно, квартира небольшая...

Сдерживая раздражение, он старался говорить мягко и убедительно, надеялся, что такое событие, как свадьба, не может оставить равнодушной молодую женщину. Один на один он уговорил бы любого сухаря, любой синий чулок. Но мешала Даша. Ее явно забавляла создавшаяся ситуация: он должен доказывать, что она его жена. Она едва сдерживала смех. Положила ногу на ногу, выше, чем надо, неприлично для ее возраста подтянула платье. Более того, принялась подкалывать:

— Это вы так следите за нашими мужьями? Класс! Напрасно мы боимся отпускать их в командировки. От имени жен приношу вам глубокую благодарность.

Видом своим и поведением Даша сводила на нет все его попытки. Максим старался настроиться на юмористический лад. Но юмор, который спасал в более трудных обстоятельствах, тут из легкой и блестящей субстанции превращался в тяжелые черные камни. Если бы он хотя бы один такой «юмористический» камень швырнул в Дашу, она не осталась бы сидеть в этой неуместной позе. И ночевать ей здесь не пришлось бы. Но, пылая злостью на обеих этих баб с их странной логикой, он вынужден был сдерживать все эмоции, кроме веселой почтительности к дежурной. Но та ни на какую наживку не клевала, ничто на нее не действовало.

— Паспорт у вас есть? — спросила она у Даши.

— Паспорт у тебя есть? — нетерпеливо шагнул к Даше Максим. Черт возьми, с этого надо было начинать. Зачем столько слов, когда есть бумажка! Верят бумажке — не человеку.

Даша заглянула в сумочку.

— Паспорта я не взяла.

Дежурная как будто обрадовалась, что заподозрила Дашу, и голос ее, до тех пор сонный и флегматичный, зазвучал удивленно и саркастически:

— И паспорта у вас нет? Милая моя!

— Зачем мне паспорт, когда у меня есть муж, — раздраженно сказала Даша.

Очевидно, слова эти или Дашино раздражение подействовали на дежурную больше, чем уговоры. Она начала как бы оправдываться, но не перед Дашей, перед ним, хозяином номера:

— Не могу я пропустить вас обоих в такое время.

— У вас просто монастырь! Святоши! — Даша начала злиться.

— Обратитесь к дежурному администратору...

Лифт не работал, поздно, и Максим поднимался по лестнице тяжело и долго, как на эшафот.

Даша давно уже была в номере. Разделась. Даже постелила. У шкафа стояли ее сапоги. На спинке стула висело платье. Сама она находилась в ванной. Журчала вода.

Максим стал снимать пальто и вдруг застыл. На столе лежала ее перламутровая сумочка. Видно, она брала из нее расческу или помаду и забыла закрыть. Максим увидел пачку денег, которые два часа назад дал ей, — трешки и пятерки, нелегко собранные Полей.

Никому Даша денег этих не отдала, потому что никто и не просил их. Нагло обманула. Только бы вырвать у него. Так всю жизнь — ни слова правды, одна хитрость и обман. Во всем. Стало тошно. Даже горечь почувствовал во рту. Чуть не вырвало. Опять закружилась голова.

Бросил пальто в мягкое кресло, сел на него, закрыл глаза. Комната качалась, как каюта корабля во время шторма. Лилась вода. Казалось, водяной вал катится на него и вот-вот захлестнет. А он ожидал без страха, с нетерпением: скорее бы потонуть! Но когда вода перестала литься, вернулся к действительности. Протянул руку и со злостью хлопнул по сумочке. Щелкнул замочек. Чтоб не выслушивать еще одной лжи.

Даша вышла из ванной в розовой прозрачной комбинации, в туфлях на высоких каблуках, в которых танцевала.

Максим снова закрыл глаза.

Она постояла перед ним.

— Ты не заснул?

Он не ответил.

Она нырнула под одеяло.

— Я приняла душ. И озябла. Вода чуть теплая. Но зато смыла всю свадьбу. — Она засмеялась. — Ты хотел бы жениться еще раз? Чтоб была такая свадьба?

Он не отвечал.

Она долго молчала, раза три громко вздохнула.

— Ты решил провести ночь в кресле? Выдерживаешь принцип?

— Я многому от тебя научился.

Она сперва засмеялась, потом всхлипнула.

— Я слабая женщина. И я люблю тебя, упрямого дурака.

Он попросил тихо, почти ласково:

— Даша, не надо. Поздно. Мы все сказали друг другу.

— А я люблю тебя! — гневно и требовательно крикнула она и заплакала навзрыд, по-настоящему, вправду.

— Ты пьяна. Спи.

Боялся, что она учинит скандал. Начнут стучать соседи. Позвонят дежурной. Только этого ему не хватало после такого вселения.

Нет, на этот раз она повела себя разумно. Минут десять всхлипывала. И вдруг ровно засопела носом — уснула, как дитя.

Максим почувствовал облегчение, хотя его качало и снова появились симптомы «морской болезни». На рассвете, когда Даша беззаботно спала, он тихо вышел из гостиницы и первым самолетом вылетел домой. От

себя уже позвонил сватам, сказал, что его срочно вызвали. Было воскресенье, Ганна Титовна с обидой и удивлением сказала:

— В выходной день? — не поверила, но не спросила, чем же он недоволен.

XVIII

Игнатовичу позвонил работник Совмина Кришталев. Когда-то они вместе работали в комсомоле. Как будто бы дружили, ходили друг к другу в гости, вместе отмечали праздники, общие и семейные. Но, пожалуй, ни разу не поговорили серьезно, всегда, и на работе и дома, с иронией, со смешком, со шпильками. Так складывается либо между людьми очень близкими, чего здесь не было, либо в тех нередких жизненных ситуациях, когда люди стремятся к одному результату, но не очень верят, что достигнут его. Как иной раз спортсмены на соревнованиях. Выйдя на дорожку, поглядывают друг на друга с ревностью, хотя отлично знают, что ни один из них чемпионом не станет, чемпионом станет третий, чужой, не из их команды. Потому и перекидываются ироническими словцами.

Вырвался ли кто-нибудь из них вперед? Игнатович не испытывал ревности к Кришталеву, хотя тот занял должность, которая позволяла ему звонить сверху вниз и подписывать указания, которые он, Игнатович, должен выполнять, несмотря на то, что формально бумаги эти не ему направлены. Теперь на «соревнованиях» они выступают как бы в разных видах, или, может быть, правильнее, в разных весовых категориях, а потому не являются соперниками. Но у Кришталева осталась все та же комсомольская ирония по отношению к другу, что не слишком нравилось Игнатовичу. Тем более что свою иронию он неизвестно когда и где утратил. И это как бы давало Кришталеву перевес.

Игнатовичу давно начало казаться, что тот нарочно лезет на его «дорожку» — звонит чаще, чем надо. Не по

адресу. Его обязанность звонить в советские органы — председателям исполкомов. Но не пошлешь же его к дьяволу, не скажешь: звони Кислюку.

Близкий, точно из соседнего кабинета, знакомый голос, который Игнатович узнал бы из тысячи других— этакое ленивое, насмешливое мурлыканье:

— Герасим сын Петров? От меня тебе нижайшее... От всей комсомольской гвардии тоже. В добром здравии?

— А как же иначе, если вся гвардия за меня молится день и ночь.

— Очко. Снег идет?

— Вьюга. Все улицы замело. А снегоочистителей не хватает.

— Не плачь. Не помогу. Не моя епархия.

«По твоей тоже не чувствую помощи», — подумал, но не сказал, иронии не получилось, слишком выглядело серьезно. А серьезно нельзя. Вот ему, Васе Кришталеву, выходит, можно и так и этак.

Сказал с оттенком обиды:

— Ладно, не помогай. Но не режь того, что нам положено.

Кришталев закричал уже всерьез:

— Я тебя режу? Нахал ты, Герасим! Это ты нас режешь.

— Я?

— У тебя не хватает силы призвать к порядку своего архитектора? Или это ход конем?

— Какой ход?

— Люди становятся изобретательны, когда хотят спокойной жизни... без лишних хлопот.

— Василий! Отрываешься от низов. Какой это дурак станет отказываться от такого объекта?

— То-то и оно. Любой город за такой комбинатик сказал бы спасибо. А ваши ничего умнее не придумали, как сунуть палку в колеса. Подготовленный проект... Завизированный всеми заинтересованными организациями. Погоди, — в трубке зашелестела бумага. — Да и твой автограф здесь, в левом углу снизу.

— Каждый имеет право высказать свое частное мнение. В любой инстанции...

— Частное? Насколько я помню, этот Мохнач или Лихач — твой свояч, — засмеялся Кришталев, довольный собственным словотворчеством.

У Игнатовича перехватило дыхание. Это тот случай, когда надо подумать, что ответить. Сказал осторожно:

— Надо знать этого свояка.

Но осторожность обернулась против него.

— Не хватает духу дать ему по мягкому месту? — уже не с иронией, с сарказмом спросил Кришталев. — Гляди, за него получишь ты.

— Василий! Не стращай. И так дрожу как лист осиновый. От слов твоих.

Наконец ирония равного.

— Зачем мне тебя стращать? Это сделают другие. Знай, у нас недовольны. Назначили комиссию. Тебе не хватает комиссий? Будь готов принять еще одну.

— Всегда готов! — ответил Игнатович по-пионерски весело.

Но когда положил трубку, почувствовал, что от этого веселого разговора у него взмокли спина, лоб. И участился пульс. Хотя пока что волноваться нечего. Он вел себя совершенно естественно. И ничего еще не

произошло. Продолжаются поиски оптимального решения. Творческая дискуссия, совершенно нормальная в эпоху научно-технической революции. И однако... все ли будут рассуждать так, как он, а не так, как Кришталев? Свинья все-таки этот Кришталев! Лучший друг! Словечка не вымолвит без своей идиотской подначки. Ведь он докладывал руководству о письме Карнача. Можно представить, как доложил. Разумеется, не преминул сказать о его родстве с Карначом и о том, что он, Игнатович, поначалу тоже выступал против посадки «химика» в Белом Береге. Мог и про жажду спокойной жизни сказать. Наверно, сказал. Но вдруг с Кришталева злость его перекинулась на Карнача. Все из-за него, из-за этого упрямого черта, из-за его безответственности, зазнайства.

Положение Игнатовича требовало от него умения соблюдать объективность всегда, чтоб его личные эмоции, чувства, неприязнь или любовь к тому или иному человеку не определяли места этого работника в коллективе, в обществе, отношения к нему со стороны официальных органов. Он почти гордился, что в весьма сложных сплетениях обстоятельств ему удается сохранить объективность. Вот и с Карначом. Кто-нибудь другой за подобные выходки уже давно распрощался бы с таким свояком. А он заглушил свой гнев настолько, что, когда Даша и Виолетта пригласили на свадьбу, готов был поехать. Лиза не посоветовала. Лиза молодчина. Дав волю своей злости тогда, на улице, после театра, она на другой день успокоилась, к ней вернулась обычная рассудительность. Больше она не настраивала мужа против Максима, не требовала кары на его голову, партийного воздействия. Приглашение они обсуждали долго, целый вечер. Сперва решили, что поедет одна Лиза. Но перед самой поездкой Лиза загрипповала. И опять-таки он был благодарен ей, что она не поехала одна, без него. Однако племянницу не забыла. Верная традиции, послала Виле телеграмму и щедрый подарок.

Он радовался своей снисходительности, объективности. Пусть не думает Карнач, который, как каждый человек

с нечистой совестью, становится подозрителен, что Игнатович ему враг. Может быть, не друг уже, каким был, но и не враг. Хорошо работай, строй город, и нам нечего с тобой делить. Только знай, партийными принципами Игнатович никогда не поступится. За развод с женой, за связь с Галиной Владимировной накажем со всей строгостью.

Таково примерно в общих чертах было его отношение к Максиму до разговора с Кришталевым. Разговор все перевернул.

Не ирония комсомольского друга, не страх перед комиссией и не напоминание о его позиции при выборе места под комбинат, а именно этот неожиданный, как рецидив, гнев против Максима выбил его из рабочего ритма, испортил настроение, отвлекал весь день от дел. Даже с Галиной Владимировной он говорил сугубо официально, кратко, подчеркнуто вежливо.

Пришел домой, и там первые слова, которые услышал от жены, — о Максиме. Куда девалась Лизина сдержанность. Она опять кипела.

— Я уговорила Дашу сделать все, чтоб сохранить семью. И она согласилась. После свадьбы пошла к нему в гостиницу, просила, умоляла, унижалась. Он оскорбил ее самым подлым образом! Даша приехала зеленая. Хоть в петлю бедняге лезть. Теперь уже никакой надежды. Наивна я была! Верила, что неглупый человек, опомнится как-нибудь. Куда там! Такая, как твоя секретарша, любого с ума сведет. Не удивлюсь, если завтра ты...

Измученный за день тяжелыми мыслями, Герасим Петрович шел домой, надеясь, что поговорит с женой, выскажет свои тревоги и сомнения и ему станет легче, как случалось не раз. Лиза со своей женской мудростью умеет все поставить на место и истолковать наилучшим образом в его пользу. И вот тебе на! Все мы объективны, пока не заденут нас. Из-за сестры она готова оплевать не одного Карнача...

Герасим Петрович не выдержал, взорвался:

— Поплачь над несчастной судьбой своей сестрички! Позеленела... Отчего она позеленела? От глупости своей! Дура она, твоя Даша, набитая гнилой соломой! Удивляюсь, как Карнач столько лет жил с ней. И ты из-за сестры не натравливай меня на людей! Мне работать с ними! Я не желаю валить все в одну кучу.

Лиза обычно хорошо улавливала душевное состояние мужа. Поняла, что кто-то испортил ему настроение и что это каким-то образом связано с Карначом. А Герасиму хочется сохранить свою высокую принципиальность. В таких случаях — Лиза знала из многолетнего опыта — лобовая атака не подходит. Нужен другой маневр — спокойствие, ласка, затяжная осада и постоянное «капание на мозги». Не стоит трещать сорокой. Лучше куковать кукушкой. Мало есть мужей, которых умная жена не заворожила бы своим кукованием.

Кроме того, сестра сестрой, но если у Герасима действительно неприятности на работе, тут надо не бередить рану, а узнать, отчего она, и лечить самыми целительными средствами.

Игнатовича насторожило, что Сосновский не отправил комиссию в горком и даже не поручил секретарю обкома по промышленности заняться этим, уже, по сути, решенным на высшем уровне делом, а взялся за него сам. Созвал широкое совещание. Сам позвонил Игнатовичу, обязал его присутствовать и обеспечить явку ответственных работников горкома, горсовета, архитекторов Карнача, Макоеда, Шугачева... Такая поспешность и такой широкий форум говорили о том, что Сосновскому тоже кто-то звонил и что в истории с «привязкой» комбината появились какие-то новые аспекты. Какие? Почему Сосновский ничего не сказал ему, Игнатовичу? В конце концов, он больше, чем кто бы то ни было, занимался комбинатом — выбивал его и вел дискуссию с министерством о месте посадки, до обкома прежние баталии доходили лишь через его информацию.

Но тревожило даже не то, что дело, таким образом, перешло в высшую инстанцию, а его, Игнатовича, оттерли. После письма, которое сочинил этот анархист, и не такого еще можно было ждать. Беспокоило другое. Раньше он поддерживал Карнача в споре о месте. А потом отступил. Но отступил после того, как министерство пригрозило, что будет просить площадку в другом городе и даже в другой республике. Тот же Сосновский, да и еще многие голову бы ему снесли, если б такой комбинат — на сотни миллионов рублей! — был упущен из-за мелочи — недоговоренности, где его посадить.

Но как Сосновский отнесется к его тактическому отступлению? У Леонида Миновича свои принципы, иногда совсем неожиданные, немного старомодные. Вспомнились его слова о дружбе. Смешно, разумеется, соотносить решение больших, можно считать, глобальных вопросов политики и экономики с переживаниями отдельных людей, с тем, что у них нелады в семье или дала трещину дружба. Однако же ему, Игнатовичу, на его нелегком посту приходится учитывать и это, особенно когда живешь и работаешь под зорким оком такого человека, как Сосновский. Упаси боже заронить в нем сомнение в твоих познаниях, компетентности, принципиальности — во всем том, что включает в себя емкое слово п р е с т и ж.

Народу собралось много.

«Зачем столько? — подумал Игнатович. — Любит дед разводить демократию».

Карнач и Шугачев примостились в конце длинного стола.

Максим волновался, как перед экзаменом. Странно. Давно уже так не волновался на более ответственных собраниях, при обсуждении его собственной работы. А тут ведь ничто ему не грозит. Ему нет. Но городу, людям... А город этот стал близким и дорогим, и ему небезразлично, как он будет застраиваться. Даже после его смерти, при внуках и правнуках. Куда будет расти и

что сохранит из того, что сейчас мило ему, главному архитектору. Нет, даже не архитектору, просто гражданину этого города. За дубраву в Белом Береге он костьми ляжет.

Сосновский, который обычно каждого встречал шуткой, сидел хмурый, словно недовольный, что его оторвали от дел более насущных: снижаются надои молока, и он уже много дней ломает голову над причиной. Что случилось? Сенажа заготовили больше, а молока получают меньше.

На Карнача Сосновский и не глянул, хотя кому-то тут, на их конце стола, заговорщицки подмигнул. Максим оглядел своих соседей. Кому? Неужто Макоеду? Дело дрянь, если Макоед стал у Сосновского консультантом по архитектуре.

— Кто у нас докладчик сегодня? Или без доклада будем?

Поднялся начальник архитектурного управления облисполкома Голубович.

Максим даже крякнул. Кто поручил это Голубовичу? Дядя он ничего. Но никакой не архитектор, по образованию землеустроитель, межевик. Занимал разные должности, руководил и сельским хозяйством, и народным просвещением до того, как судьба привела его в архитектуру. Что такой человек может сказать в защиту Белого Берега? Да еще в своем предпенсионном возрасте. В таком положении люди становятся весьма осторожны.

Максим не раз шутил: как бы возрос уровень работы, если б на пенсию выходили по жребию, а не ожидали ее, как приговора или праздника.

Голубович приятно удивил Максима. Он начал с генерального плана развития города, застройки и реконструкции его. С указкой, как старый учитель, рассказывал подробно, в деталях, несколько даже приподнято, словно радуясь, что и сам он имеет

некоторое отношение к этому плану.

Сосновский сперва слушал как бы невнимательно, потом — долгое время — с удивлением и интересом.

Остановил Голубовича:

— Ты что, вздумал убаюкать нас лекцией о генплане?

Начальник управления не растерялся:

— Леонид Минович, без ознакомления с планом нельзя представить перспективу роста города. Куда ему лучше расти.

— Спелись вы с Карначом, — сказал Сосновский, но, судя по интонации, скорей с одобрением, чем с укором.

— Мы на этой спевке друг друга за чубы трясли.

— Это вы на людях хватаетесь за чубы. Чтоб поднять цену на свой товар.

Присутствующие засмеялись.

— Сколько еще вам надо времени?

— Пять минут.

Голубович говорил больше, и Сосновский не остановил его, только, когда тот кончил, неопределенно протянул:

— М-да-а... Хитро ты подвел. Но считай, что не все тут догадливые. Где же нам сажать комбинат?

— В Озерище.

Представитель министерства, молодой человек с бакенбардами, в новом, с иголочки, костюме и модном галстуке, больше похожий на артиста, чем на химика, не выдержал, подал голос:

— Леонид Минович! Прошу простить за внеочередное заявление. Но если нас пригласили сюда, чтоб навязать площадку, от которой министерство отказалось с

самого начала, то, простите, мне нечего здесь делать, — и задернул «молнию» на своей ярко-зеленой папке, как бы собираясь покинуть совещание.

Сосновскому такая демонстрация не понравилась, и он сказал вежливо, но язвительно:

— Министерство обсуждает место. Но, насколько мне известно, не министерство окончательно решает, где строить такой объект. Давайте, товарищ Платков, выслушаем и другие мнения. У нас демократический централизм. Кто рвется в бой?

Представитель покраснел, как опороченная невеста, съежился, и как-то сразу все на нем поблекло, даже яркий галстук, а баки показались нелепыми, будто приклеенными.

Виктор Шугачев сжал Максиму колено.

— Молодчина, — одобрил он Сосновского.

Выступил ответственный работник Госстроя республики, известный архитектор, отягощенный званиями и лауреатскими медалями.

Человек это был энергичный, гибкий руководитель, с острым чувством нового. Должно быть, эти качества помогали ему, никто не мог сказать, что он бездействующий архитектор, что успех загубил его талант. Максиму, правда, далеко не все нравилось в его работах, и вообще отношение к Александру Адамовичу у него было двойственное. Но вместе с тем на своем посту главного архитектора он во многом следовал шефу, учился у него.

Говорить Александр Адамович мастер. Артист.

— Дорогие товарищи! Прежде всего я хочу поблагодарить обком и лично Леонида Миновича за то, что он так оперативно собрал представительное совещание. Это, товарищи, симптоматично. Такое внимание к архитектуре мы сейчас чувствуем со стороны всех партийных и государственных органов,

широкой общественности. Это поможет нам, советским зодчим, еще лучше, с меньшими накладками и ошибками решать сложные задачи, поставленные перед нами партией и народом... По сути дела, которое собрало нас здесь. Скажу откровенно, нам в Госстрое понравилась записка Максима Евтихиевича. Мы можем гордиться, что у нас такие главные архитекторы. И выступление товарища Голубовича. Это же здорово, товарищи, когда архитектурные управления, областные и городские, так борются за осуществление генплана развития города. Но, дорогие товарищи... Да, н о... Первое. Как давно уже сказано людьми, которых мы можем назвать нашими учителями, план — не догма. Максим Евтихиевич, не качай головой. У всех нас, архитекторов, есть одна болезнь... Старая инерция — боязнь промышленного комплекса в городской структуре, боязнь, что он не впишется в ансамбль будущего района. А между тем это неоправданная боязнь. Не только в масштабах Союза, но и в республике мы уже давно доказали, что промышленные комплексы могут активно влиять на архитектуру городов. Именно промышленные комплексы с яркой объемно-планировочной структурой, с выразительной композицией в сочетании с общественными и жилыми зданиями могут создать действительно современный архитектурный ансамбль... Я убежден, это единственно правильный путь советской архитектуры. Мы не можем и не будем строить городов-спален на манер шведских городов-спутников. Такие города отчуждают людей, разъединяют...

Максим не выдержал:

— Александр Адамович! Не по этой линии наши основные возражения, хотя я не верю, что такой комбинат может украсить район. Но не это главное. Главное в том, о чем мы теперь очень часто говорим и пишем. Как сохранить живую среду. Белый Берег с его дубравой — драгоценнейший дар природы. Легкие города. Неужели непременно надо отравить их?..

Сосновский слегка постучал карандашом по столу,

пошутил без улыбки:

— Не перебивай начальство, Карнач, а то оно тебе припомнит.

Александр Адамович рассмеялся.

— Да нет, ничего, Леонид Минович. Мы с Максимом Евтихиевичем лет двадцать уже как спорим. Истина рождается в споре.

После руководителя Госстроя сразу попросил слова Макоед. Он, пожалуй, один подготовился к совещанию так же тщательно, как Максим. И разделывался с его письмом в Совмин по пунктам, по каждому абзацу.

Максим сперва удивился: кто ему дал прочитать письмо? Но разве трудно догадаться? Игнатович. Копия только у него.

Не разозлился. Наоборот, пожалел бывшего друга. «Кого ты берешь в консультанты? Опомнись, Герасим!»

Платков, представитель министерства, лучше, чем кто бы то ни было из местных работников, вооружился экономическими расчетами. Сыпал цифрами, как горохом. Хотя, подумал Максим, совсем не нужно столько цифр, которые все равно не запоминаются, чтоб доказать простую вещь, очевидную — строительство комбината в Озерище обойдется дороже. Платков уточнил: на восемь процентов. И с пафосом воскликнул:

— Товарищи! А вы представляете, что такое восемь процентов при таком объеме капиталовложений? Кто нам разрешит выбрасывать миллионы народных денег? Мы пустим миллионы на ветер. Современные очистные системы практически гарантируют полную очистку отработанной воды и газовых выбросов.

Максим попросил слова после Платкова.

Сосновский сказал, невозможно было понять, всерьез или в шутку:

— Вы же все написали.

— Не все. Я хочу добавить.

Сосновский посмотрел на стенные часы, как бы предупреждая: говори, но недолго.

— Я хочу начать не с сегодняшнего дня, не с сегодняшних нужд. Я хочу попросить вас заглянуть лет на двадцать вперед и пройтись по городу где-то в конце нашего века. У кого хватает фантазии. А без фантазии мы не можем строить. Мир преображают фантазеры. Голубович хорошо защищал генплан реконструкции и строительства города. Но лично я, Александр Адамович, уже вижу, что у нас с вами не хватило фантазии или, вернее сказать, мы боялись дать ей простор, мы все время надевали на нее узду. Однако сама жизнь подсказывает, что город с этого крутого безлесною берега, где он построен семь веков назад как крепость, рвется туда, за реку, на луг, ближе к лесному массиву, к природе... Мы не задумываемся над тем, что это становится органической потребностью людей. А все решают люди. Они создают планы, подают заявки на места застройки. Кто-нибудь интересовался этими заявками? Семьдесят процентов рвутся в Белый Берег. И химики туда же. Я их понимаю. Но, к сожалению, никто серьезно не задумывается, какой там может вырасти город, если мы с такой легкостью, Александр Адамович, начнем вписывать в ансамбль промышленные корпуса, пускай с самой совершенной объемно-планировочной структурой и композицией. К тому же, Александр Адамович, вписать можно часовой завод или завод электрических машин, хотя, как вы знаете, я никогда не считал удачным решением посадку полиграфкомбината и завода ЭВМ в центре города (это был удар по своему руководителю: Александр Адамович — один из авторов Ленинского проспекта в Минске). Химический же комбинат требует обязательного и резкого разделения функциональных зон — производственной и жилой. Вписывать его в жилой комплекс — это абсурд, за это судить нас надо?

Максим нарисовал картину района, застроенного

химическими предприятиями, через два десятилетия.

Представитель Госстроя возразил:

— Вы нас пугаете, Максим Евтихиевич, это из романов ужасов, которые пишутся на Западе.

А Сосновский шутливо подбодрил:

— Пугай дальше. У нас нервы крепкие.

— Нет, теперь я поведу вас по городу, который будет застроен разумно, где всем хватит простора и кислорода. Для этого достаточно согласиться с тем, что район Белого Берега — основной жилой район, что там, как нигде, есть все для того, чтоб с наименьшими затратами, с наилучшим использованием ландшафта и всего, что подарила природа, построить город-сад. Архитектор Шугачев захватил эскизы планировки такого района, он покажет вам на листах.

Максим рассказывал о городе, который ему, архитектору, видится через двадцать — двадцать пять лет, о городе, который вырастет на том, луговом берегу реки. Должен вырасти, если строить разумно.

— Комбинат погубит дубраву — это мое твердое убеждение. Так неужели же надо уничтожать то, что уже есть, а потом сажать новые парки с огромными затратами средств и ждать сто лет, пока они вырастут?

— Комбинат сохранит вам этот парк! Поможет сохранить! — раздраженно крикнул Платков.

— Посмотрим, так ли это, — спокойно возразил Максим и раскрыл свой толстый блокнот. — Вот у меня несколько выписок...

И тоже начал бомбить цифрами: сколько комбинаты такого типа выбрасывают в воздух газов и сажи, что происходит там с окружающей средой. В Западной Германии, в Англии...

Платков громко хмыкнул, будто обрадовавшись, и

обратился к Сосновскому:

— Леонид Минович! По-моему, товарищ архитектор путает социальные системы. Там же капитализм, дорогой товарищ. Не забывайте!

— Насколько мне известно, социальная система не так уж влияет на технологический процесс, как вам это кажется.

— Нет, влияет, дорогой товарищ! И крепко влияет! Мы в первую очередь думаем о человеке, о людях!

— Правильно! И я думаю о людях. Только вашей заботы хватает ненадолго...

— Карнач! — предупредил Сосновский, постучав карандашом по столу.

— Понимаю, Леонид Минович, — покорно согласился Максим. — Но поскольку меня обвинили в политической неграмотности, я должен защищаться. Тут у меня выписаны цифры по двум нашим комбинатам.

Максим назвал комбинаты, формулы химических соединений, которые выбрасываются в атмосферу, количество гари, оседающей вокруг, и показал, что стало с растительностью возле одного из таких комбинатов.

Платков спросил испуганным шепотом:

— Вы откуда взяли эти данные?

В зале засмеялись.

Сосновский затаил хитрую усмешку, рад был, что его люди не лыком шиты, иному столичному очко вперед дадут.

— Вы не читаете своих журналов, дорогой товарищ, — уничтожающе заметил Максим. — Пожалуйста, запишите номер и страницу...

— Ну-ну, — погрозил карандашом Сосновский.

— Тогда два слова о стоимости строительства. Да, в Озерище строительство обойдется дороже. Но это опять-таки узкий подсчет, ведомственный, не государственный...

— Вы договоритесь до того, что мы — частная фирма.

— Нет, до этого я не договорюсь, товарищ Платков. Но только один пример. Уже самое начало строительства создаст у нас серьезную транспортную проблему. Наш единственный, построенный после войны мост не пропустит того потока грузов, которые понадобятся стройке. Придется безотлагательно, скорее, чем все остальное, строить новый мост. Но в министерстве, очевидно, считают, что это не их забота, это действительно дело городского Совета. Если полагать, что мы черпаем не из одной казны, тогда и в самом деле спорить не о чем.

— Нельзя ли без иронии? — хмуро и сурово, совсем иначе, чем Сосновский, сказал Игнатович.

— А без иронии я спорить не умею, Герасим Петрович. Так уж воспитан, — ответил Максим.

Сосновский, ничего не говоря, постучал по столу. Александр Адамович укоризненно покачал, головой: «Ох, налетишь ты, Карнач!»

Максим посоветовал Шугачеву захватить с собой листы, чтоб попробовать убить двух зайцев: защищая Белый Берег, показать эскизы планировки Заречья, которое станет началом застройки всего этого большого и интересного района, подбросить Сосновскому, Александру Адамовичу и другим мысль, что первооснова этой застройки — Заречье — требует совершенно нового решения, а значит, сверхнормативных затрат.

Но, должно быть, Игнатович разгадал их хитрый ход, потому что, как только Шугачев вынул из-под стола

приколотый к доске лист с планировкой Заречного района, Герасим Петрович решительно возразил.

Шугачев, который редко выступал на таких форумах и вообще боялся начальства, растерялся и обиделся, что секретарь горкома обратился не к нему, а к Карначу, по сути, игнорируя его как архитектора, как человека. Оттого говорил невыразительно и путано, и пожалуй, не столько помог Максиму, сколько навредил.

В последнее время у Виктора частенько сжимало сердце. Теперь тоже стиснуло. И он больше вслушивался в удары сердца и боль, чем в замечания присутствующих, их реакцию на его выступление. Сел разбитый и обессиленный, как будто по нему пробежал табун лошадей. И никого уже не слушал. Шумело в голове — подскочило давление. Только вторичное выступление Макоеда расшевелило Виктора. На удивление самому себе, он не выдержал и крикнул:

— А кто тебе дал право говорить от имени всех архитекторов? Ты у нас спрашивал?

Сосновский погрозил ему карандашом, но с доброй улыбкой. И, странно, эта улыбка секретаря обкома... нет, не сама улыбка — человеческое тепло сняло боль в сердце. Виктор глубоко вздохнул, проверяя. Нет, не болит. Пропал страх. И вернулся интерес к тому, о чем тут говорили.

Максима поддержал профессор пединститута, биолог, который говорил о роще с умилением; страшно стало, когда он обрисовал, чего может стоить городу потеря такого массива. Неожиданно поддержал начальник ГАИ, присутствие которого здесь сперва удивило. Полковник развил замечание Карнача о том, что строительство такого объекта в Заречном районе создаст для города серьезную транспортную проблему.

Игнатович не просил слова. Сосновский спросил, не хочет ли он выступить.

Герасим Петрович сказал, что комбинат — большой

подарок и они, представители городской власти, должны сделать и сделают все, чтоб комбинат строился в их городе, от такого строительства зависят его рост, будущее.

Выступление было довольно прозрачным ответом Карначу, даже таило нотки угрозы, хотя Игнатович не только не назвал фамилии главного архитектора, но и словом не обмолвился о споре по поводу выбора места под комбинат, как будто вопрос этот был настолько мелкий, что и говорить о нем не стоило.

А Сосновский вроде бы поддержал Максима. Он сказал:

— Ну что ж, можно считать, что обмен мнениями был полезен, хотя, правда, не все подготовились к разговору так основательно, как товарищ Карнач.

Своего мнения, где же посадить комбинат, Сосновский не высказал.

— Девушки наши, — как бы выражая им благодарность, кивнул он в сторону стенографисток, — все записали до последней запятой, это они умеют здорово делать. Никто пускай не боится, что в его речи что-нибудь пропущено. Все эти материалы, — сказал он почему-то Игнатовичу, — мы представим в инстанции, которым надлежит принять окончательное решение о месте строительства. Не беспокойтесь, решение будет принято правильное. — В зале засмеялись. — Спасибо за участие. Всего хорошего, — и поднялся энергично, по-молодому, с поспешностью человека, который дорожит каждой минутой.

Однако все равно его задержали. Один. Второй. Максим тоже подошел и попросил, чтоб Сосновский принял его — на две минуты.

— По этому вопросу? Не принимаю. Никаких секретных переговоров. Все надо было сказать здесь.

— Нет, не по этому.

— Тогда подожди, пока я попрощаюсь с гостями. Гости,

брат, есть гости. Они у нас всегда нежданные, но желанные, и принимать их надо без очереди. Иначе уроним марку.

Когда из зала почти все уже вышли, Максим вспомнил про Шугачева. Замысел их с показом проектов Игнатович сорвал. Шугачев — поэт и романтик, несмотря на свой внешний рационализм, он легко загорается. Он, очевидно, предполагал, что проект его, как говорится, произведет фурор, что все внимание Сосновского, представителя Госстроя, архитекторов, строителей переключится с комбината на его микрорайон. Но не произошло ничего даже близкого к его ожиданиям.

Максим знал, Шугачев будет расстроен. Но не думал, что для него это почти трагедия. И дал промашку, сказав:

— Виктор, подожди. Я загляну к Сосновскому и потом помогу тебе довезти твои картинки.

Обычная их терминология: «ничего картиночка», «картинка для букваря» и т. д. Но Шугачева, который считал, что последняя его надежда на экспериментальный район рухнула, привычное слово это обожгло. Он бросился на Максима, будто разъяренный бык, ткнул в лицо трубкой ватмана.

— Для тебя это «картинки»! А для меня жизнь! Провокатор ты! Тебе лишь бы себя показать. Пусть скандал, только бы покрасоваться, только бы побыть на виду! Позер!

Максима это ошарашило. Он сказал почти шепотом:

— Дурак ты, Витя.

Виктор закричал:

— Конечно, я дурак! Один ты умный!

Настроение было испорчено.

У Сосновского сидел Игнатович и, по всему видно было, не собирался уходить, когда пригласили Максима. Может быть, секретари договорились, что примут главного архитектора вдвоем. Возможно, думали, что у него, как всегда, архитектурные вопросы.

Максиму не понравилось присутствие свояка, но что поделаешь.

Должен был сесть напротив, через столик, приставленный к большому письменному столу, за которым Сосновский что-то быстро записывал в толстый блокнот-дневник, знакомый всему партактиву; про блокнот этот шутили: «Попадешь в Лёнин синодик».

Игнатович чуть снисходительно, как младшему, но, в общем, дружелюбно улыбнулся Максиму и спросил:

— Ну что, борец, намерен воевать за Берег?

— До последнего вздоха.

Сосновский оторвался от блокнота и хохотнул.

— Э-э, если пошли такие высокие слова, химики могут спать спокойно. Белый Берег у них в кармане.

Игнатович сказал серьезно, явно желая оправдать свою позицию на совещании:

— Думаешь, мы не разделяем твоей озабоченности? Но мы еще больше озабочены тем, что потеряем, если комбинат передадут в другой город. Что для нас дороже?

— Не агитируй его, Герасим Петрович. Скажи спасибо, что своей позицией архитектор не дает тебе впасть в спячку.

Максим увидел, как у Игнатовича дернулась щека, одна, потом другая, словно он катал во рту горькую пилюлю и никак не мог проглотить,

— Однако с этим вопросом все. Как договорились, — Сосновский слегка хлопнул ладонями по столу и обратился к Максиму официально, с заметным нетерпением занятого человека: — Что у вас?

Максим начал рассказывать о молодых строителях, у которых родилась двойня.

Сосновский сразу понял, что разговор пойдет о квартире, и вздохнул. Тут случай действительно необычный. Но вот сидит секретарь горкома. Ему, как говорится, и карты в руки.

— Послушайте, Карнач, а почему вам не нажать на своего председателя?

— На Кислюка? Нажал.

— И что?

— Договорились, что... будет выделена квартира в доме речников из процентов горсовета.

— Так вы пришли мне сообщить эту радостную весть? — иронически спросил Сосновский.

— Потом я узнал, что квартира передается другому...

— Кому?

Максим набрал воздуха, взглянул на Игнатовича, присутствие которого было сейчас совершенно нежелательно.

— Вашему сыну.

Игнатович смущенно опустил глаза, как будто это относилось к нему.

А Сосновский некоторое время с любопытством смотрел на человека, который попросился на прием, чтоб сказать ему такую вещь. Максим не выдержал, отвел взгляд. Потом жалел: не успел разглядеть, что было в глазах у Леонида Миновича. Потому что через минуту

Сосновский наклонился над столом, будто собираясь боднуть кого-то. Сквозь мягкие, как у ребенка, седые и уже сильно поредевшие волосы видно было, как наливается кровью темя.

Наступила неловкая пауза.

Наконец Игнатович поднял на Максима глаза и взглядом выразил осуждение: «Дурень ты бестактный. Ты что, не мог прийти ко мне?»

Максим подумал: «А в самом деле, почему я не пошел к Герасиму? Почему даже мысли не явилось рассказать об этом ему? Двадцать лет дружили!» — И ему стало грустно и больно, и донкихотство это показалось неуместным. Стало неловко перед Сосновским, которого он искренне уважает. Однако же не попросишь прощения. Смешно было бы.

Леонид Минович провел ладонью по лицу, как бы стер впечатление от слов Карнача. И в самом деле, когда поднял голову и взглянул, лицо его было спокойно, со всегдашней смешинкой в глазах, разве только резче, чем минуту назад, проступила усталость человека, который рано начал свой рабочий день и напряженно работал.

— Послушай, Карнач, будь откровенным до конца. Допустим, я не поломаю этого. Что будешь делать? — неожиданно весело и на «ты» спросил Сосновский.

— Ничего. Просто меня постигнет еще одно разочарование.

Сосновский откинулся на спинку кресла, лукаво прищурился и снова оглядел Максима с нескрываемым любопытством.

— Вот ты какой! — и неожиданно упруго встал.

Максим тоже поднялся, несколько растерянный, не зная, как распрощаться после того, что он здесь сказал. Сосновский выручил его, протянул через стол руку.

— Спасибо за откровенность.

Когда за Карначом закрылась дверь, Сосновский быстро прошел к этой же двери и даже какой-то миг постоял перед ней. Потом вернулся к столу. Остановился перед Игнатовичем, который все еще прятал глаза, оттянул резинки подтяжек, будто намереваясь щелкнуть себя по груди.

— Ты видел, какая заноза!

— Трудно с ним работать, — пожаловался Игнатович.

— Нелегко, — согласился Сосновский, возвращаясь на свое место, и тут же сказал уже другим голосом: — Пришли ко мне своего умненького мэра. Я с него, чертова сына, стружку сниму.

Оставшись один, Леонид Минович попросил секретаршу никого к нему не пускать и долго ходил по просторному кабинету, останавливаясь то перед книжными шкафами, разглядывая книги, то перед окном, наблюдая за людьми и машинами. Нельзя сказать, что он очень уж разволновался или возмутился. Нет, человеческие слабости были ему хорошо известны, и если что тревожило, так это то, что слабостей этих не становится меньше. Да, не очень приятно, когда тебе в глаза бросают такой упрек. Разумеется, Кислюк — дурак. Но Леонид Минович не искал виновных. Виноват он сам. Не первый раз его слабость, которую называют добротой, подводит.

Невестка будто и ничего женщина, но тоже со слабинкой. Не чуждая обывательским интересам, она стала не лучшим образом влиять на своего мужа — их сына, человека мягкого и доброго, раньше, до женитьбы, далекого от всего этого. Валентину Андреевну, жену Сосновского, учительницу, строгую и педантичную, это встревожило. Между свекровью и невесткой начались глухие, глубоко затаенные конфликты.

Постепенно в них втянулся сын — на стороне жены;

дочь-студентка была на стороне матери. Создалось два лагеря. Только он, хозяин, оставался вне этого. Его уважали и не вмешивали в свои споры, никогда не обращались к нему как к арбитру.

Он кое-что видел, но считал, что тут играет роль обычная материнская ревность, и защищал невестку по доброте своей.

Валентина года два доказывала, что молодым лучше жить отдельно, чтоб они узнали цену заработанным деньгам, вещам, умели планировать свой бюджет, а не рассчитывали на готовое, не пользовались благами, которые заслужил своей работой отец, но далеко еще не заслужили они.

Леонид Минович отбивался:

— Слушай, Валя, за сорок лет работы в комсомоле, в Советах, в партийных органах я не помню ни одного случая, чтоб человек пришел и сказал: «Я хочу вырвать у государства кусок побольше и повкуснее». Все начинают с таких мотивов, с такой философии, что слушаешь, разинув рот, и ахаешь. Медицина, педагогика, социология, политика — все пускается в ход. Вот как ты, например...

Жена обижалась.

— С тобой нельзя серьезно поговорить.

Ему и в самом деле не хотелось говорить на эту тему. Когда появился внук, которого он полюбил, наверно, сильнее, чем мать и отец малыша, он с огорчением думал, что ребенка могут увезти из дому. Как ему найти время навещать внука где-нибудь в другом конце города?

Но попросил сын, чтоб он помог им получить квартиру. Видно было, что сыну просить нелегко.

— Тебя уговорила мать?

— Нет. Но я не хочу так жить дальше.

В словах сына звучала горечь, что насторожило. Леонид Минович присмотрелся, прислушался, и до него докатились глухие взрывы тайной войны. Это его очень расстроило; свои, родные люди, ни в чем не терпят недостатка и, однако же, воюют. Чего им не хватает? И он сдался. Есть такая затрепанная ходячая фраза: пошел по линии наименьшего сопротивления. И вот результат — получил оплеуху. Вежливую, но крепкую, щека горит.

Сосновский позвонил домой. Трубку взяла жена.

— Слушай, бабуся... Мебель купила?

— Нет. А что, пришла мебель? — обрадовалась Валентина Андреевна.

— Жаль, что не успели притащить.

Тут она поняла, что надежды ее, недели две назад как будто бы ставшие реальностью, рушатся, и затаила дыхание, слушая, как гремит саркастический голос мужа:

— Мне захотелось посмотреть, как бы вы распродавали ее. По частям или оптом? С аукциона. Во дворе можно было бы устроить аукцион. Вот зрелище! Сосновский торгует мебелью!

— Что случилось, Леня? — Голос ее задрожал.

У него были в запасе более ядовитые слова, но он пожалел жену: легко ли ей в школе, достаточно портят нервы маленькие разбойники! А тут еще свое...

— Вам что, не хватает санитарной нормы?

— Леня, при чем тут норма?

— У вас по две нормы! Ужиться не можете? Стыдно! Научитесь жить в общежитии по-коммунистически. Все для этого у вас есть. Скажите, чего не хватает? Дружбы, мира? Обещаю тебе установить в своей семье и мир, и дружбу! Вот так, дорогая Валентина Андреевна, мой

прославленный товарищ педагог! — и положил трубку.

XIX

Экзамен Максим назначил на ранний час — на половину восьмого, надеясь часам к двенадцати освободиться: были неотложные дела в управлении, Но студенты отвечали плохо. Чтобы выяснить, что же усвоено из теории архитектурной композиции, приходилось изрядно-таки погонять студента.

Часа через два экзаменатор уже был измучен и расстроен. Вспоминал, с каким интересом когда-то он и его товарищи, полуголодные в первые послевоенные годы, в заплатанных гимнастерках, без учебников, вгрызались в каждый предмет, который раскрывал перед ними тайны архитектурного творчества. А тут приходили модно одетые юноши с длинными волосами, девушки с шиньонами, многие из которых не представляют себе завтрака без масла и обеда без отбивной, и удивляли своим невежеством, непониманием элементарных основ, средств гармонизации пространственных форм. Одна не могла толком ответить, что такое симметрия и асимметрия. Другой не знал архитектурных ордеров, хотя по истории архитектуры, которую сдал год назад, у него стояла четверка.

Максим, всегда относившийся к себе критически, начал уже думать, что, может быть, виноват он сам — не сумел заинтересовать студентов этим важным, необходимым в практической работе и, по его мнению, живым, творческим предметом. Обычно Максим читал типологию зданий культурного назначения. Но в областном городе, в новом институте не хватало квалифицированных преподавателей, и его попросили прочитать курс композиции.

Лекции его хорошо посещались. Слушали эти волосатые модники как будто внимательно, с интересом. Почему же такой результат? Кого мы набираем и какую смену готовим?

Но три человека, и притом один за другим — случайно подобрались, или друзья, может быть, ребята, живущие вместе в общежитии, — отвечали отлично, приятно было слушать. После этой троицы Максим перестал укорять себя и на тех студентов, которые «плавали», стал смотреть как на безответственных лодырей, язвительно подсмеивался и сыпал двойки.

По тому, как затих веселый шум в коридоре, понял, что среди студентов переполох. Видно, группу считали неплохой, и такой провал — катастрофа не только для студентов, но и для факультетского, а может быть, даже и для институтского начальства; ведь здесь, как и в школах, борются за высокий процент успеваемости, молчаливо соревнуясь, у кого процент этот будет ближе к ста.

Часов в одиннадцать, когда оставалось еще полгруппы, хотя экзаменатор и начал гнать скорее — не «вытягивал» дополнительными вопросами, явилась Нина Ивановна. Учтиво попросила разрешения присутствовать на экзамене. Села сбоку стола.

Максим сперва подумал, что студенты пожаловались в деканат, там тоже подняли тревогу — горим! — и прислали контролера. Нет. Скорее всего Нина сама выразила желание пойти повлиять на безжалостного Карнача.

«Ну что ж, поглядим, что ты будешь предпринимать...» — с веселой иронией подумал Максим. Но через несколько минут беспокойно заерзал на стуле, потому что почувствовал, что присутствие этой женщины раздражает.

Нина Ивановна не сводила с него глаз и, казалось, совсем не слушала ответы студентов.

«Уж не думаешь ли ты растопить мое сердце своими женскими чарами?»

Этот пристальный взгляд не только раздражал, но и приводил в замешательство, отвлекал от дела.

Была у них встреча два дня назад, в воскресенье, опять там же, в Волчьем Логе. Странная встреча.

День выдался морозный и ясный. Сосняк стоял убранный в сказочный иней, сверкающий и переливающийся на солнце.

С утра Максим бродил в лесу на лыжах, хотя для прогулки было, пожалуй, слишком холодно. Перед обедом поднялся наверх поработать на верстаке. Немного погодя глянул в протаявший от дыхания глазок и сразу же увидел ее, все в том же ярко-красном лыжном костюме.

Сперва захотелось запереть дверь и спрятаться, затаиться. Но потом решил, что это не по-мужски. Она не раз звонила, нескромно, настойчиво напрашивалась на встречу. Он уклонялся, выдумывал разные предлоги.

Но нельзя же без конца уклоняться. Надо наконец сказать правду. Они не юнцы и никаких обязательств друг перед другом не имеют, пусть она считает происшедшее пикантным эпизодом, своей победой над его слабостью.

Он накинул кожушок и вышел ей навстречу. Она увидела его и быстро подбежала, запыхавшись. Хватала воздух, как при удушье. И щеки у нее были белые.

Вместо приветствия он сказал:

— Ты обморозила щеки.

Она испуганно ойкнула.

Он набрал в пригоршню колючего снега, грубовато зажал ее голову левой рукой и начал растирать ей щеки.

Она сперва засмеялась, потом запротестовала:

— Ой, больно! Медведь! Ты свернешь мне голову.

И вдруг, бросив на снег красные перчатки, поймала его

мокрую от растаявшего снега руку и прижалась к ней губами.

Такая неожиданная нежность привела его в смущение. Он отпустил гостью и отступил в сторону. Она сказала:

— Идем.

— Куда?

— К тебе, — и засмеялась. — На этот раз за мной действительно гонится Макоед. Но отстал на добрый час. Куда ему до меня! Пентюх с проспиртованным сердцем.

— Нина! За кого ты меня принимаешь?

Она смутилась, съежилась, растертые щеки ее запылали; она прошептала, как девочка, которую хотят бросить:

— Ты не хочешь подарить мне нисколечко радости?

Он направился к даче. Она шла следом. Под его валенками снег звенел, под ее лыжами — жалобно плакал. Он сказал, не поворачиваясь:

— Я, кажется, подарю тебе большую неприятность. Я собираюсь перейти в институт и претендую на кафедру, которой ты пока что заведуешь.

Он очень хотел бы увидеть, что отразилось на ее лице! Во всяком случае, был уверен, что услышит нечто вовсе противоположное проявленным ею сейчас чувствам. Недаром Виктор Шугачев, неплохой психолог, говорил, что из-за карьеры Нина продаст не только Макоеда, но и собственную душу. Но того, что ожидал, не услышал. Ничего не услышал в первую минуту. Перестали голосить лыжи. Она остановилась.

И он остановился, все еще не поворачиваясь, боясь, что она прочтет на его лице, как он доволен, что так ошарашил ее. И вдруг услышал то, что ошарашило его самого. Она сказала горячим шепотом:

— Максим, я люблю тебя.

Он круто повернулся. Она стояла на лыжах, вяло опустив руки с палками; от ее импозантности ничего не осталось: обыкновенная женщина, которую бросает муж или любовник, — растерянная, но еще надеющаяся вернуть его, уговорить. Виноватая усмешка искривила ее побелевшие губы.

Максим на миг почувствовал нечто похожее на сочувствие. Но преодолел свою слабость. Заговорил о другом:

— Много чести Макоеду, чтоб я его встречал. Но черт с ним! Живой человек. Еще замерзнет в поле. А у нас так мало архитекторов. Ты иди оттирай щеки, а я встречу. — И пошел надевать лыжи.

Макоеда встретил скоро — минут через десять: тот был не так уж измучен, во всяком случае, не задыхался, как его жена.

Возбужденный и веселый поначалу, Макоед, пока накрывали на стол, ходил следом за Максимом и рассказывал о прочитанной вчера статье — в ней историк и врач доказывал, что Сальери не отравил Моцарта, не мог отравить, что Моцарт умер от ревматического порока сердца. Рассказывал подробно, в деталях, хорошо запомнив схему доказательств.

— Это уже лет полтораста доказывают, — сказал Максим.

Нина засмеялась.

— Почему это тебя так увлекло? Не собираешься ли отравить кого-нибудь?

— Неумные у тебя шутки.

Максим стеганул Макоеда за его позицию на совещании у Сосновского.

— Никто из архитекторов не поддержал посадку

«химика» в Белом Береге. Один ты. Кто же ты? Гений или...

— ...дурак, — подсказала Нина, хотя Максим хотел сказать «невежда», слово не менее крепкое, но более культурное.

Макоед с удивительной убежденностью начал доказывать, что это действительно тот случай, когда все они, профессионалы-архитекторы, увлеченные модной идеей охраны живой среды, не видят положительных аспектов размещения комбината в Заречном районе. Он приводил аргументы, цитаты и обвинял их всех, выставляя таким образом себя как самого прогрессивного, самого современного планировщика.

— Еще Корбюзье сказал, что, несмотря на все разговоры о функциональности, творчество архитекторов не так уж отличается от творчества представителей других искусств. У нас все еще на первом плане эстетика, хотя в эпоху индустриального строительства функция стала решающей. Она диктует и закон экономии. Мы только тешим себя тем, что научились сочетать эти два главных слагаемых архитектуры. Нет, не научились. В масштабе одного сооружения еще думаем о таком сочетании, потому что этого требуют проектное задание, нормативы. А в масштабе города, страны? Кто из нас учитывает так, как Игнатович, все экономические показатели развития города?

Позицию он занял выгодную. И прочную. Такие аргументы, такая самокритичность понравятся не одному Игнатовичу, а, пожалуй, всем хозяйственникам.

Даже Нина без всякой иронии удивилась:

— Скажи пожалуйста! До сих пор не знала, что мой муж — такой эрудит!

Максим давно уже уклонялся от серьезных дискуссий с Макоедом. Зря только тратить время и энергию. Макоед умел сделать предметом спора абсолютно бесспорную

вещь. Стоит Карначу сказать, что это белое, как Бронислав Адамович тут же возразит. Нет, он не скажет, что черное или красное, но будет доказывать, что это, во всяком случае, не белое. Какое хочешь, только не белое.

Поэтому Максим не стал оспаривать Макоеда — не дал ему щегольнуть заранее подготовленными аргументами. Перебил новым анекдотом, над которым очень смеялась Нина Ивановна.

От обиды Макоед выпил лишнее и почему-то опять вспомнил Моцарта. Сказал, будто хвастаясь:

— А я... я никогда не верил, что Сальери мог отравить...

— А я верю, — Максим сказал это нарочно, хотя до сих пор помнил, что когда-то в студенческом общежитии в споре на эту тему остался в единственном числе, высказав сомнение в исторической правде пушкинской трагедии. — Мог отравить. Такой завистник...

— Как ты, — опять безжалостно кольнула мужа Нина.

Кончилось тем, что Макоед расплакался. Самым натуральным образом. Хныкал, как маленький:

— Почему вы меня не любите? Я вас люблю, всех люблю, а вы не... не... любите...

Было противно, неприятно, но в то же время и смешно. Обидели несчастного. Всю жизнь делал другим гадости, а теперь требует любви.

Нину Ивановну встревожили и даже испугали слезы мужа; она, как бы чувствуя свою вину, мигом превратилась в добрую и заботливую супругу и поспешила поскорей вывести мужа на мороз, чтоб протрезвел.

...Когда вошла очередная четверка студентов и, вытащив билеты, углубилась в подготовку — теперь уже ничто не могло привлечь их внимания, — Максим тихонько спросил у Нины Ивановны:

— Ты пришла проверять меня?

Она нежно улыбнулась и покачала головой: нет.

Но его все еще раздражала мысль, что кто-то решил проверить, как он принимает экзамены, и выбрал для этой цели Нину Ивановну, А тут еще среди студентов, вытащивших билеты, оказался Вадим Кулагин.

Нина Ивановна взяла чистый лист бумаги и зеленым фломастером крупным красивым почерком написала: «Я пришла побыть с тобой. Посмотреть на тебя».

Он придвинул эту бумагу и шариковой ручкой нарочно криво, неразборчиво и размашисто, на полстранички, набросал: «Не мели сентиментальной чепухи. Я не студент, и ты не студентка. «Пришла посмотреть...» Курам на смех...»

Девушка, одна среди трех парней, сказала, что она готова к ответу. Максим обрадовался, что кончилась пауза и не надо продолжать эту нелепую, действительно студенческую игру в записочки. Вот еще современные Китти и Левин!

Безжалостная природа обидела девушку: не дала привлекательности, но зато наградила памятью, которая, наверно, удивляла преподавателей. Студентка отвечала почти слово в слово так, как читал он, Карнач, в тех же выражениях, с теми же примерами, которые приводил он. Максиму не понравилось: зазубрила стенограмму. Дал ей проект современного театра, построенного в парке, по его мнению, неудачно, и попросил рассказать о взаимосвязи масштаба здания с окружающим пространством. Студентка говорила об этой взаимосвязи детально и теоретически правильно. Но в одном ошиблась: посчитала, что в предложенном проекте найдено наилучшее масштабное решение. Максим понял: у девушки нет фантазии. А какой же это будет архитектор — без фантазии? Обладая такой памятью, изучала бы лучше иностранные языки или библиотечное дело.

Поставил четверку.

Как многие некрасивые женщины, девушка была сердитая и решительная, знала, что придется пробиваться в жизни. Лицо ее не покраснело от гнева или смущения, а как-то странно, почти страшно, посинело. Голосом глухим и холодным она попросила объяснить, почему ей поставлена четверка. В своих знаниях она была уверена.

Максим терпеливо растолковал ее ошибку.

Студенты оторвались от записок и вытащенных из рукавов шпаргалок, на которые он, экзаменатор, обычно не обращал внимания — по шпаргалкам такой предмет не сдашь, — и внимательно слушали.

Во взгляде Нины Ивановны появилась настороженность.

Выслушав, студентка спросила:

— А у вас не было таких ошибок?

— Были.

Она хмыкнула.

— Но мне не ставили отметок. Просто отклоняли проект. А это уже не четверка, а двойка или даже единица. Получить ее, имея диплом, — трагедия посерьезнее, чем провалиться на экзамене. Помните это.

Девушка была неглупая и, видно, поняла, что к чему, потому что неожиданно поблагодарила, хотя голос ее звучал тускло.

Нина написала на том же листе, но мельче и не так красиво: «Ты безжалостный».

О чем это она — о его ответе на ее слова или об оценке студентки?

Не дожидаясь, пока она протянет ему бумагу. Максим взял листок и наискосок по написанному Ниной раньше будто резолюцию наложил: «Я безжалостный! К кому?!».

Она улыбнулась, забрала листок и, закрыв ладонью, начала писать, как школьница, которую это забавляет и трогает.

Он спросил у студентов, кто готов отвечать. Но напуганные историей со своей коллегой студенты не спешили. С явным намеком Максим посмотрел на часы и заглянул в зачетные книжки — кого вызвать? Но тут Нина Ивановна опять передала свое послание.

Он прочитал: «Максим! Не иронизируй и не злись. Знай: я люблю тебя. Я отдам тебе кафедру. Отдам все за счастье быть всегда рядом с тобой».

Странно, как скептически и сердито он ни был настроен, слова эти его взволновали. Он взглянул на студентов — не наблюдает ли кто за ними? Взволновала не откровенность признания — загадочность этой женщины. На интригу это не похоже. Тут тайна женской души — одна из тех тайн, о которых написаны горы книг.

Хотел было разорвать бумажку и закончить таким образом неуместную игру, пока студенты не учуяли суть их переписки, а то разнесут не только по институту — по всему городу. Но подумал, что, разорвав листок, обидит Нину Ивановну. А зачем обижать? Он вдруг подобрел, смягчился, сразу схлынуло раздражение. Сложил листок вчетверо, сунул во внутренний карман.

Нина Ивановна, пристально, жаркими глазами следившая за каждым его жестом и выражением лица, затаенно и радостно вздохнула.

Максим вызвал:

— Кулагин.

Вадим нехотя поднялся, нехотя подошел к столу. Он

был уверен, что Карнач на экзамене из мести придерется к нему — за Веру, за разговор. Боялся этого и по-своему храбрился. Чтоб не выдать своей боязни ни перед однокурсниками, ни даже перед самим собой, готовился к предмету не больше, чем другие. А студент он средний, особенной глубиной знаний не отличался. Правда, недурно владел карандашом и кистью, что давало ему преимущество перед «теоретиками», которые все предметы сдавали на пятерки, но не умели нарисовать классической колонны — не чувствовали перспективы, объема, масштаба.

То, что Карнач вызвал его первым, по мнению студента, служило доказательством необъективности преподавателя. «Почему меня, а не Бугаева?»

На самом же деле Максим вызвал Кулагина потому, что был в этот момент в наилучшем настроении — добрый, снисходительный. Еще когда Вадим вошел в аудиторию, Карнач, несмотря на раздражение, вызванное плохими ответами студентов и появлением Нины Ивановны, приказал себе: с этим парнем быть объективным и мягким.

Максим знал от Поли, когда и как Вера открылась им. Как испугался, запаниковал Виктор. И что сказала она. И как это обрадовало Веру, вернуло к жизни. С того дня все изменилось в ее отношениях с этим красавчиком. Теперь она ведет себя уверенно, независимо, а он виновато и скромно.

Вера рассказала матери (теперь она все рассказывает), как поговорила с отцом своего ребенка. Потом Вадим, робкий и смущенный, приходил к ним. И каждый раз Вера чуть ли не издевалась над ним и едва не выгоняла из дому.

Мать боялась, что Вера переигрывает и может совсем оттолкнуть парня. Сказала об этом дочери.

«Мама, — отвечала Вера, — я пережила такое унижение, такой страх! Из-за него».

Максим понимал Веру и одобрял: за унижение надо отомстить. Но не мог не согласиться с опытной и рассудительной матерью, что все хорошо в меру, нельзя перехватывать — ни в нежности, ни в злости. Парень, видно, не пустой, если не только не отвернулся совсем, узнав о Верином намерении родить ребенка, а, наоборот, льнет к ней и хочет жениться, несмотря на запрещение отца.

Поля просила, чтоб Максим при случае повлиял и на Веру, и на Вадима.

Он пообещал, хотя и пошутил невесело: «А ты не думаешь, что я теперь не гожусь в сваты?»

И вот у него сейчас есть возможность показать настороженному юноше свою доброжелательность — он, мол, зачеркнул тот неприятный разговор, и никто ему, Вадиму, не будет колоть глаза старыми ошибками. У кого их не было, ошибок! Люди в два раза старше, уже, казалось бы, знающие жизнь, делают глупости и почище.

Отвечал Кулагин посредственно, как-то очень куцо, хотя и правильно. Наверно, по шпаргалкам, но, видно, потому и встал нехотя, что не успел использовать все шпаргалки.

Максим слушал терпеливо, не перебивая, не поправляя. Впервые вмешалась в экзамен Нина Ивановна, будто почувствовав, что парня надо вытянуть хотя бы на четверку. Задала вопрос-подсказку по организации открытых пространств: тема эта связана с ее диссертацией. Подсказки Вадим ловил, как говорится, на лету, из чего Максим сделал заключение: парень способный, но лодырь, даже конспекты и учебники прочитал не очень внимательно.

По тектонике ордерных систем совсем «плавал».

Надо было ставить ему тройку. Но Максиму очень хотелось вытянуть Кулагина на четверку: в зачетной книжке, которую он просмотрел, у студента были

хорошие отметки.

Спросил о «функции Жолтовского». Кулагин слышал звон, но не знал, где он, — имел об этом представление весьма смутное.

Максим мягко попросил его начертить ритмический ряд, образуемый сочетанием метрических рядов. Самое элементарно простое во всем курсе композиции.

Кулагин повернулся к доске, взял мел и застыл. То ли он вообще пропустил главу о ритме, то ли схемы ритмических рядов перепутались у него в голове.

Максим удивился:

— Вы не можете начертить такой пустяк? Постыдитесь, Кулагин.

Вадим с перекошенным лицом круто повернулся от доски, сжав зубы, прошипел:

— Вы придираетесь ко мне. Я знаю, отчего вы...

Максим сказал ласково, мирно:

— Ну и дурень же ты, брат.

Кулагин завизжал, как будто его укусили:

— А вот за оскорбление я буду жаловаться! Вы слышали, Нина Ивановна, как он?.. Я к ректору пойду!

Максим встал так, что стул отлетел к доске, и грохнул на всю аудиторию:

— Пошел вон, щенок!

Вера вернулась из института в слезах. Сразу же, не сняв пальто, пришла на кухню и расплакалась.

— Какой дурак! Какой дурак! Боже мой, зачем я полюбила такого дурака?

Поля следила теперь за дочкой, за ее настроением

особенно внимательно. Раньше не нравилось ее уныние, теперь иной раз не нравится ее чрезмерная веселость, потому что за ней часто таится тревога, страх. Эти слезы и в особенности детски-наивный возглас: «Зачем я полюбила такого дурака?» — обрадовали мать. Значит, ничто не поколебало ее любви. Любит по-прежнему. Значит, все еще может наладиться. Только надо проследить, чтоб она и в самом деле какой-нибудь непродуманно-резкой выходкой не оттолкнула парня. Поля совсем успокоилась, когда узнала, что случилось в институте. Вадим нагрубил Максиму Евтихиевичу на экзамене, и тот выгнал его из аудитории. Вадим, вместо того чтобы, успокоившись, извиниться, бегал к декану жаловаться. И вот этого Вера не может простить. Вера даже и мысли не допускает, что дядя Максим способен поступить несправедливо.

Поля успокоилась, но подумала с легкой обидой на Максима: «Зачем ему сейчас цепляться к этому парню, когда все так неопределенно? Неужели не понимает, что это может не лучшим образом отразиться на отношениях Вадима и Веры? Ведь она вон какая: за своего кумира готова с кулаками кинуться на любого».

А тут еще нелады между Виктором и Максимом. Несколько дней назад Виктор вернулся с совещания в обкоме возбужденный и взволнованный, сгоряча закинул проекты на шкаф. Поля сразу поняла, что случилось недоброе, что мужа обидели, наверно, осудили его идею застройки Заречья. Но знала, что сразу у Виктора лучше ничего не спрашивать: раскричится, наговорит глупостей и потом будет еще больше расстраиваться. Пускай оттает, смягчится. Заряда злости, обиды, гнева у него хватит ненадолго.

В самом деле, после ужина и неплохого фильма, который он смотрел по телевизору, настроение у Виктора заметно улучшилось. И Поля решилась спросить так, чтоб не слышали дети, что же случилось в обкоме.

Он помрачнел, попробовал уклониться.

— Ничего не случилось.

— Если это партийная тайна, можешь не говорить. Но настроения своего ты от меня не скроешь, как ни старайся. Много соли мы с тобой вместе съели, Витя, чтобы не понимать друг друга.

Тогда он рассказал, кто и чем обидел его.

Поля удивилась. Знала, что можно смертельно обидеть человека одним словом, самым простым. Все зависит от того, когда, где, как сказать это слово. Но из того, что рассказал Виктор, она не почувствовала, чтоб «картинки», как назвал его листы Максим, было словом, которое могло так больно ранить взрослого, не лишенного чувства юмора человека. Она всегда боялась проявления мелочности, мнительности у детей, мужа, у себя. Ржавчина эта появляется неприметно, а разъедает характер быстро и основательно.

Поля тогда никак не могла понять, за что же обиделся Виктор на Максима. И от этого мучилась: так, кажется, знает она своего мужа, а выходит, что и в его душе есть еще тайны, которые требуют разгадки.

А вот теперь, слушая, как Вера во всем обвиняет Вадима, она вспомнила слова мужа: «Он точно производит психологический эксперимент. Над всеми, кто его окружает». Кажется, она в чем-то поняла Виктора. И мысленно укоряла или просила Максима: «Нам не нужны никакие эксперименты. Пускай они, молодые, сами разберутся. Тут я больше верю в мудрость их сердец, чем в ваш разум».

Вера сама за ужином рассказала отцу о происшествии в институте, правда, без слез уже и без особенного возмущения Вадимом.

Виктор сказал с иронией или одобрением — нельзя было понять:

— Наполеон.

— Почему Наполеон? — удивилась Вера.

Отец не ответил.

Теперь, когда прошло несколько дней и было время спокойно подумать, Шугачев понял, что его обидели не слова. Там, в обкоме, он почувствовал, что целый год жил в воображаемом мире, оторвавшись от действительности. А кто его, такого земного, вознес в небеса? Максим. Он зажег надежду, что они получат разрешение на экспериментальную застройку Заречья. И подбрасывал в огонь сухой хворост. Надежда превратилась в уверенность, и он, Шугачев, как наивный дипломант, целый год создавал на бумаге, в мыслях новый район по своим нормативам.

Почему там, на совещании по совсем другому вопросу, вдруг стала рушиться его надежда, он объяснить не мог. Странно, что почувствовал это именно тогда, когда Максим со своей дурацкой иронией назвал его проекты картинками. Да, красивые картинки, которые невозможно материализовать — перевести в бетон, стекло, асфальт, в зеленые аллеи.

Поля по-женски хитро подбодрила, сказав, что он спроектирует и по существующим нормативам самый лучший район. Это удержало его от глупости — отказаться от проекта. Но это не помогло переработать проект. Попытался — не вышло.

Опять три ночи просидел над листами. Хотел уничтожить все, что явно превышало нормативы. И не мог зачеркнуть ни одного эскиза. Жаль было до сердечной боли. Вспомнил, как легко рвал и жег свои эскизы Максим — чтоб не мозолили глаза и не мешали искать другое решение. Завидовал такому мужеству и щедрости. Видно, это примета истинного таланта. А вот он так не может. Особенно с проектами Заречья. Очень дорога для него эта работа. Она давала ту радость, без которой жизнь становится бедна и скучна.

Как же сочетать безжалостный закон экономии с неудержимым полетом воображения?

Видно, поздно ему летать. Не тот возраст, не то

положение, не то место. Не в областном городе затевать такой эксперимент. Молодой скептик, его сын, прав. Надо опускать крылья. Поздно распростер их во всю силу. Надо по-прежнему тихо и незаметно проектировать обыкновенное жилье, придерживаясь инструкций и ценников. И добиваться премиальных. Для себя. Мастерской. Филиала института. И все будут довольны. Портрет его по-прежнему будет висеть на доске передовиков.

Чертов Карнач! Как он взбудоражил его спокойную жизнь! А теперь ведет себя так, будто Заречье — мелкий эпизод в его широкой деятельности. Вот что обидно.

XX

Галина Владимировна неслышно вошла в кабинет, так же неслышно подошла к столу, положила сбоку пачку бумаг.

— Почта, — сказала коротко.

— Спасибо, — ответил Игнатович, как всегда, приветливо, но от бумаги, которую читал, не оторвался. После неприятного и тяжелого разговора с женой о Галине Владимировне он не то боялся, не то стеснялся смотреть на секретаршу и доверительно беседовать с ней.

Такая загадочная перемена в отношении к ней Герасима Петровича удивляла и беспокоила Галину Владимировну.

Она повторила:

— Почта.

Раньше он часто весело спрашивал: «Что самое интересное в нынешней почте? Где тут гвоздь?» Письма были самые разные, иной раз трагические, иногда анекдотичные. Такие письма они обсуждали. Игнатовичу интересно было перед тем, как принять

решение по тому или иному письму, услышать мнение этой спокойной и рассудительной женщины. По жалобам и личным просьбам она деликатно и почтительно, как бы между прочим, давала иной раз умные и дельные сонеты.

По тому, что она повторила слово «почта» дважды, он понял, что есть в этой почте «гвоздь», но опять-таки не поднял головы, лишь поблагодарил сердечней и теплей:

— Спасибо вам, Галина Владимировна.

Какой-то миг она постояла возле его стола, потом неслышно вышла. На работе она носила какие-то бесшумные туфли, которые не стучали даже на звонком паркете. Это ему нравилось. Вообще нравилось ее умение одеваться красиво и скромно, ничто не бьет в глаза.

Он посмотрел ей вслед и тут же со злостью одернул себя, потому что смотрел любуясь. Пускай Лиза выдумывает, что хочет. Главное, что перед самим собой, перед своей совестью он был чист даже в самых потаенных мыслях. Он гордился своей моральной чистотой: никогда лишнего не выпил, не пожелал чужой жены, не лгал, не взял ничего сверх положенного, не старался утаить свои ошибки в работе.

Закрылась дверь за Галиной Владимировной. Герасим Петрович взглянул на почту, которую она принесла. И сразу кровь ударила в лицо. Первым лежало Дашино заявление в горком, ее жалоба на Максима и просьба «призвать его к порядку, потому что коммунист Карнач потерял не только партийную, но и человеческую совесть».

Он одним взглядом выхватил эти слова. Торопливо, почти со страхом искал другое имя — Галины Владимировны. Не нашел, вздохнул с облегчением. Но все-таки было неприятно, что Галина Владимировна читала это письмо. Ишь, положила первым, поверх всех других писем, безусловно, более важных! Как будто нарочно. И дважды повторила «почта», желая обратить

его внимание, поговорить.

Игнатович все еще не хотел верить, что отношения Галины Владимировны и Максима зашли так далеко, как говорит Лиза. Но он сам был свидетелем их разговора, видел, какая красная была Галина Владимировна. Ее румянец, между прочим, показывал, что это еще только начало, но ясно, что они тянутся друг к другу. Игнатовичу было не только неприятно, но почему-то обидно и больно, как будто его, честного человека, бессовестно обманули.

Разозлился на Лизу. Это она подговорила сестру. Она как-то обмолвилась, что, если примирение не состоится, Даше придется написать в горком. Лиза упомянула об этом в такой момент, когда он не мог ей возражать. А теперь разозлился. На кой черт она подсовывает ему эти бабьи, да еще родственные, проблемы?! Мало у него дел по руководству городом? Он вообще не любил, когда поступали такие жалобы. И жен таких презирал. Что это за женщина, которая хочет удержать мужа при помощи партбюро, райкома или горкома? Это ж надо совершенно потерять женскую гордость, не уважать самое себя.

Однако положение не разрешало ему официально высказать то, что он думал. Официально он обязан серьезно разбираться в семейных конфликтах.

Да, Дашиному письму придется дать ход, обратно его не отправишь. Зарегистрировано... Прочитано... Опять стало неприятно от мысли, что прочитано письмо не только им. Должно быть, весь аппарат уже знает. И ждет, как Герасим Петрович поступит со своим другом и свояком. Чертовы бабы! Если уж надумали писать, неужто не могли передать ему лично? Впрочем, что бы это изменило? Ничего. Все равно пришлось бы разбираться.

Злость на Лизу понемногу остывала: у жены хватило ума или хитрости не втягивать в эту некрасивую историю его секретаршу и не создавать еще одной проблемы.

И тогда весь его гнев и раздражение обратились против Максима. Двадцать лет он считал Карнача разумным человеком, когда-то, когда был моложе, просто влюблен был в свояка-архитектора за ум его, талант, остроумие, веселость. Неужели же он, Герасим Петрович, такой проницательный и тонкий знаток человеческой психологии, двадцать лет ошибался? Что же произошло? Что изменилось? Или кто изменился?

Ему хотелось быть предельно объективным. А может быть, он сам в чем-то изменился, что-то утратил? Нет. Абсурд. У Карнача не только нелады в семье. Целая цепь поступков, за каждый из которых любой другой работник, даже занимающий должность повыше Карнача, давно, как говорится, стоял бы вот на этом красном ковре. Это он оберегал Карнача от партийного и общественного суда. Но дальше оберегать невозможно. А то сам потеряешь принципиальность и увязнешь в обывательском болоте. Работать с ним вместе больше нельзя. Как он разговаривал в последнее время! Этот его анархизм в архитектурных вопросах... Письма о «химике» и Заречном микрорайоне... Попробовал бы подобным образом высказать свое частное мнение даже главный архитектор столицы, Минска, посмотрел бы я, чтобы от него осталось. Карнач прямо-таки переходит все границы. А кто виноват? Он, Игнатович. Давал поблажки, приучил решать важнейшие градостроительные дела в дружеской обстановке, за чашкой кофе или даже рюмкой коньяку. Нет, всегда надо выдерживать дистанцию на таком посту. Не только со свояком — с отцом, с сыном, с женой. Люди слабы. И от любого попустительства, неправильно понятой демократии теряют чувство ответственности, такт, меру дозволенного.

Мысль о том, что Карнача надо наказать, как-то испугала Герасима Петровича. Собственно говоря, испугала не самая мысль, а то, что это должен сделать он, кроме него, никто этим не будет заниматься. Парторганизация исполкома? Карнач там заместитель секретаря партбюро и играет в бюро первую скрипку.

И, наконец, заявление поступило не куда-нибудь, а персонально на его, Игнатовича, имя. Было бы беспринципностью и недостойной трусостью шмыгнуть в кусты, поручив разбираться кому-то другому. Этого, не в пример некоторым руководителям, он никогда не делал. Всегда считал, единственно правильная позиция руководителя — любые вопросы решать без скидки на дружбу, родство, кумовство.

Но тут же им овладело странное, тягостное ощущение утраты. Почему-то вспомнились слова Сосновского о дружбе. Ах, вот что, жаль двадцатилетней дружбы! Да, жаль, он не скрывает, что это так. Может признаться в этом Лизе, Даше, самому Карначу... Даже Сосновскому. Между тем слова Сосновского выплывали, как в магнитофонной записи: «И если ты узнаёшь о неладах в семье друга тогда, когда дело дошло до разрыва... я тебя поставил бы на этот ковер рядом с Карначом...»

Опять разозлился на Сосновского. «Старый моралист. Хотел бы я посмотреть, как ты вертелся бы, если б что-нибудь подобное отмочил твой партизанский дружок Гречаник. Своих партизан ты всегда выгораживаешь... Для всех у тебя одна мерка, для партизан — другая».

Герасим Петрович поднялся, подошел к окну. На улице была оттепель. Груды сметенного к тротуарам снега почернели. Посреди улицы чирикала и дралась стая воробьев. Что они там нашли? Какая пожива могла оказаться посреди городской улицы? Потом вспомнил. Один партизан из отряда Сосновского, председатель ближнего колхоза Иван Музы́ка (фамилия как нарочно для него придумана!), и до сих пор часто приезжает зимой в город на лошади. Расписной возок. Добрый жеребец. И хозяин в кожухе. Едет не спеша по центральной улице, задерживает транспорт, собирает ребят.

Как-то Игнатович сказал Сосновскому, что следовало бы Музыке запретить это цирковое представление. Но Сосновский посмотрел на него с удивлением и спросил язвительно: «А что тебе еще хочется запретить? Выкладывай всю программу-максимум».

Вчера был пленум обкома, и Музыка опять приехал на лошади. Там, где танцуют воробьи, стоял возок, и распряженный конь хрупал клевер. А после пленума вместе с Музыкой вышел Сосновский и, как цыган, долго осматривал действительно красивого молодого жеребца. Когда Музыка запряг, Сосновский сел с ним в возок, и они поехали по пустынным вечерним улицам к реке. Правил Сосновский. Актеры. Игнатович никогда не поверит, что в наше время у старых солидных людей, имеющих персональные машины, есть искренняя потребность проехаться на лошади. Все игра в селян. Музыке этому часа три надо трястись на лошади, если не больше, а на «Волге» доехал бы в полчаса.

Однако все-таки воспоминание, вызванное воробьиной стаей, развеселило, во всяком случае, отвлекло от нелегких мыслей, привело в некоторое равновесие. В конце концов, Дашино заявление — мелкий эпизод в его большой и многоплановой работе. Подумаешь, еще одно письмо от жены, не умеющей удержать мужа!

Герасим Петрович вернулся к столу, взял с подставки ручку-«ракету», нацелился ею на Дашино письмо, чтоб написать резолюцию. Но «ракета» повисла в воздухе.

Выносить на бюро одно это заявление мелковато. Конечно, можно создать персональное дело и из неверности жене. Но в случае с Карначом могут по-разному к этому подойти. Какой-нибудь Кислюк разведет либеральную демагогию. А половинчатого решения быть не должно. Да и вообще он, Игнатович, всегда верен принципу: любой вопрос решается комплексно. Только при таком решении можно избежать ошибок.

Герасим Петрович набрал номер телефона и вызвал к себе заведующего отделом Языкевича.

Тот явился мгновенно.

Игнатович гордился своим аппаратом. Работает, как хорошо отлаженные часы. Заведующие отделами, инструкторы, техперсонал — люди образованные,

энергичные, преимущественно молодые. Тех, кто хотел спокойно, без лишних эмоциональных нагрузок доработать до пенсии, он переместил в другие учреждения на более высокие должности. Никто как будто не обижен, а делу на пользу. В конце концов, весь ритм жизни в городе зависит от работы горкома.

— Как идет проверка седьмого треста? — спросил Игнатович у заведующего отделом.

— Работаем день и ночь, Герасим Петрович.

— Ночью надо спать, а не работать.

— Да это так говорится. Однако вечера прихватываем. Там у них чем дальше в лес, тем больше дров. Завалы.

— Что, Буховец погорит?

— Боюсь, что погорит. Приписки выявляем. Премии незаконные.

Игнатович тяжело вздохнул. Он действительно огорчился. Буховец долгое время считался лучшим руководителем стройтреста, пока не поступил от рабочих сигнал. Рабочий класс теперь — политики, экономисты, они видят глубже, чем некоторые руководители.

— Скажи, Арсений Николаевич, почему некоторых людей тянет на махинации? Неплохой же человек этот Буховец.

— Соблазны.

— Какие соблазны?

— Разные. А человек слаб по своей натуре.

— Мысль о человеческой слабости выкинь на свалку. Не наша философия. В период нэпа могли кивать на соблазны, о которых ты думаешь.

— А я не о тех думаю. Главный соблазн теперь для

таких, как Буховец, всегда быть впереди, на виду. А в строительстве это очень непросто... при нашем материально-техническом обеспечении.

— «...при нашем...». Мрачные у вас мысли, товарищ Языкевич.

— Да нет, я оптимист, Герасим Петрович. Но и реалист.

— Ну вот что, оптимистический реалист, считаю, что нам следует вопросы градостроительстве рассмотреть в комплексе. Надо проверить работу архитектурного управления.

— Понятно, — Языкевич уже знал о письме жены главного архитектора и мигом связал одно с другим. А Игнатовича неприятно поразило и заставило насторожиться это его «понятно», обычно Языкевич любил порассуждать и пожаловаться на перегруженность.

— Что — понятно?

— Что надо проверить. Будет сделано.

— Кто проверит?

— Мы проверим. Отдел.

— У вас есть архитекторы?

Языкевич не мог скрыть своего удивления:

— Будем создавать комиссию?

Комиссия создавалась тогда, когда заранее знали, что по учреждению, на которое поступили сигналы, придется делать самые серьезные выводы. Архитектурным обликом новых районов города его патриоты гордились: строим, мол, не хуже, чем в Москве и в Минске. Больше всех гордился сам Игнатович. Но Языкевич хорошо знал, что там, где работа определяется не процентом вала, количеством станков, пар чулок или метров ткани, а представляет

собой многостороннюю, иногда незаметную организационную деятельность, контроль за работой других, там всегда можно найти ошибки и недочеты. А если это еще происходит в сфере искусства, можно смело записать, что хочешь, никто не сможет оспорить. Очевидно, архитектурное управление нужно «сечь под корень» — под Карнача. Но не ударит ли это рикошетом по всем, Герасим Петрович, и ведь никто столько не занимался архитектурой, сколько лично вы сами? Как же тогда сочетать одно с другим? Не бросят ли нам: куда ж вы раньше смотрели?

Как же ориентировать комиссию? Какую задачу он поставит?

А между тем Герасим Петрович, кажется, считает, что разговор окончен, начал читать письма.

Языкевич повернулся на стуле так, что он натужно заскрипел.

— Кого из архитекторов включить в комиссию? Шугачева?

Герасим Петрович покраснел от гнева. Этот парень из молодых, да ранний, ему пальца в рот не клади. Ловко умеет застраховать себя от ошибок. Старательный, аккуратный, но ни одного вопроса не двинет с места, пока не узнает мнения начальства. Ишь как хитро подъехал! Но в данном случае Игнатовичу нет нужды загадывать загадки.

— Нет. Шугачев — не та кандидатура. Это тень Карнача. Пригласите Макоеда.

Языкевич вскочил со стула, вот теперь ему действительно все понятно. Пошел к двери, но Герасим Петрович его остановил:

— Подготовьте справку о том, как выполняется постановление горкома о наведении порядка в садово-огородных кооперативах.

Языкевич сообразил, зачем это и что нужно

подчеркнуть в такой справке, и почувствовал своего рода восхищение своим руководителем: вот это в самом деле комплексное разрешение вопроса!

Выйдя в приемную, он достал платок и вытер лоб, точно в кабинете было жарко. Сказал Галине Владимировне, смотревшей на него вопросительно:

— Неисповедимы пути господни.

Она не поняла. А ей очень хотелось знать, как Герасим Петрович реагировал на письмо жены Карнача. Но в приемной были посторонние люди, и она вышла вслед за Языкевичем в коридор. Окликнула:

— Арсений Николаевич.

Он галантно повернулся, поправил галстук.

— Дорогая Галина Владимировна. Всегда к вашим услугам...

Ему нравилась эта красивая молодая вдова, чрезвычайно услужливая, хороший товарищ: что ни попросишь, всегда сделает, даже если это и не входит в ее прямые обязанности.

— Он поручил это вам?

— Что?

— Разобраться с жалобой жены главного архитектора?

Арсений пожал плечами.

— Ни о какой жалобе он ничего не говорил.

— Не говорил? — Она удивилась.

Языкевич подошел ближе, вгляделся в ее лицо, увидел, что она взволнована, и в нем разгорелось любопытство. Гляди, правду говорят, в тихом омуте черти водятся. Такая недотрога...

— А почему вас так встревожила эта жалоба? Уж не

закрутили ли вы роман с Карначом?

— Ну что вы! — Она испуганно оглянулась: не слышал ли кто?

Языкевич засмеялся.

— Ах, женщины! Как легко вы себя выдаете! Что ж, Карнач — мужчина, достойный женского внимания. Староват, правда. Я ваш ровесник, а вы не замечаете моих чувств, Галина Владимировна. Потерпев поражение, посыпаю голову пеплом. И славлю победителя!

Он галантно склонил перед ней голову с густыми, красиво причесанными, цвета спелой соломы волосами; горкомовские сотрудники посмеивались, что Языкевич каждое утро, как модница, делает прическу в парикмахерской.

Галине Владимировне давно не нравились ухаживания Языкевича, она даже боялась, как бы он своим поведением и пустой болтовней не бросил тени на ее доброе имя. Теперь она испугалась, что выдала себя перед человеком, который не очень умеет держать язык за зубами. Надо было обернуть все в шутку. Но ничего не могла придумать. Не кинуться же просто так назад в приемную, как смущенная школьница. Между тем Языкевич подумал, что откровенность ему не повредит, тем более что никакого секрета нет. Через Галину Владимировну больше проходит секретов. И он ответил тихо и серьезно:

— Нет, заявления он не показывал. Но поручил проверить архитектурное управление.

— Спасибо, Арсений Николаевич.

— Не за что, Галина Владимировна.

Она вернулась в приемную. А Языкевич, может быть, впервые забыл о своей прическе и взъерошил ее пятерней. Но тут же дал себе джентльменский наказ: никому ни слова о том, о чем он догадался. К тем, кого

уважал, он умел относиться серьезно.

А для Галины Владимировны начались душевные муки. Она так часто в последнее время думала о Максиме Евтихиевиче, что чувствовала: если не сообщит ему о нависшей над ним угрозе, будет переживать это как измену. Не измену любимому. Боже мой, какой там он любимый! Об этом она и думать боялась. Измену хорошему человеку, другу. Смелости и в мыслях у нее хватало лишь на то, чтоб надеяться на его дружбу. При всей своей общительности и доброте, самых лучших отношениях со многими товарищами по работе, за стенами своего учреждения она жила уединенно, нелюдимо. Соседки, жены летчиков, изредка наведывались, помогали присмотреть за детьми, но душевного контакта, такого, как при жизни мужа, с ними не получалось. И вот явился человек, и будто вспыхнул маяк в ее одинокой жизни. Она шла на этот маяк с надеждой и страхом. Но если б она узнала, что из-за нее произошел разлад в другой семье, она пережила бы это как еще один страшный удар судьбы, и у нее хватило бы силы заставить себя даже не думать об этом человеке. Когда Таня, дочка, маленькая глупышка, насторожилась, — как она испугалась! А какой страх пережила сегодня, когда из общего отдела ей передали письмо его жены. Если б в письме было хоть одно слово о ней, она, верно, тут же без объяснений оставила работу и никогда больше не появилась бы здесь. Нет, ничего о ней не могло быть. Нет у нее никаких дурных намерений. Только одно — помочь ему, предупредить...

Но это вроде бы выдать служебную тайну и... изменить другому человеку — Герасиму Петровичу, которого она глубоко уважает. Он взял ее на работу в очень трудное для нее время. Работать с ним хорошо, несмотря на его требовательность. Некоторых работников он, случается, отчитывает, без крика, без шума, но так, что вылетают они из кабинета, как из хорошей парилки. С ней Герасим Петрович всегда добр, приветлив, внимателен, заботлив. Заболел Толик, потребовал, чтоб она уехала домой ухаживать за малышом. Ей Герасим Петрович никогда не приказывает — просит: «Галина

Владимировна, пожалуйста… Когда вы можете это сделать? Сегодня же? Можно и завтра. Спасибо».

И она старается ни в чем не подвести его. У нее всегда хватает такта без предупреждения понять, о чем можно говорить, о чем нельзя, что является тайной этой высокой организации и ее руководителя.

Галине Владимировне сразу не понравилось, что письмо жены Карнача вскрыли в общем отделе и довольно болтливая работница экспедиции прочитала его. Так что напрасно Герасим Петрович держит письмо в секрете… Секрета уже нет. И она не выдаст никакой тайны, если позвонит.

Позвонить или не позвонить?.. Рассказать или не рассказать?

Набрала номер его телефона, но на последней цифре спохватилась. Разве можно говорить отсюда, из приемной?

Вышла в коридор, открыла кабинет болеющего сейчас работника (все ключи лежали в приемной), заперлась там и с решимостью пловца, который кидается в холодную воду, чтоб спасти утопающего, набрала номер телефона.

Раздался его недовольный, раздраженный голос:

— Слушаю.

От волнения выдохнула нелепое «алло».

— Кто говорит?

— Я… — как девочка, пискнула Галина Владимировна.

— Кто я? — Он явно сердился, и волнение ее перешло в страх.

— Галина Владимировна, — назвалась она шепотом, словно стесняясь своего имени.

— Кто? Ах, вы?! Минуточку...

Как видно, он плотно зажал трубку рукой, но все-таки прорывался его возбужденный голос, он кому-то выговаривал.

Забывшись, снял с микрофона руку. Послышался другой голос:

— Ты ответишь за свои слова.

— Отвечу, Анох, отвечу. Я никогда не уклонялся от ответственности.

Стукнула дверь. Тогда он сказал приветливо и весело:

— Мне приятно слышать ваш голос, Галина Владимировна. Как вам живется? Хочу вас видеть. Но где? Стал придерживаться мудрого правила: не ходи туда, куда тебя не зовут, где тебя не ждут...

— Раньше вы часто приходили к нам.

— Ах, зачем вспоминать, что было! Не те времена, и мы уже не те, — он говорил шутливо, довольный, что она позвонила. Галина Владимировна почувствовала это, и тем труднее было сказать то, ради чего она отважилась на звонок. Сказать — сразу погасить ту маленькую радость, которую давал этот легкий, ни о чем разговор.

Она вздохнула.

— Максим Евтихиевич... Ваша жена написала заявление...

Он умолк на полуслове, ничего не ответил. Только кашлянул, как бы подавая знак, что трубки не положил.

— Вас будет проверять комиссия.

Тогда он воскликнул, как показалось, весело:

— Хо! Дорогая Галина Владимировна! Меня проверяли сто раз. Пускай проверяют сто первый. Веселей будет работать.

Не понравилось, как он обратился: «Дорогая Галина Владимировна», — это как-то сразу отдаляло и отчуждало их. Поняла, что благодарности за это сообщение он не испытывает, и потому тихо, не попрощавшись, положила трубку.

Раньше двухнедельные Дашины молчанки казались минами замедленного действия. Как это мешало работе! Ее заявление в горком — новая мина. Видишь, а как обезвредить, не знаешь.

Зная Дашу и ее сестру, Максим не сомневался, что финал будет именно таким. Он думал об этом еще тогда, когда отвел свою кандидатуру в горком. Чего еще он мог ждать от жены? Благородства? Интеллигентности? Куда там! Она жаждет одного — отомстить любыми средствами. А средств у нее немного, фантазии не хватает. Да, он ждал этого... Однако, когда Галина Владимировна сказала о заявлении, ему будто жабу кинули за пазуху. И тут же предупреждение о проверке. Он сразу понял, какой заход делает Игнатович. Страхуется. Поэтому в самом деле стало весело, злорадно-весело. Давай, Герасим Петрович, проверяй! Я покажу тебе все огрехи, допущенные под твоим руководством!

Услышав короткие гудки, Максим выругал себя. Обо всех подумал в этот миг. О себе. О Даше. Об Игнатовиче. Только о женщине, которая, волнуясь (по голосу слышно было), с искренней добротой и сочувствием предупредила его, о ней забыл.

Набрал номер. Мужской голос ответил, что Галины Владимировны нет, вышла. Конечно, не могла она говорить из приемной. Возможно, из автомата звонила.

Весело начался день, ничего не скажешь! Попробуй после этого думать об архитектуре!

С утра был у предисполкома. Кислюк вызвал. Встретил, что туча грозовая. Раскричался: почему архитектурное управление не визирует проекта постановления о надстройке дома на Ветряной?

— Полтора месяца маринуете. Бюрократы! Я вас научу работать!

Максим догадывался о причине его гнева и спокойно ответил:

— Павел Павлович! Вы дурно обо мне думаете. Тогда, полтора месяца назад, я высказался насчет этой надстройки совершенно определенно. И не старайтесь меня напугать. Если вы еще не убедились, что я не из пугливых, я дам вам возможность в этом убедиться. Я считал, что вы давно уже приняли постановление без моего согласия. Почему вы нажимаете на меня? Почему вы хотите, чтоб я сам, своей рукой перечеркнул свой творческий замысел? Перечеркивайте вы. Я еще хочу уважать себя как архитектора, даже будучи главным архитектором.

— Вы только себя и уважаете.

— Вот это неверно. Вас я тоже уважаю. Но это совсем не значит, что мы должны целоваться.

Кислюк, наверно, понял, что Карнач догадывается о причине его раздражения, и ему стало неловко. После недолгого разговора о разных других делах Кислюк, как бы между прочим, сообщил:

— Вчера ваши близнецы получили ордер.

Максим поблагодарил.

Кислюк смутился. Потом сказал с укором:

— Здорово вы меня подвели.

Максим тайком усмехнулся, представив разговор Кислюка с разгневанным Сосновским. Но вместе с тем и жаль было — не Кислюка, своих добрых отношений с ним. Теперь они могут испортиться. А он отлично знает, как это важно — не для личной выгоды, для дела — быть с людьми, с которыми вместе работаешь, в хороших отношениях. У него же один за другим такие конфликты! Игнатович, Кислюк, Анох...

Аноха в один ряд с Игнатовичем и Кислюком ставить нельзя. Насчет Аноха он вчера высказал свое мнение на партбюро в связи с раскрытием аферы в похоронном бюро. Аноху передали, и он только что приходил требовать объяснений.

...Еще раз набрал ее номер. Ответила коротко, четко:

— Приемная.

— Это я, Галина Владимировна.

Затаилась. Не дохнет.

— Спасибо вам. И прошу простить за неучтивость. У меня сегодня трудный день.

Если б он знал, как ее тронуло его извинение и это признание, что ему трудно! Как ей хотелось ему помочь! Но что она могла сказать, когда в приемной были люди?

— Я позвоню вам, Максим Евтихиевич.

А ему не надо было никаких других слов, кроме этого обещания. Раньше мечтал оставить этот узкий кабинет и сбежать от суеты в Волчий Лог, в лес, который так хорошо успокаивает. А теперь захотелось работать. И он работал до конца дня весело и с подъемом, ожидая ее звонка.

XXI

Пришел Виктор Шугачев. Они не виделись недели две после совещания в обкоме. Максим почувствовал тогда, что Виктор обиделся за «картинки», и не навязывался, пускай остынет. У него хватит благоразумия и рассудительности, чтоб побороть обиду. Но в последнюю неделю произошли такие события, о которых очень хотелось поговорить, посоветоваться с близким человеком. А теперь у него один такой человек — Виктор, разве еще Поля. Вот почему появление друга очень обрадовало.

Но Виктор сразу после сдержанного приветствия сказал:

— Даша передала по телефону, что звонила твоя сестра — заболела мать.

У Максима тревожно екнуло сердце. Последние годы мать нередко хворала, об этом ему рассказывали, когда он приезжал ее проведать, сообщали в письмах. Но никогда еще не бывало, чтоб сестра звонила по телефону из соседней области, из далекой глубинной деревни. Взорвало, что Даша передала даже такое известие вон каким окольным путем — через Шугачевых.

— Она что, сама не могла позвонить? — Он сказал это так, как будто во всем виноват был Шугачев. Тот разозлился.

— Что ты кричишь на меня? Твоя жена, ты и разбирайся. Черт вас знает, что у вас за отношения. Нечеловеческие какие-то.

Да, действительно нечеловеческие.

Максим набрал номер салона-магазина.

— Карнач попросите. — Его передернуло, что он должен называть собственную фамилию, чтоб вызвать человека, к которому испытывает сейчас не просто неприязнь — вражду. Заявление ее в горком не вызвало таких чувств, как то, что она не позвонила о болезни матери.

Даша взяла трубку.

— Карнач слушает.

— Что говорила Рая?

Даша помолчала. Неужто раздумывала, отвечать или не отвечать?

— Плохо было слышно. Я одно разобрала — заболела

мать...

— Ты не могла позвонить мне утром? Полдня прошло.

Она не ответила и, он положил трубку.

Шугачев сказал с обидой:

— На нее ты не кричишь.

Ах, Витя, даже ты не способен понять, почему я не могу повысить на нее голос. В отчаянии кричат на близких людей, а не на чужих.

— Надо ехать.

— Разумеется, надо ехать, — подтвердил Шугачев. — Мать у нас одна. Мою похоронили в войну, когда я был на фронте.

Максим застыл на месте и посмотрел на него так, что тот испугался.

Сердце, мозг обожгла страшная догадка: потому Даша и позвонила не ему, а Шугачеву...

— Витя, если ты что-то знаешь, говори! Я не ребенок и не слабонервная дама.

Нет, Шугачев ничего больше не знал.

В самолете, взволнованный, возбужденный всем, что пережил, и усталый от поспешных сборов — нелегко было достать билет на самолет и попасть к рейсу на Минск, — Максим, думая о матери, старался успокоить себя: не впервые мать болеет, старость. Но спокойствие не приходило. Чем больше думал, вспоминал, тем сильнее охватывало чувство вины перед матерью. Вспомнил, как пять лет назад он забрал ее к себе в город. Навсегда забрал. Мать ехала, довольная вниманием сына, и всю дорогу твердила:

«Ты не бойся, сынок, с Дашей я уживусь. Я с каждым могу ужиться. Ты ведь знаешь, я ни с кем из соседей за

всю жизнь не посварилась».

Да, мать у них такая. Отец был другим человеком, у Евтихия натура цыганская; Максим и внешностью и характером был в отца, иной раз жалел, что ему не хватает материнской мягкости.

В первый же день Даша странно отнеслась к матери, хотя дала согласие на ее приезд. Нет, она не надулась. Она была сверхпредупредительна. Но ничего так не стесняет, как сверхпредупредительность. Максим случайно услышал, что Даша учит мать, как пользоваться туалетом. Это его просто потрясло. Конечно, мать, умную, с большим житейским опытом, к тому же по-деревенски стыдливую, не могло не обидеть недоверие невестки к ее сообразительности и опрятности.

Он возмутился:

«Что ты делаешь?!»

«А что? — наивно удивилась Даша. — Она же из деревни».

«А ты откуда?»

Обиделась. Тогда только начинались упорные ее молчанки. Они тревожили, и Максим надеялся, что его добрая, общительная мать хорошо повлияет на невестку. Может быть, Даше будет стыдно перед такой свекровью проявлять не самые привлекательные черты своего бабьего, в худшем смысле этого слова, характера.

Даша оставалась с матерью предупредительной и ласковой, как будто бы и в самом деле старалась показать себя с лучшей стороны. Но Максим скоро увидел, как нелегко старой крестьянке от этой ласковости. Ей хотелось угодить невестке, и она не знала, где сесть, где разуться, куда положить свою косынку, чулки; как поставить стулья, чтоб было хорошо. А еще мучилась, что нет привычной работы.

Всю долгую жизнь работать от темна до темна и вдруг оказаться совсем без дела да еще в одиночестве.

Целый месяц маялась мать в их модерно обставленной квартире. И у него, у сына, который видел эту маету, иной раз появлялось бешеное желание сломать, разбить в щепу эту стильную мебель.

Наконец мать не выдержала. Со страхом, что он рассердится, взмолилась:

«Сыночек, родненький, отвези ты меня назад, к Рае. Пусть уж я помру на родной земле. Не могу я здесь, истомлюсь. Словом не с кем перемолвиться. Это ж хуже, чем в лесу».

Это был укор всем им: ему, вечно занятому, сверхвежливой невестке, внучке, которая, вернувшись из школы, оглушала бабушку непонятной и неинтересной музыкой, а потом мчалась на каток. Может быть, плохо, что он привез ее зимой, может быть, летом она сошлась бы с другими стариками, которые кучками собираются во дворе. Нет, летом ей, наверно, было бы еще тяжелей. Летом она не выдержала бы без работы, без огорода, где ползала на коленях и опалывала каждый стебелек лука, огурцов, кукурузы, укропа, подсолнечника. И как все росло от прикосновения ее рук, потресканных, скрюченных от тяжелого труда! Каждый раз, когда он приезжал в гости и смотрел на эти руки, ему в самом деле хотелось поцеловать их. Но боялся, что смутит этим мать...

Встретила его Рая, сестра. Выскочила из хаты в одной кофточке, как только услыхала, что у двора остановилась машина.

Максим, которого при приближении к родной деревне снова охватил страх и тяжелые предчувствия, взглянул на сестру и успокоился: не похоже, что случилось самое страшное.

— Как мама?

— А плохо, Максим. После гриппа воспаление легких. Слабенькая совсем. Боимся, потому тебе и позвонили.

Они даже забыли поздороваться, Заснеженный двор был завален бревнами и досками. Дохнуло тем родным запахом, какой всегда был на их подворье, когда еще жил отец — плотник, столяр, бондарь, — ароматом свежего дерева, стружек, опилок.

Зять, колхозный шофер, развернул строительство: к длинной хате пристроил почти такой же длины трехстенку. Богатеют люди. Но, окинув постройку глазом архитектора, Максим подумал, как безвкусно и нерационально производится это расширение.

Мать лежала в темной боковушке за печью на самодельной деревянной кровати.

Рая включила свет. И Максим ужаснулся, как мать изменилась с лета, когда он видел ее в последний раз! Совсем высохла, казалось, под одеялом нет тела, видна лишь седая голова. И лицо изменилось, стало маленьким, худеньким, как у больного ребенка, серым, как пепел, как ее волосы.

На свет мать открыла глаза. Но не остановила взгляда на сыне, смотрела куда-то мимо, в пространство, может быть, в какую-то таинственную бездну, которую видит только тяжелобольной.

Максим опустился перед кроватью на колени.

— Мама, это я.

Всхлипнула Рая.

Мать молча выпростала из-под одеяла руку, с трудом подняла ее и положила легкую прозрачную ладонь на его голову, будто так, на ощупь, пыталась узнать сына.

Наверно, спазм радости или, может быть, боли сжал ей горло, и она долго не могла ничего сказать. А потом спросила тихо, но в полном сознании:

— Ты без Даши?

— Один, мама.

— И без Ветки?

— Вета вышла замуж, мама.

— Когда получили твое письмо, ей так захотелось повидать Вету. Собиралась, когда поправится, поехать, — сказала Рая, стоявшая за его спиной.

Это Максима растрогало больше всего; он опустил голову, боясь, что мать увидит его слезы и они могут ее испугать, потому что, верно, она и забыла уже, когда ее Максим плакал, с ним это и в детстве редко случалось, таким его вырастил отец, который не любил, высмеивал слезы, даже детские, а мужчину, который плакал, за мужчину не считал.

Рая вышла из боковушки.

Тогда мать призналась:

— Больно мне, сынок. Все тело болит. Может, от уколов. Пусть бы они не кололи меня.

Он посмотрел на табуретку рядом, где стояли лекарства: пузырьки пенициллина и стрептомицина, таблетки этазола, коробочка с кордиамином в ампулах, валокордин и какие-то незнакомые большие красные таблетки, видно тоже сердечные. Лекарства эти встревожили даже больше, чем вид больной. Значит, доктора боятся за сердце. Сдает сердце. Да как ему не сдавать, когда оно пережило столько горя, боли, утрат!

И тут он услышал шепот матери:

— Спаси меня, сынок.

О, как резанул по сердцу этот шепот, эти слова, эта мольба о спасении, в которой звучали страх смерти, жажда жизни! Да, ей хочется жить, хочется видеть счастье внуков. Еще несколько лет назад мать сказала

здесь, в этой хате, за праздничным по случаю его приезда столом:

«Вот когда жизнь начинается!»

Но что он может сделать? Ей очень худо, если она так говорит. Никогда мать ничего у детей не просила. Им отдавала все — любовь, силы, труд. Что ей сказать? Как успокоить, чтоб не думала о смерти? Не нашлось у него таких слов. А говорить обычные, банальные не мог.

Рая бренчала тарелками, собирала на стол, чтоб накормить брата.

В светлой комнате, куда Максим вышел, за полгода многое изменилось: вместо старого малоэкранного телевизора стоял новый «Горизонт», у другого простенка сверкал белизной холодильник. Быстро богатели в этой хате. Даже стол новый, круглый, большой, стоит посреди комнаты, что для крестьянской хаты непривычно. Раньше там, в углу, стоял старый стол, сделанный еще отцом. Куда они его девали? Неужто сожгли? Стало до боли жалко того стола и еще чего-то, что ушло из хаты под натиском нового достатка.

От завтрака отказался. Ходил вокруг стола угрюмый, задумчивый. Рая робко следила за ним. Она с детства и любила и боялась старшего брата. В войну, пока не ушел в армию, он был за хозяина в доме, даже мать слушалась его.

Нет, не новые вещи его раздражали. Контраст между боковушкой, где лежала мать, и этой торжественно убранной, светлой комнатой, с фикусами, с тюлевыми занавесками на окнах и вышитыми дорожками на диване и на телевизоре. Боковушка отгорожена для матери. Что старухе нужно? Теплая постель, печь? Так она там, у нее, только из ее каморки можно забраться на печь? Окно? Так она же весь день на дворе. Весь мир перед ней.

Но теперь, когда мать захворала? По сути, она лежит на

кухне, рядом варят и парят не только для семьи — для свиней и коровы. К тому же больная могла еще больше простудиться. Сеней нет. Разобрали. Трехстенка пока без окон и дверей, по ней гуляют сквозняки, они задувают в хату, как только открывается дверь. Он почуял это дыхание холода, когда стоял возле матери, а Рая вышла за чем-то из хаты. Да, наконец, такому больному нужен дневной свет, сияние снега, нужна жизнь!

«Спаси меня, сынок».

Неужто ни у кого — ни у Раи, ни у Петра, ни у племянниц — не хватило соображения?

— Вам что, негде ее положить? — спросил тихо, но так, что сестра вспыхнула от сознания вины и стыда.

— Так ведь она сама не хочет, Максим. Можно у нас в спальне.

Он резко распахнул дверь в другую боковушку, светлую, которая называлась спальней. Там стояли железная кровать и рядом детская, деревянная.

Максим перекинул гору подушек с большой кровати на детскую.

Рая испуганно суетилась рядом.

— Постели!

Но тут же подумал, что он несправедлив и жесток с сестрой. В конце концов, ни он, ни младший брат Анатолий, инженер-железнодорожник, не дали матери тепла, которое грело бы ее старость. Не захотелось ей жить ни у него, ни у Толика, холодно ей было в их городских квартирах. А Рая, ее дети, давали это тепло, эту полноту жизни, только тут матери было хорошо и уютно, хотя Максим знал, с Раей мать не всегда ладила, Рая грубовата, криклива. На зятя мать жаловалась— пьет Петро, при детях и при ней, старухе, ругается. Но все здесь было свое, родное. Не Дашина вежливость, от которой, наверно, стыла кровь.

Он сам перенес мать из темной боковушки в светлую спальню. Как ребенка, завернув в одеяло. То, что он впервые взял мать на руки, почему-то смутило и испугало. Испугало, очевидно, потому, что мать была очень уж легкая, для его мужских рук почти невесомая, пятилетний ребенок тяжелее. А что смутило, понять не мог.

Дневной свет ослепил мать, но и обрадовал. Она зажмурилась и болезненно улыбнулась. Как будто удивилась:

— Снег идет?

— Замело так, что едва проехал.

— Сретение. Зима встречается с весной. Последнее подметает.

О весне она сказала, с надеждой взглянув в глаза сына.

Чтоб совсем не обидеть Раю, согласился позавтракать. Поковырял вилкой картошку, яичницу, выпил чай, пахнувший дымом. Спросил, кто мать лечит. Сестра хвалила их докторку: молодая, всего второй год работает, но очень внимательная, все ею довольны, к матери два раза на день приходит, хотя полдеревни гриппует.

Для Раи старательность, внимание доктора — это все, что нужно. Но он знает, что одной старательности мало в любом деле, а в лечении человека особенно. Нужны умение, опыт. Вряд ли есть он у молодого врача. Надо вызвать доктора из районной или областной больницы. Но как это сделать? На беду, так замело, что санитарная машина не пройдет, пока не расчистят дороги. А снег все еще сыплет, хотя метель утихла.

Вернулась от соседей племянница, шестилетняя Люда. Громко что-то рассказывала матери там, за дверью, в пристройке. Вошла в комнату застенчиво, но, очевидно, наученная матерью, подбежала, поздоровалась:

— Здравствуйте, дядя Максим, — и обняла за шею

холодными ручками, холодными губами поцеловала в горячую щеку.

Выполнила обязанность и сразу к бабушке. За перегородкой звенел ее веселый голосок:

— Баба, а я тебе принесла яблоко. Тетка Фекла дала. Гляди, какое! Подмерз только один бочок, — и засмеялась тому, что у яблока подмерз бочок.

И бабушка тоже что-то ответила ей, но так тихо, что нельзя было расслышать.

Малышка не думает о том, о чем думают они, взрослые, чего боятся и, ничего не делая, ждут. Ребенок верит, что бабушка всегда будет с ней.

Мысль эта подняла Максима с дивана. Сорвал с лосиных рогов пальто, оделся.

Вошла Рая. Удивилась:

— Куда ты, Максим?

А он удивился ее вопросу.

— Надо же что-то делать.

— Что ты сделаешь? У Клименковых целый год старик лежит.

Вот оно, покорное ожидание: чему быть, того не миновать; под старика, мол, руки не подложишь.

На голос матери выбежала из спальни Люда. Девочка кашляла, бухала, как из бочки. Максим подумал, что если б так кашляла маленькая Вета, какую бы тревогу подняли они, сколько врачей мобилизовали бы!

— Что это она у вас так кашляет?

— А снег ест, глупая.

Люда весело скалила зубки. Узнав, куда дядя собирается идти, тут же предложила проводить его до

больницы.

В приемной медпункта сидело много больных. Женщин постарше Максим знал в лицо, хотя имена некоторых и позабылись, больше помнил уличные клички — Здариха, Сойка, Бурбалка. Его узнали все.

— Как там матка, Евтихиевич?

— Это ж мы одногодки с Татьяной.

— А как твое здоровье, Максимка? Как семейка? Сочувствие, обращение к нему, как к маленькому — Максимка, — растрогали. Ему радушно уступали очередь:

— Иди, иди, поговори с докторкой. Мы подождем.

Только молодка одна, должно быть, чужая, глядела неприветливо, явно недовольная, что его пропускают вперед.

Первой, как мышка, прошмыгнула к врачу Люда, мимо тракториста, который вышел из кабинета. Люда успела представить его.

Врач сперва не понравилась. Высокая, худощавая, с грубоватыми мужскими чертами лица, не освещенного ни девичьей улыбкой, ни женской добротой. Что солдат в белом халате. Но, присев напротив, вглядевшись в нее, Максим увидел красивые голубые глаза, в которых светились ум и сердце. Такие женщины не порхают, как мотыльки, профессию выбирают по призванию и работают с душой. Таким не всегда везет в личной жизни, но если уж повезет, то жены и матери из них, как правило, образцовые, верные, самоотверженные.

Положив большие, как у мужчины, руки на стол, сплетя пальцы, Вера Ивановна серьезно и подробно, словно докладывая консилиуму, но популярно, не употребляя непонятных медицинских терминов, рассказывала Максиму о болезни матери. Не утешала, не таила ничего, из слов ее следовало: положение тяжелое.

Он перебил ее:

— Что ж, выходит, нет никакой надежды?

Она ответила не сразу:

— Я этого не сказала. Но возраст. Семьдесят четыре...

Максим печально усмехнулся.

— Значит, пожила бабушка, имей совесть?

Врач, спокойная и уверенная, как старый профессор, вдруг совсем по-девичьи вспыхнула, лицо ее болезненно передернулось. Сказала с укором:

— Зачем вы так, Максим Евтихиевич? Врач никогда так не думает.

— В больницу вы могли ее положить?

Вера Ивановна вздохнула.

— Вы не знаете, что у нас творится сейчас в больницах. Все коридоры заполнены больными. Кроме того, боюсь, что теперь мы ее не довезем.

Значит, действительно безнадежность, никто и ничем уже не может помочь. Что ж это такое? Он в панике окинул взглядом врачебный кабинет. Сколько лекарств в стеклянном шкафу! Сотни названий. И среди них нет ни одного, которое могло бы спасти мать? Неужели нет? А может быть, она, молодой врач, просто не знает такого лекарства?

— Вы простите. Но я бы хотел, чтоб мать посмотрел более опытный врач. Не обижайтесь.

— Я понимаю.

— Как организовать такую консультацию?

— Организовать можно. Но кто в районной больнице может сойти за профессора? — Она сказала эта серьезно и раздумчиво, однако Максим уловил в ее

голосе иронию — скепсис молодого по отношению к старшим коллегам, — Я одному нашему врачу верю. Главврачу Христицкой больницы Бохуну. О, это талант! — В глазах ее блеснула зависть. — Однако официально его не пригласишь. Не поедет. Главный районный и так его не любит. У кого слава, тех не любят. Председателя нашего знаете? Юрия Ивановича? Они друзья. Только он может привезти Бохуна.

С председателем колхоза, тогда новым человеком в деревне, Максим познакомился года три назад. Больше встречаться не пришлось, да и не хотелось: председатель не проявил к архитектору никакого внимания, его нисколько не заинтересовал горожанин, который раз в год приезжает навестить мать. Но за это время молодой агроном прославил колхоз. От Раи, Петра и от старой матери он только и слышал, когда заезжал сюда, как повезло их колхозу, какой разумный руководитель Юрий Иванович.

«Справедливый мужик!» — подвыпив, Петро особенно хвалил председателя; это почему-то не укрепляло веру Максима в его высокие качества, ведь сам Петро — хитрюга и ловкач, из тех, кому обычно легче живется при руководителях другого типа.

В новой конторе правления председателя не было. Но людей набралось много. В кабинетах работали женщины — бухгалтеры, плановики, лаборанты. А в зале заседаний сидели мужчины. Курили. Играли в шашки. Зимой всем работы не хватало, а работать хотелось — заработок хороший, поэтому колхозники отирались в конторе, как на бирже, ближе к председателю, агроному, механику: иногда возникало неожиданное дело, естественно, что направляли тех, кто был под рукой,

К Максиму пристал друг детства, бывший одноклассник, небритый, под хмельком мужик.

— Ты, Евтихиевич, во! — Большой палец кверху. — А Яшка Копылов — во. — Мизинец вниз. — Но ты не задавайся. Не задавайся, что ты — во, Яшка тоже

может быть — во-о! Никто не ведает, какой во мне талант пропадает. Думаешь, у одного тебя талант? На, съешь, — и ткнул Максиму дулю. На него возмущенно зашикали старики. Яшка матюгнулся: — А идите вы... Ни хрена вы не знаете, какие мы с Евтихиевичем номера откалывали. Пошли выпьем за старое.

Но Максиму было не до пьяной болтовни, а тем более не до выпивки. Где найти председателя? Секретарь-машинистка — по лицу из их, карначовского, рода, но чья, Максим не мог припомнить, эти уже родились и выросли без него — разыскивала своего шефа по телефону, вызывала по полевой рации. Из третьей бригады ответили, что Юрий Иванович поехал в район. Она удивилась, что он не сообщил в контору, обычно сообщает.

Максим попросил машину. Ему нельзя ждать, ему надо найти председателя как можно скорее.

С разрешения механика машинистка позвонила на строительство свиноооткормочного комплекса и вызвала в контору Петра с его пятитонкой.

Петро явился через час, не раньше, мучительный для Максима час, потому что он не знал, куда себя девать, как отцепиться от Яшки Копылова, который купил бутылку «чернил» и требовал, чтоб друг юности выпил с ним.

Петро, который поначалу встретил шурина с искренней радостью, выслушав, зачем тому так срочно понадобился председатель, помрачнел и отправился сам проверять, разрешает ли механик ехать. Максим понимал, о чем он думал: выходит, мы с Раей мало сделали для матери, а ты, приехав раз за год, показываешь на людях, какой ты заботливый. Но бог с ним, пускай думает что хочет. Взаимоотношения свои они выяснят потом. Теперь не до самолюбия.

В дороге Петро сокрушался.

— Ох, даст нам Юрий Иванович всем, что сорвали

такую машину. Это для вас, Евтихиевич, механик разрешил. А так у него снега не допросишься. Холера б его...

Но из разговора Максим понял, что Петро не столько боится председателя, сколько жалеет об оставленной работе. Его машина отдана в распоряжение начальника управления Межколхозстроя, который возводит для них комплекс, и Петро, кроме законного заработка, имеет еще кой-какую «халтуру». Потому так не хочется отрываться. За председателем можно дотемна гонять машину.

Максим возмутился. Мать в таком состоянии, а у зятя одна забота — заработок. Однако не упрекнешь его, Трое детей, о них думает. Разве сам он не старается, чтоб у Веты было все?

В хлопотах, в разговорах с людьми отошло предчувствие беды. А поговорил с Петром, и опять оно появилось. Более того, начал сомневаться, что какой-то там сельский врач обладает чудодейственной силой. Он, Максим, сейчас напоминал тех интеллигентных людей, которые в поисках спасения для себя или близких едут за тысячи километров к неграмотным знахарям. Должно быть, он тоже поехал бы к такому знахарю. Не верил бы, а ехал. Но лучше верить. Лучше верить! Неверие, сомнение страшнее всего.

Энергичный, напористый там, в амбулатории, в правлении, здесь, в кабине машины, он обмяк, почувствовал страшную усталость. Убаюканный шумом мотора, теплом, пахнущим соляркой и металлом, белизной поля, кружением снежинок и мельканием «дворников» перед глазами, он проваливался в сон и тут же заставлял себя проснуться, чтоб Петро не подумал: на людях показывает заботу, а в машине спит, как сытый кот.

Объехали все районные учреждения и случайно перехватили председательский «газик» возле станции. Юрий Иванович сам остановился, увидев колхозную машину, которой не надлежало в тот день быть в

райцентре. Выскочил, побледнев, и сразу Петру:

— Ты почему здесь?

— Да вот Максим Евтихиевич вас ищет.

Председатель узнал архитектора и поздоровался приветливо, заинтересованный, во всяком случае, не такой безразличный, как при первом знакомстве. Выслушав просьбу, удивился:

— Вера Ивановна такого мнения о Бохуне? Чудеса! Бохуна признают больные, которых он спас от смерти, но не очень-то жалуют коллеги.

Посмотрел на часы, подумал, спланировал время.

— Ладно. Вы можете ехать домой. Я его привезу. Я верю этому врачу больше, чем кому бы то ни было.

Мать лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок и как бы к чему-то чутко прислушивалась.

— Как ты себя чувствуешь, мама?

Никчемный вопрос. Но с чего начать разговор? Глаз на сына она не перевела, но ответила ясно, только очень тихо, одними губами:

— Ничего, сынок.

— Тебе трудно говорить?

— Нет, не трудно.

Но Максима испугало, как она смотрит. Утром этого не было. Будто и взгляд, и мысли ее были где-то далеко. Далеко, в другом мире. Как умирают люди, Максим видел только на войне. Но когда это было! И умирали там молодые. Умирали совсем иначе, чаще всего мгновенно. На смертельно раненных некогда было смотреть. Отец умер без него, в госпитале инвалидов в сорок шестом; Максим служил еще в Германии. Вот уже четверть века он не видел смерти и редко думал о

ней, разве только в почетном карауле возле покойника. И каждый раз, когда думал, как умирают люди, вспоминал смерть князя Андрея: «Оно вошло и оно есть смерть». Собственные воспоминания потрясали меньше. И теперь он вспоминал сон князя Андрея. «Что-то нечеловеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее». Да, надо удержать ее. А как?

— Мама, скоро приедет доктор из района. Все его хвалят.

Мать перевела взгляд на него, посмотрела, не сознавая, о чем это он.

В большой комнате он сел на диван и словно провалился куда-то. Сильно шумело в голове. А по ногам ползли мурашки, как будто ноги окоченели и теперь в тепле отходят.

И вдруг вскинулся от громкого стука. Тюкал топор, а молоток весело, чертовски весело забивал гвозди. Он испуганно поднялся, не сразу сообразив, откуда эти звуки. Потом вспомнил, когда выходил, видел, что в пристройке настилают пол. Впервые в жизни его вывела из себя работа людей.

Рая собирала на стол, Петро приехал, чтоб вместе пообедать.

Сказал Рае зло, с раздражением:

— Вам что, жить негде, что вы так спешите с этой пристройкой?

Сестра удивилась.

— Максим! Плотники теперь свободны. Весна придет, никого не найдешь.

Он подошел к ней, прошептал:

— Мать при смерти, а ты...

Рая испуганно кинулась за дверь. Стучать перестали.

Но Петро привел плотников обедать. Мужчины разговаривали в полный голос, весело.

Петро налил по стакану водки.

Рая сказала мужу:

— Гляди же, сам не пей. Машина стоит.

— А, черт ее не возьмет, машину. В кюветах полно снега. Мягко, — и засмеялся. И плотники засмеялись.

Рая, конечно, рассказала Петру и про боковушку, и о том, как Максима рассердил стук, потому что, выпив, зять тут же, при людях, повел разговор о матери:

— Ты, Евтихиевич, не думай, матка у нас жила не в обиде. Никуда от нас не хотела ехать. Летом Толя предлагал забрать — ни в какую. Пускай, говорит, хоть золотые они, твои Уральские горы, не нужны они мне. Вот как! И золотые горы ей не нужны были. Я, может, когда шумел, пьяный...

— Пьяный ты — что борона, — уколола Рая.

— Не борона, а коленчатый вал. Имеешь дело с техникой. Но скажи, обидел я мать хоть раз? — допытывался Петро у жены. — И дети ее любят. Людочка заснуть без бабы не может. А работать — так что сама хотела, что по силе было. Без работы она не могла сидеть. Я даже сердился на нее за это. Посиди, матка, наработалась за свой век.

— Я ничего не думаю. — Максиму было неприятно, что Петро говорит это на людях.

Он хорошо знает, что лучше, чем тут, матери нигде не жилось бы. Упрекнуть может только себя. А сестру и зятя разве что за сегодняшний день. Дайте свет и тишину! Почему-то убежден, что сейчас, как ничто другое, матери нужна тишина, а не этот пьяный шум, от которого, наверно, у нее, здоровой, не раз болела голова.

Бохун — мужчина лет сорока, коренастый, полный, с круглым, как луна, румяным лицом. Казалось, лицо это и веселые хитрые глаза излучают радость. Сразу видно, что человек любит вкусно поесть, выпить и посмеяться. Максима оглядел с бесцеремонным любопытством, так в гостях глазеют на знаменитых актеров. Кстати, в движениях, в манерах Бохуна, даже в том, как, помыв, вытирал руки, была какая-то театральность.

Такой весельчак и позер не показался Максиму серьезным врачом. Только присутствие вдумчивого, озабоченного делами председателя, который, видно было, боготворил друга, сглаживало неприятное впечатление и оставляло какую-то надежду.

Но выслушивал мать Бохун долго. Ему помогала Рая.

Максим и Юрий Иванович сидели за круглым столом друг против друга, уставившись в искусные узоры богато расшитой скатерти. Молчали, напряженно прислушивались, точно там, за тонкой перегородкой, шла сложная операция, от которой зависела жизнь. Раза два мать тихо застонала, ей больно было от каждого движения.

Когда Бохун заговорил, стал расспрашивать больную и Раю, Юрий Иванович сказал почти шепотом:

— Он вылечил моего сына. Куда я только с ним не ездил. Профессора диагноз поставить не могли. А он вылечил. Талант. Я ему говорю: иди, Андрей, в науку. Не хочет. «Разве, — говорит, — защитив диссертацию, я буду лучше лечить?»

В боковушке затихло, и они умолкли.

Потом председатель показал на новый телевизор.

— Богато живут колхозники.

Не выдержал, похвастался, потому что в том, что люди так живут, есть и его заслуга.

— Богато, — согласился Максим и не удержался,

добавил: — Да строятся бестолково, — кивнул в сторону пристройки.

— Свой же архитектор, — мягко пошутил председатель.

— Думаете, легко ломать вековые традиции?

— А знаете, легко. Теперь легко. Дали бы мне материалы. И архитектора. Я построил бы новое село за счет колхозников. Не умеем мы взять деньги у людей. А деньги есть!

Вышел из боковушки Бохун, и Максим с удивлением увидел, как изменился доктор: пропала веселая подвижность, будто, пока выслушивал, осматривал больную, делал укол, страшно устал.

Встревоженный Максим поднялся, подошел к нему, несмело, по-деревенски, как женщины, спросил:

— Что, доктор?

Бохун вновь преобразился: блеснул глазами, достал из кармана гребешок, причесал красивую шевелюру, отвернувшись, подул на расческу; сделал это так, будто играл на сцене сельского модника, лихого парня.

Ответил бодро:

— Будем лечить, дорогой Максим...

— Евтихиевич, — подсказал председатель.

— Будем лечить. Вот сейчас поедем, найдем Веру Ивановну, скажем ей, что делать. Сегодня мы с ней столкуемся. Сегодня она добрая, если посоветовала вам обратиться ко мне. Раньше мы ломали копья. Помнишь, Юрий Иванович?

Как легко успокоить человека! Уметь надо, что ли? Два уверенно сказанных доктором слова «будем лечить», и у Максима исчезло предчувствие близкой трагедии, которое на протяжении дня возникало так часто. Может быть, это успокоение ненадолго. Но покамест

оно прочное. Это подняло дух, вернуло интерес к жизни, которой живут здесь мать, сестра, Петро, дети и вообще вся деревня. Наезжая сюда, он всегда любил послушать, как подвыпивший Петро незлобиво, но остроумно рассказывал о соседях, родичах.

Ушли председатель и доктор, и он спросил у Раи про Колю, ее старшего сына, студента пединститута. Как он там, в городе? Как учится? Рая сразу почувствовала перемену в настроении брата, обрадовалась. Торопливо стала рассказывать и про Колю, и про восьмиклассницу Надю, что так и не показалась дяде на глаза, пообедала и опять в школу на кружок, и про маленькую озорницу Люду, которая вертелась тут же и на жалобы матери: «Угомона на нее нет», весело смеялась и хитро подмигивала, словно призывая дядю вступить с ней в сговор и вместе выкинуть коленце.

Когда уже стемнело, еще раз приехал председатель — приглашать к себе в гости.

Не хотелось. Какие тут гости, когда о н о у порога?

Но Юрий Иванович и особенно Рая и Петро смотрели на все проще. Уговаривали: «Ну что тебе сидеть с нами целый вечер?» Своих он понимал: им льстило, что его приглашает председатель, им хотелось, чтоб он сошелся с ним ближе, подружился. Отказаться — проявить неблагодарность, невнимание к ним и эгоизм: что мне, мол, до ваших отношений, живите как хотите. Более того, получится, что он хочет показать, вот, дескать, как я внимателен к матери! О здоровой и больной о ней заботилась Рая, а он приехал по сигналу тревоги и как бы выказывает сестре недоверие. Да и Юрию Ивановичу он обязан за Бохуна. Отказаться от приглашения — обидеть. Ох эти условности! И без них нельзя, и придерживаться их — что цепями себя опутать.

У председателя уже был накрыт по-деревенски богатый стол. Горы закуски: капуста, огурцы, грибы маринованные, соленые, жареные, розовые ломти ветчины, которые еще пахли ольховым дымком, и

снежно-белое сало. Того, что на столе, хватило бы на добрую пирушку. Но хозяйка, колхозный плановик, как представил ее муж, женщина проворная и радушная, все еще что-то жарила, наполняя три комнаты финского дома аппетитными запахами.

Бохун и председатель сельсовета Адам Стешанок, односельчанин, но моложе Максима лет на десять, поэтому Максим его плохо помнил, в ожидании хозяина и гостя смотрели по телевизору хоккей. Хотя по-настоящему, не отрываясь, смотрели только Стешанок и хозяйский сын, первоклассник. Бохун ходил вокруг стола, комментируя одновременно и закуску и игру. Он, кажется, успел уже «снять пробу», потому что еще больше раскраснелся и глаза его возбужденно блестели. Врач и мальчишка соревновались, кто лучше знает игроков, их фамилии, имена, хоккейные заслуги.

Максим послушал их, пока Юрий Иванович помогал на кухне жене, и подумал, что по сравнению с этими деревенскими он дикарь, в этом сезоне не видел ни одной передачи, хотя любит хоккей. Не мог забрать телевизор на дачу, потому что знал, Даша поднимет скандал.

Воспоминание о Даше навеяло грусть. Впервые (даже у Шугачевых этого не испытывал) он позавидовал такому вот простому уюту, когда всей семьей смотрят телевизор, а из кухни тепло и вкусно пахнет едой.

Не обращая внимания на протесты сына, Юрий Иванович приглушил в телевизоре звук.

— Саша, не шуми, а то совсем выключу. Зачем тебе комментатор? Ты сам отличный комментатор.

Сели за стол. Хозяин наполнил рюмки. Но не успел предложить тост, опередил Стешанок:

— За здоровье вашей матери, Евтихиевич. Тетка Татьяна — это человек, я вам скажу. Такие люди должны вечно жить.

Максим увидел, как Бохун сверкнул глазами на председателя сельсовета, будто говоря: «Хоть ты и власть, но не лезь поперед батьки». И не чокнулся ни с кем Бохун. Молча, как-то небрежно, выплеснул водку в рот и даже не глотнул, — жгучая жидкость точно сама пошла по пищеводу. Не понравилась эта докторова ухватка, молчание его в ответ на такой тост не понравилось. Снова кольнуло в сердце недоброе предчувствие. Отпил чуть-чуть.

Стешанок запротестовал:

— Э-э, Евтихиевич, у нас так не пойдет. До нас еще постановление не дошло, на волах его везут.

Но хозяин и хозяйка не заставляли пить, предложили рыжиков: сами собирали и сами солили. О грибах и пошел разговор, потому что все, кроме председателя сельсовета, были заядлые грибники. Раньше стол начинался с рыбы и за столом всегда находились рыбаки. Теперь — грибники. И в деревне, и в городе. Современный транспорт приблизил лес ко всем. Бохун, правда, вскоре занялся хоккеем, завел спор с Сашей о только что забитом голе.

С урожая грибов перешли на урожай зерна и картофеля. Прошлогодний. И о прогнозах на этот год поговорили.

Шла неторопливая и спокойная застольная беседа людей, которые еще только знакомились и приглядывались друг к другу. Собственно говоря, приглядывался к Максиму хозяин. Стешанок принимал его как своего. А веселый на вид Бохун чем больше пил (пили они со Стешанком крепко), тем больше мрачнел. Дразнил мальчишку будто бы в шутку, но так, что Саша начал бунтовать.

— Хоть ты и крестник мой, но в хоккее ничего не смыслишь.

— Я не крестник! Меня не крестили! — протестовал Саша.

— Нет, врешь, брат. Это твои родители скрывают, а я сам возил тебя к попу. И он окунул тебя в ушат с водой. А ты здоровый уже был. Брыкался, как жеребенок.

— Неправда! Неправда! Мама, скажи ему, что это неправда, что меня не крестили! — У первоклассника дрожали губы.

Мать успокаивала:

— Конечно, неправда. Дядя Андрей, как всегда, шутит.

Получив поддержку матери, мальчик перешел в наступление:

— А вы разве верите в бога?

— Верю.

— А как же вы лечите людей?

— Молитвами.

— А я в райком напишу, что вы молитесь.

Это всех рассмешило. Бохуна в особенности. Мрачный, даже когда шутил с мальчиком, тут он расхохотался.

— Ты хорошо знаешь, куда обратиться, чтоб меня сделали убежденным атеистом.

Смех сближает людей, а удачная шутка — лучший зачин для серьезного разговора. Хозяин, отсмеявшись, обратился к Максиму.

— Вы простите, Максим Евтихиевич. И не посчитайте, что мы такие хитрецы — пригласили в гости, чтобы обротать. Не сегодня явилась эта идея. Люди подсказали, земляки ваши. Из нашего села два генерала, трое ученых, архитектор, художник, министр. Министр, между прочим, кое в чем помог, И решили колхозники обратиться к другим своим известным землякам. К вам первому.

Максим насторожился и почувствовал себя немножко

неловко от того особого внимания, которое проявили к нему все, даже подвыпивший Бохун. Чего от него хотят? К нему, случалось, обращались с просьбами, которые вынуждали поступиться своими принципами. Бывали раньше, когда работал в Минске, просьбы от земляков, которые требовали хождения по высоким инстанциям. Люди по наивности считали, что если он архитектор и живет в столице, то все может. Однако при всей своей, еще молодой тогда, энергии выбить машину или шифер он никак не мог. Невыполненные просьбы как бы отдаляли его от земляков, потому что в следующий приезд он избегал тех, кто мог подкинуть такие хлопоты и с ними угрызения совести: сделать не в силах и не сделать нехорошо.

Что подбросит ему новый председатель, которого колхозники хвалят и у которого в самом деле, кажется, есть голова на плечах?

— Надо нам начинать перестраивать село. Надо на практике, а не на словах приближать его к городу, А то скоро останемся без людей. А с чего начинать? — Юрий Иванович подождал, может быть, гость ответит на его вопрос. Но Максим промолчал. — Конечно, с материалами еще нелегко. И в план строительных работ включиться — надо походить дай бог. И вот мы поразмыслили, рассудили и думаем: а не легче ли будет пробиваться во все планы, если будем иметь архитектурный проект? Соседу придется еще заказывать, а у нас вот он, готовенький, сделанный известным архитектором, рассмотренный и утвержденный на общем собрании колхозников. Это хороший козырь.

Максим почувствовал, как учащенно забилось сердце. Когда-то в юности, когда еще учился, он иногда мечтал о такой работе — перестроить родное село. Но приезжал домой, видел, как жили люди, о чем думали — не об архитектуре, о хлебе насущном, — и мечты его гасли. А когда стали богаче, когда заговорили о перестройке села, были приняты партийные и государственные постановления, он постарел,

действительно отдалился, родным для него стал город, который строил, а не это село. Хватало проблем и забот там. Кроме того, за всю его практику ему ни разу не приходилось заниматься сельским строительством. Никакого опыта.

— И вот наша просьба, Максим Евтихиевич. Сделайте проект нового села... родного вашего села. Для начала хотя бы центра его... общественно-культурных зданий. Ну и планировку перспективную...

Председатель высказал просьбу не очень уверенно, может быть, боялся, что архитектор посмеется над таким кустарничеством.

Карнач не спешил с ответом, казалось, целиком был занят разглядыванием красивой этикетки на бутылке венгерского вина.

Никому из присутствующих не могло прийти в голову, что Максим уже видел перед собой облик села, Он возник мгновенно, словно до этого были годы поисков и раздумий.

Предложение взволновало так, что Максим не сразу нашел нужные слова. Он как бы проверял самого себя: а что у него есть в мыслях, в творческом запаснике? Хоть какая-нибудь идея есть? Но чтоб своя, оригинальная? Есть. И она сразу обрела архитектурные формы. Пускай пока еще и неясные. Так всегда. Потом, когда сядешь с карандашом над ватманом, все понемногу начнет проступать, как на фотобумаге, опущенной в проявитель. Композиция, ритм, стиль, детали.

— Мы заплатим... — подкрепил свою просьбу растерянный председатель.

Максим встрепенулся. Вот до чего довело молчание!

— Юрий Иванович, зачем же так... Вы меня обижаете. Я же здесь не заезжий шабашник.

— Простите.

— Я сделаю вам проект.

— Молодец, архитектор! Вот это по-моему! — обрадованно похвалил Бохун. — А то иной как вырвется в город, мать родную забывает.

Застолье сразу приняло другой характер. Исчезли натянутость и та церемонность, от которой чувствуют себя неловко и хозяин, и гости. Все стало просто и естественно, потому что речь шла о том, что интересовало всех.

Максим думал, что Бохун уже пьян. Нет, мысли у него толковые и к месту, интерес к делу не меньший, чем у всех, хотя жил он в двадцати километрах и здесь был гостем. Только высказывался Бохун более шумно и категорично.

Забыв о еде и выпивке, они обсуждали проектное задание — что построить в первую очередь, где посадить. Максим тут же на обложке журнала «Беларусь» с березами набросал схему планировки, возможный вариант.

Ему это было легко, он знал каждый взгорок, каждую петлю ручья, который протекал через село.

Но тут без стука отворилась дверь, и Максим увидел Раю в распахнутом кожухе, в накинутой на голову, незавязанной шали. Почувствовал, что у него отнялись ноги, и испуганно подумал, что ему не подняться. Больше не чувствовал ничего. Ни боли в сердце, ни даже стыда за то, что т о страшное, чего он боялся со вчерашнего дня, случилось тогда, когда он ушел и за обильным столом, за разговором о проекте на какое-то время забыл о нем. О н о сильнее его, сильнее всех.

Все повернулись к Рае, и она громко, по-сиротски заплакала. Испугала Сашу. Мальчик отскочил от телевизора и смотрел то на нее, то на отца широко раскрытыми глазами: чего это она? Может, на ферме беда какая-нибудь?

Максим взглянул на Бохуна. Тот опустил глаза, точно виноватый, но тут же протянул руку за бутылкой и налил одному себе, не в рюмку — в стакан, где оставалось немного воды.

Что ж, ты неплохой врач, Бохун. Ты понял, что э т о случится скоро. Уж не по твоей ли инициативе меня пригласили сюда? Чтоб я не видел, как о н о придет. Но теперь все равно уже. Зачем спрашивать об этом у тебя или у кого-нибудь другого?

Бохун осушил стакан и не нашел других слов (да и есть ли они на такой случай?), кроме банального:

— Все мы смертны.

Да, все мы смертны. Но это мало утешало. Наоборот, отдалось болью в сердце. «Таким людям надо вечно жить». Кто это сказал?

Боль в сердце вернула силу ногам. Он быстро встал.

Сапоги вязли в растоптанной за день снежной каше, ноги скользили. Ветер бил в лицо снежными космами, мокрыми уже. Максим шел быстро. Но было ощущение как во сне: бежишь — и все на том же месте. Казалось, что ноги скользят на одном пятачке обледенелой, засыпанной снегом дороги.

Сзади то тише, то громче плакала Рая. Вот она оказалась рядом, и он услышал ее голос:

— Как жила тихо, так и померла. Не крикнула, не застонала. Не позвала никого. Я молоко ей понесла… а ее… ее нету уже… И ручки сложила на груди.

Его поразило больше всего: «А ее нету уже». Нет… Только что был человек, родной, близкий. И уже нет… Неужели нет? Самое трудное — принять эту безжалостную истину: ее нет больше. Мамы нет. Мамы!

Рыдания перехватили горло. И он почувствовал себя одиноким и беззащитным.

Окна их хаты сверкали ярче, чем у соседей. Под застрехой горел самодельный фонарь, шоферский — лампочка с автомобильным рефлектором; он был направлен так, что бросал на двор яркий сноп света. Открыта калитка. На дорожке от калитки до проема дверей трехстенки накиданы еловые лапы. Это Максима поразило. Где и когда успели нарубить елок? Ах, Петро на машине работает в лесу... Но зачем ему понадобилось столько еловых веток? Неужто готовился? Мысль, что кто-то готовился к смерти матери, показалась страшной. Хотя что тут такого? Сама мать тоже готовилась. Давно.

Другое, что поразило, — в хате было много народу, не только соседи, но и родичи, которые, он знал, жили на другом конце большого села. Выходит, Рая прибежала за ним не сразу. Как будто все были в сговоре, чтоб оберечь его, как больного. Обижаться на них за это или благодарить?

Остановился за спинами стариков, боясь взглянуть, что там, впереди, куда смотрят все. Не раз он хоронил людей, стоял в почетном карауле, говорил речи над гробом и могилой.

Но там были хотя, случалось, и близкие люди, но все же чужие. А тут мать. И ему показалось, что он сейчас увидит что-то страшное.

Заметив его, люди почтительно расступились, он увидел покойницу и поразился, как все обыкновенно и просто. И ничего страшного с ним не произошло. Даже холодная боль в сердце, что обожгла там, у председателя, и не стихла на улице, вдруг начала оттаивать и разлилась по всей груди. От этого стало трудно дышать, не хватало воздуха. Хотелось вздохнуть полной грудью, но боялся, как бы не сочли этот вздох неприличным.

Одетая в лучшее платье, покойница, маленькая, как ребенок, выглядела неуместно, ненужно торжественно. В сухонькие и белые-белые, какими они никогда не были при жизни, руки, которые спокойно, устало

лежали на груди, вложены белый платочек и зажженная свечка. И лицо спокойное, без следов страдания, вокруг головы венок из бумажных цветов и желтая бумажная лента на лбу с надписью старославянскими буквами.

«Ее нет», — вспомнились Раины слова. Да, матери нет. Сердце болит по той, что ушла навеки. А эта, которая лежит здесь, показалась чужой и далекой.

Рядом плакали старые женщины. Ему плакать не хотелось. И стоять тут не хотелось. Увидел, что на полу тоже разбросаны еловые ветки, и здесь, в хате, они пахли смертью. Не хотелось вдыхать смерть. Он оглянулся, не зная, что делать, где ему положено быть. Одна из его теток, как маленькому, сказала сурово и наставительно:

— Поцелуй мать.

Он подошел, собираясь поцеловать в лоб, но наклонился и поцеловал руки, которые столько раз хотел поцеловать при жизни матери и ни разу не решился. Увидел, что на белой подушке вокруг головы покойницы зерна ржи. Именно эта рожь, которую мать сеяла и жала столько лет, нет, не рожь — воспоминание о том, как ее сеяли, особенно растрогало и умилило. И он заплакал. Он не стыдился своих слез и был благодарен всем, кто плакал вместе с ним.

Во дворе Петро и мужчины курили и серьезно, деловито обсуждали, как и где делать гроб, кто пойдет копать могилу. Предложили ему:

— Закури, Евтихиевич. Легче на сердце станет.

Тут, на дворе, и елка под ногами, и влажный снег, и даже табачный дым пахли весной, жизнью. Вышла Рая. Без слез уже сказала Максиму:

— Мать просила, чтоб ее отпевали.

— Мало что она просила, — возразил Петро. — А что нам с Максимом скажут?

— Сделайте все, как она просила. Больше, чем в бога, она верила в людей. Всю жизнь.

— Это правда. Людям она верила, — откликнулся кто-то из мужчин, нестарый еще.

— И люди ей верили, — сказал другой, постарше.

«Певчие», как называли их тут, женщины, которые заменили верующим попа, появились быстро, как будто были предупреждены и ожидали в этот поздний вечер в полном сборе.

Максима удивляла и казалась даже немного оскорбительной быстрота и точность, с которой делалось все, связанное с похоронным обрядом. Так быстро обмыли и убрали покойницу и созвали родичей со всего села... И эти загодя привезенные елки... Они не выходили из головы.

Максим любил веселого, работящего, смекалистого Петра. Но елок этих почему-то не мог простить. И в нем так же, как утром, когда приехал и увидел, где лежит мать, начало расти раздражение. Теперь не только против зятя и сестры, но и против себя. Понимал, что в такой момент, перед лицом смерти, возле покойницы, это нехорошо, надо быть добрым, душевно спокойным, примириться со всеми и всем, что было при жизни матери.

«Певчих» было четверо, три старые женщины и одна дебелая краснолицая молодайка. Петро и мужчины там, во дворе, когда Рая отошла, отозвались о них неуважительно, с насмешкой:

— Эти святые на поминках водку глушат, каждая за трех добрых мужиков.

— Манька у Тимошковых так напилась, едва до дому довели, все рвалась в лавку, мало ей было. Старый Сидор матюгами свою святую крестил. Во спектакль был.

Мужчины приглушенно смеялись.

Вышла из хаты тетка Ульяна, старшая сестра Максимова отца, ей было за восемьдесят, но она сохранила на диво ясный ум. Сурово упрекнула мужчин:

— А вы и тут уже зубы скалите, безбожники. Ничего у вас святого нет.

Стало стыдно. В самом деле, там мать, а он деревенские анекдоты слушает.

«Певчие» сперва молились. Максиму их бормотание показалось ненужным и нелепым. К противоречивым чувствам и переживаниям прибавилось еще одно — ощущение, что он в этот день делал и делает не то, что нужно, не так, как следует. Вот и с этими бабами. Петро был прав. Зачем это?

Но потом женщины начали петь псалмы. У одной был приятный голос, он выделялся на фоне нестройного пения остальных.

Максим сидел на табурете в углу у двери, одинокий среди людей, точно забытый всеми, слушал монотонное, протяжное пение, и, странная вещь, постепенно его раздражение против «певчих» таяло.

Белый стих на смеси церковнославянского и современного языка понять было невозможно, но он создавал настроение. Острая боль утраты переходила в утешительное спокойствие, в раздумье о вечности жизни и неизбежности смерти. Вина перед матерью сменилась такой глубокой благодарностью ей за ее материнский подвиг, что он тихо плакал. От этого становилось легче. И наступили наконец минуты неосознанного умиления и гордости за мать, которая прожила такую жизнь. И за всех этих теток, родных и соседей, которые пришли почтить память той, что долго жила рядом с ними и была какой-то частью их собственной жизни. Мать умела давать людям радость.

А потом в какой-то момент им овладело новое, незнакомое, самое тяжкое и страшное чувство —

чувство сиротства. Не стало матери... Возможно, занятый работой и семейными заботами, он не часто думал о ней, не так часто, как надо думать о матери, но все равно он всегда ощущал ее присутствие. Она была с ним. И вот ее нет. И еще один человек раньше всегда был рядом. И ее нет... Кто же остался? Вета? Но и дочь отдала свою любовь некоему Корнею Прабабкину, о существовании которого еще совсем недавно никто из них не знал.

В другом углу на диване, упершись ладонями в колени, в перепачканном мазутом ватнике сидел Петро и... тоже плакал. И это необычайно тронуло Максима и как-то сблизило с зятем, породнило не формально, как было до сих пор, — душевно.

За полночь, когда в хате остались лишь самые близкие люди, Максим почувствовал благодарность к четырем женщинам, которые добросовестно выполняли свою обязанность — пели над покойницей малопонятные псалмы. Припомнил: давно, когда он еще работал в Минске, погиб при автомобильной аварии инженер их отдела, молодой человек. Гроб с телом покойника по желанию семьи поставили у него дома. Поздно вечером собравшиеся стали расходиться. Вдова попросила Максима, чтоб он не уходил. Они остались вдвоем с товарищем. И в тяжком молчании, преодолевая сон, просидели до утра. Это была мучительная ночь.

Часа в три Рая и двоюродная сестра Тамара уговорили Максима пойти к Тамаре немного отдохнуть.

Думал, что уснуть не удастся. Но уснул. Когда проснулся, был уже день, на дворе шел снег. Ни души. Пустота и тишина. Стало стыдно, что он долго проспал и так спокойно, даже не снилось ничего. И не слышал, когда встали хозяева.

Быстро оделся, вышел на улицу. Снег шел мокрый и густой.

В хате было полно народа, не протиснуться. Возле покойницы в голос плакала внучка, маленькая Люда:

— А бабочка моя, а родненькая моя! Зачем ты померла? Как же я теперь буду без тебя?

Девочка обливалась слезами, поняв, что бабушки, которая всегда была с ней как самый верный друг и советчик, не стало и никогда не будет. Вчера Люде ничего не сказали, она смотрела телевизор у соседей, и мать устроила так, что она осталась там ночевать. Малышку поразила смерть в их доме, она, как почти все дети, еще верила в бессмертие близких, в ее представлении умирать имели право лишь чужие.

Плач Людочки взволновал всех. А Максима крик ее резанул по сердцу. Зачем еще она здесь?

Он протиснулся вперед, сурово сказал Рае, которая плакала тут же:

— Убери ребенка!

Но Люда зло блеснула на него глазенками и закричала:

— Не хочу! Не хочу! Все вы гадкие! Вы все не любили ее! — и схватилась за мертвые бабушкины руки.

Мать едва оторвала ее.

Максим почувствовал, что у него горит лицо, как будто девчушка ударила его. Да, она бросила им тяжкий упрек. Всем взрослым. Однако ему, пожалуй, больше, чем другим.

Слушать плач женщин не мог. Вышел на улицу и пошел в поле. Встречные провожали его удивленными взглядами: куда это он в такое время? Кладбище в другой стороне.

Хотя и поспал, но голова была тяжелая и болела. Часто билось сердце. В ушах звенел Людин голос: «Вы все не любили ее».

Нет, дитя мое, я любил мать. Не попрекай меня. Мне и так тяжко.

Его догнал запыхавшийся и словно испуганный Петро.

— Ты куда?

— Никуда. Знаешь, что такое дорога в никуда?

Петро грустно усмехнулся.

— Надо сегодня хоронить. Толи не дождемся. Не прилетит он с Урала. Радио передает, всюду метели. А поездом — трое суток.

Максим встрепенулся, будто увидел выход из мучительного положения. Да, похоронить сегодня. Скорее. Теперь уже матери ничего не нужно. Все это условности.

Но Рая сказала, что надо подождать Колю. Максим совсем забыл о старшем племяннике. Однако Коля так и не приехал. В какой-то момент, пока ожидали, Максим разозлился на него: щенок, что ему до бабушки, которая вырастила его? Но тут же подумал, что Вета такая же внучка, а он ей даже телеграммы не дал, потому что знал, не приедет. Слабеют и рвутся нити, которые связывали род. В наше время внуки не ездят на похороны дедов и бабушек. От этих мыслей стало еще более грустно и больно. И как-то пусто на душе.

XXII

Нет, это не душевная депрессия. Не то, что было, когда он шел за гробом и на бестолковых поминках, на которых «певчие» действительно напились. Тогда он испугался своего состояния и, обидев Раю и Петра, в тот же вечер уехал домой. Странно, где его дом? Здесь, в Волчьем Логе?

В дороге он простудился. Душил кашель. Болела грудь. Поэтому не ездил на работу. Пил липовый чай. Варил картошку. Сперва, укрывшись полотенцем, вдыхал над кастрюлей пар, потом ел сам и кормил изголодавшегося Барона. И мучился бессонницей.

Боль утраты не утихла, не притупилась, она как бы приобрела новое качество: все время думалось о матери, образ ее стоял перед глазами, и голос слышался в глубокой тишине дачи, где в безветренную ночь не раздастся ни один звук.

Лежал, слушал тишину и вспоминал каждый эпизод далекого детства, голодной военной юности и недавних встреч с матерью, каждое ее слово, каждый жест и каждую морщинку на лице, на руках. На живом лице, на живых руках. Мертвую не вспоминал.

На третью, должно быть, ночь понял, что образ матери не может оставаться только в памяти. Мать должна продолжить свою жизнь в его творчестве. Поэт, верно, создал бы стихотворение или поэму. Живописец написал бы родное лицо на полотне. А как воплотить образ человека в архитектуре? Великие зодчие это умели, в их творениях оставались жить на века они сами и образы близких, их дух, их идеалы. Он этого не умеет. Пока не умеет. Всегда старался выразить свою эпоху. Такая сверхзадача стоит перед каждым зодчим. Но, по сути, это абстракция, нечто необъятное. Тысячи архитекторов, проектировщиков, инженеров — все вместе, может быть, они и могут отразить эпоху. Один... один может разве что гений. Высочайшее достижение художника — образ человека определенной эпохи. Но в синтетическом искусстве зодчества человек не выступает так, как в романе, фильме, скульптуре. Не духовный облик, а материальные потребности диктуют функциональную целесообразность зданий, районов, городов. На этом принципе держится вся современная архитектура. Гостиницы, небоскребы строят во всем мире не для того, чтоб человек мог зайти туда подумать в одиночестве, вознестись духом.

Максим завидовал писателям, художникам. Но и у него есть еще одно умение, которое он называет своим хобби. Он увлекался резьбой в детстве, когда пас коров. Даже на вереях ворот своего двора вырезал искусные узоры, так что каждый останавливался полюбоваться. И он, малыш, гордился этим. Вереи эти в войну сгорели. В

институте он пробовал усовершенствоваться в этом искусстве, ходил в мастерскую известного скульптора, и тот убеждал Максима, что его призвание — скульптура, но не переубедил, архитектура держала крепче, он остался верен избранной профессии.

После долгого перерыва он вернулся к своему увлечению, когда строил дачу. И потом, когда жил здесь, отдыхал; лучший отдых — резьба. Тогда же привез из лесничества толстые липовые и березовые кругляки — заготовки. Гости удивлялись этим круглякам, спрашивали, зачем ему. «Выйду на пенсию, займусь резьбой». До пенсионного возраста оставалось всего... тринадцать лет. Игнатович как-то сказал: «Струхлявеют твои кругляки до пенсии». Но тот же Игнатович привез ему в подарок из заграничной командировки набор замечательных резцов, таких у нас не делают; один — для грубой обработки — даже электрический.

...Василий был призван в армию в сороковом году, когда Максим учился в девятом классе. В начале войны в армию ушел отец, бригадир колхозных строителей, член партии, отступил с последней воинской частью, которая недели две держала рубеж в их районе. В оккупации мать не ожидала отца, хотя, когда появились в окрестных лесах партизаны, Максим как раз считал более вероятным, что отец мог остаться в этих знакомых ему лесах. Говорил об этом матери. Но для нее Евтихий был на войне, и она стала ждать его лишь тогда, когда на востоке снова загремела канонада. Совсем иначе она ждала сына. Всю войну. Может быть, с того самого дня, как в село вернулся первый окруженец. Ждала напряженно, чутко. Вскакивала ночью на каждый шорох, на шаги за окном.

Пришло освобождение, отец написал из госпиталя.

От Василия не было никаких вестей.

Призвали в армию Максима. Немного раньше, недели за две, забрали старших, всех, кто должен был взять оружие в сорок первом. Многие из них полегли здесь,

недалеко, на переправе через Сож. Некоторых хоронили дома. В сожженной деревне, где торчали одни трубы, все было видно из края в край, все слышно — плач, стенания. Да мать и сама не пропускала ни одних похорон. В беде все село жило одной семьей.

Он боялся, что мать будет очень горевать, провожая его в армию, будет голосить, как по покойнику. А это страшно, он слышал, как голосили, провожая, некоторые бабы. Мать не плакала. Ни одной слезинки. И не провожала далеко. Только вывела из бывшего двора за обгорелые вереи. Но как она глядела. Перекрестила и сказала: «Иди, сынок. Теперь я двоих вас буду ждать. Василия и тебя».

В первые послевоенные годы в каждый его приезд домой мать, тайком, чтобы не слышали другие, робко спрашивала: «Максимка, а может, живет где наш Василек? Может, в плену держат? А может, оженился где на такой, что к своим не пускает? Бывают же такие женки».

Бывают, мама, бывают. Все бывает. Да с Василием этого не могло быть. Но зачем разрушать твою материнскую веру? Он проглатывал соленый комок и молчал.

Рая рассказывала на поминках, лет двадцать мать заказывала молитвы во здравие Василия. Лишь недавно, лет восемь назад, составляя для соседки, которая ехала в далекую церковь, списочек, за кого помолиться, впервые имя Василия поставила рядом с отцом, которого сама хоронила и за которого уже в день похорон молилась: «Прими, господи, душу раба твоего, воина Евтихия».

...Липа за несколько лет высохла так, что казалась крепче, чем те дубовые вереи, на которых он вырезал узоры. Или, может, слабее стали руки? Они в самом деле утром дрожали, но это от волнения, от нетерпеливой жажды поскорее взяться за работу — необычную, святую.

Стамеской не пользовался для первичной обработки,

только резцами. Чтоб не испортить замечательный материал. Осторожно и медленно, как кладоискатель, разыскивающий драгоценное сокровище, пробирался сквозь толщу пока еще мертвого дерева к живым чертам родного лица. До них еще далеко, много дней, недель, а может быть, и месяцев труда, но уже теперь не должно быть ни одной неправильной линии, ни одного ненужного желобка, оставленного холодным резцом. Металл холоден, да. А дерево теплое. Нет, не мертвое оно, живое, оно оживает от каждого его движения, будто он вдыхает в него свою душу, свою боль и радость. Давно уже, пожалуй, не было такой радости, как от этой работы. Радовало все. Ощущение, что он словно оправился от недолгой, но тяжелой болезни, что творчество, новое, непривычное, то, по которому порой тосковал, так захватило.

Радовал день. Он тоже был необычный, торжественный. После недели непогоды, когда зима встречалась с весной, первый по-настоящему весенний день. На небе ни облачка. Сияло солнце огромное на небосводе. И сверкали мириады маленьких солнц на снегу. И все это широкое море снежного света залило мансарду. Ах, такое бы освещение тогда, когда начнется самая тонкая работа, когда надо видеть каждое волоконце на дереве, каждую линию резца и каждую черточку образа, каждую морщинку на лице! Ничего, света тут всегда хватает. Не будет снежного, будет зеленый от берез, которые теперь сияют белизной ствола и розовым румянцем тонких веточек и почек.

С крыши со звоном осыпались сосульки. Этот звон пугал Барона. Позднее, в середине дня, застучала капель. Барон уснул в кресле на солнце, сладко мурлыча. Старый и ленивый. Котенок играл бы со стружками. А Барон осторожно потрогал лапой одну большую, понюхал, недовольно фыркнул и больше ими не интересовался. Работа хозяина его не занимала, этот человек часто строгает, пилит, стучит молотком.

Максим жалел время на то, чтобы приготовить обед. Понимал, что спешить некуда. Но все равно оторваться

от работы не мог. Была та одержимость, которой давно уже не испытывал, с тех пор как работал над первыми самостоятельными проектами. Но тогда была Даша, она могла оторвать. Теперь никто не мог — ни Даша, ни Кислюк, ни Игнатович. В ощущении этой свободы были горечь и сладость, радость и грусть.

От непривычной работы он натер кровавые мозоли на руке. Они болели. Но даже физическая боль эта была приятна, она своеобразно дополняла сложную гамму его ощущений и чувств, сливавшихся все в ту же радость труда.

Солнце нагрело мансарду, и стало душно. Но Максим боялся снять теплую куртку, кашель не слабел, наоборот, мучил больше. Иной раз были такие приступы, что ему становилось трудно дышать. С этим кашлем следовало бы полежать в теплой постели. Но не было уже силы, которая могла бы оторвать от начатой работы. Пока он может стоять на ногах.

Вечером он принял аспирин, напился липового чаю с медом и рано лег спать. Читать не хотелось. Даже слушать музыку не хотелось. Он будто боялся, что чужая музыка разрушит ту, что звучала в душе и не была похожа ни на что в мире, ни на что когда-либо слышанное им. И чужих книжных образов боялся. Вдруг он прочитает что-нибудь такое, что может ослабить, заслонить родной ему образ.

Заснуть долго не удавалось. Он продолжал работать, доводил скульптуру до завершения и опять начинал сначала, резал иначе, по-новому — шел другим путем, чтоб прийти к той же цели. Завершенный образ не менялся, он не мог стать иным не только от метода или приемов работы, но и от замены материала. Но другим материалам он отдавал предпочтение в архитектуре. Для образа матери других материалов не существовало. Мрамор, гранит, глина, бронза — все холодно. Только дерево теплое. В деревянной хате она прожила всю жизнь. В деревянный гроб...

Во сне он тоже работал. И у него болели руки.

Бывает, оказывается, и такое счастье. Ныло сердце от боли утраты. Раздирал грудь кашель. По утрам он едва сползал с постели, усталый, разбитый, с головной болью. Но поспешно умывался, торопливо завтракал и поднимался по крутой лестнице с таким чувством, будто возносился на небо. Шел как на большой праздник. И там, в залитой утренним светом мастерской, у липового кругляка, который постепенно приобретал формы человека, забывал обо всех невзгодах и болях.

Судьба его не обидела, в его жизни было немало счастливых дней. Не только дней — месяцев, лет. Но эти дни он не променял бы на те годы. Теперь казалось наивным, что он считал когда-то великим счастьем свою женитьбу, свою любовь к Даше. Выходит, она была выдуманной, лишь в его воображении. Во всяком случае, далеко не столь долгой, как казалось.

Он думал о том, что все радости жизни коротки, все скоро проходят, кроме одной — радости труда. Ей не мешают далее муки, и, между прочим, она никогда не повторяется, она всегда первозданна, всегда по-новому захватывает, волнует.

С такой трудной радостью Максим прожил три дня.

В понедельник приехал его заместитель, инженер Рогачевский. В среду их слушает бюро горкома.

Максима несколько удивила такая поспешность. С ним даже не поговорили как следует. От разговора с Макоедом он сам уклонился, а Языкевич пришел, рассказал несколько веселых городских историй, анекдотов, между прочим поинтересовался кадрами управления и на этом свою миссию закончил. Однако раз проверяли, значит, должны были слушать рано или поздно. Удивляться нечему. Его даже забавляла тревога Рогачевского, Знал, что заместитель его, отличный работник, неутомимый организатор, всегда боялся проверок и вызовов к начальству. Нетрудно догадаться, как Рогачевский рассуждает: мол, с Карнача с его связями и положением известного архитектора что с

гуся вода, а все шишки достанутся ему, тем более что на нем лежит контроль за осуществлением строителями архитектурных проектов. А как они осуществляются, известно: на каждом объекте сто недоделок. Любую стройку проверь, и можно выдать «на полную катушку» и строителям и архитектурному управлению, и никакие объективные причины тебя не спасут.

Максим посмеялся над страхами Рогачевского, сказал, что на этот раз все шишки достанутся ему, главному, Но Рогачевского это мало успокоило. Услышав, как Карнач кашляет, он, обрадовавшись поводу оттянуть рассмотрение, предложил:

— Послушай, ты же и правда болен. Я скажу, что ты захворал, и пришлю врача, чтоб оформить бюллетень.

— Нет, я приеду!

Хотелось, чтоб все, что ему предстоит, произошло как можно скорей. Обсуждение на бюро тоже.

Когда уехал Рогачевский, он поднялся наверх и сразу почувствовал, как все изменилось за время их недолгого разговора. Будто солнце зашло за черную тучу и сразу поблекли все краски. Но солнце светит по-прежнему. И все на месте. Так же тепло, как живые, пахнут стружки. А радости, с которой работал до сих пор, нет. И вдохновения нет. Оно убито. Чем? Кем? Он увидел кем, как только начал резать. Все это время перед ним стоял один образ — матери. А теперь рядом с ней... Нет, даже не рядом, а впереди, заслоняя мать, появилась она, Даша, красивая и отвратительная — отвратительная в своей злобе, в глупом упорстве.

«Какой ты художник! Ты ремесленник!»

Сколько раз она этим отрывала его от проектов. И теперь оторвала от самого дорогого, что давало утешение, помогало забыть обо всех бедах.

Резец словно затупился и оставлял на дереве заусеницы. Так работать нельзя. Так можно все

испортить.

Максим спустился вниз и стал готовить обед, чтоб чем-нибудь заняться, первый настоящий обед за четыре дня.

Подумал было о том, что, может, в самом деле не ехать на бюро. Пускай рассматривают без него. Если Игнатович так спешит, пускай попробуют заслушать управление в его отсутствие. Слишком издалека он заходит. Зачем? Когда все можно решить проще. Нет, у Игнатовича будет лишний козырь против него, и члены бюро, конечно, возмутятся и могут записать такое... Да разве это так важно, что ему запишут, с эпитетом или без эпитета? Но тут же подумал, что может быть принято более широкое постановление — об архитектуре города. Он понимал силу такого постановления, его значение. Основываться оно может на выводах специалиста-архитектора. А в комиссии такой специалист — Макоед. И Карнач отлично представляет, что может натворить Макоед, добравшись до такого серьезного документа. Он может поломать многое из того, что составляло смысл всей его, Карнача, работы здесь, в этом городе. Макоед может подкинуть такие идеи, которые испоганят даже генеральный план. Заречный район он, наверно, зарежет в том виде, как он заложен в плане. Ему легко будет это сделать, потому что сам Игнатович явно отступился от этого района. Почему? Вот что непонятно. Разве могут личные симпатии или антипатии влиять на работу, на решение таких серьезных вопросов, как перспективное строительство? У Максима нет оснований обвинять Игнатовича в равнодушии к городским проблемам. Нет, Игнатович живет городом. Но Макоед им не живет и никогда не жил. Макоед живет только собой. И он, Карнач, не может, не должен допустить, чтоб архитектурно малограмотные макоедовские идеи разрушили то, чему не только он, но и Шугачев, Сернов, Бабич, Кротова, другие их коллеги отдали столько энергии и сил.

Он начал обдумывать свой доклад на бюро. Доклад

получился безжалостно самокритичный, но и саркастически язвительный по отношению ко всем, кто связан со строительством города. Ему, конечно, всыплют за такой доклад, но кое-кто из тех, кто будет решать его судьбу, крепко почешется.

Доклад — тоже творчество. Оно захватило. Он радовался, как дитя, тем емким и острым словесным находкам, которые украшали будущее выступление. Но за обедом почувствовал, что его опять, как это с ним часто случается, занесло. Не сделает он такого доклада на бюро горкома, потому что глубоко уважает этот представительный партийный орган. Такой доклад можно бы сделать в Союзе архитекторов, не потому, что он не уважает свой союз, а потому, что там другие нормы и нравы, там любят острое словцо, хотя на этом часто наживают дешевый авторитет демагоги. Осознав эту истину, он и в Союзе уже давно так не выступал. «Принципиальные» и «леваки» вычеркнули его из своего актива, говорили, что должность главного архитектора испортила Карнача, сделала чиновником и карьеристом.

Построить доклад, сбалансированный и уравновешенный — дело мучительное, скучное. Такие доклады легко сочиняют помощники, потому что им не надо выступать. Рогачевский мог бы написать неплохой доклад. Однако Карнач никогда и нигде не выступал по написанному.

Но не доклад его мучил. «Присутствие» Даши. Ее не было на кухне, пока он мыл тарелки. Она «явилась», как только он поднялся в мансарду и взял в руки резец. Стояла у окна, заслоняя свет и... мать, и ухмылялась язвительно, скептически.

«Ты пришла, чтоб отнять последнюю мою радость?» — спросил он тихо и вежливо. Она победоносно засмеялась.

Испуганный этим видением, он спустился вниз и пошел по поселку. Под вечер небо заволокло тучами и поднялся ветер. Сосны словно стонали, а ветви берез

издавали свист. Стало неуютно и очень одиноко. Хотелось в город, к людям. Но куда он пойдет? К кому?

Всю ночь он то ссорился с Дашей, то просил у нее помощи. Назавтра почувствовал себя совсем плохо. Явно поднялась температура, кашель становился все резче. Но у него не было градусника. Тревожила мысль, что он может совсем расхвораться, а там посчитают, что он испугался и симулирует болезнь.

Очень не хотелось, чтоб Игнатович подумал, будто он боится.

В среду утром, обрадованный тем, что держится на ногах, он с трудом завел свой «Москвич» и поехал в город.

XXIII

Заседание уже шло. Сколько займет времени обсуждение того или иного вопроса, определить не мог даже Игнатович с его исключительной точностью и аккуратностью. Поэтому тех, кого должны были заслушать, приглашали с запасом времени. Да и сами работники, особенно те, кто шел «на ковер», на проборку, старались прийти пораньше, чтобы, упаси боже, не опоздать и не дать лишнего повода для нареканий.

В приемной народу собралось много. Но из тех, кто имел отношение к архитектуре, еще никто не явился. Максиму было неприятно, что он пришел первым. Не хотелось быть похожим на директора кондитерской фабрики, который уже в приемной тяжело вздыхал, красный, мокрый, как загнанная лошадь, то и дело вытирал платком лысину. Одни смотрели на него с сочувствием, другие с осуждением. Из-за нарушения техники безопасности на фабрике произошла авария, погиб человек; директору угрожала суровая кара, а снятие с должности — наверняка.

Его, Карнача, тоже, видно, ждет такая участь. Но чтоб он из-за этого хоть раз вздохнул! Такого унижения не

простил бы себе. Хотя по дороге сюда думал, что, если его будут осуждать не за Дашу, а за работу, мириться с этим нельзя. Надо будет защищаться, протестовать. Дело не в его личном престиже, будет брошена тень на работу большого коллектива, и даже не одного. Но не чувствовал в себе сил для такой защиты. Физических сил. Кружилась голова, ноги были точно ватные. Пересохло во рту. Все казалось мелким и безразличным. И хотелось только одного — чтоб все скорее кончилось. Чтоб скорей уехать назад в Волчий Лог.

Бросив «добрый день» всем, кто был в приемной, он прошел в дальний угол и сел на свободный стул почти рядом с директором кондитерской фабрики, потому и подумал о его деле. Но тут же почувствовал на себе взгляд Галины Владимировны. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, удивленно и даже как будто испуганно. Одним словом, смотрела так, как, пожалуй, не имела права по своему положению смотреть ни на кого из тех, кого сюда вызвали. Никогда раньше она не решилась бы так смотреть ни на одного мужчину, да еще в присутствии доброго десятка посторонних людей, которые, в свою очередь, не спускают с нее глаз. Одни любуются красивой женщиной, другие прислушиваются к телефонным разговорам — нельзя ли выудить какую-нибудь новость? Сюда, в горком, как в военный штаб, стекаются новости со всего города.

Ее взгляд обдал Максима добрым, ласковым теплом, как луч солнца человека, вышедшего из подземелья. От этого тепла у него еще сильнее закружилась голова. Но уже иначе, не болезненно, а так, как кружится от стремительного танца.

Он улыбнулся Галине Владимировне. И она улыбнулась, но не просто улыбнулась, позвала к себе. Он понял это и, обрадованный неожиданным приглашением, забыв обо всех, кто наблюдал за ними и, возможно, о чем-то догадался, поднялся и пошел к столу. Наклонился, заглядывая в листок с порядком дня.

— Когда там меня, грешного, призовут в чистилище?

Сзади засмеялись.

— Не спеши. Дождешься.

Галина Владимировна без улыбки объяснила:

— Затягивается второй вопрос, о работе парторганизации железнодорожного узла.

— Хвалят или разносят?

— По заключению комиссии, должны одобрить опыт…

— А зря! — откликнулся директор деревообделочного комбината Овсянников. — Никто так не срывает планы, как они. Вагоны выбиваем с боем.

— Хвалят всегда более многословно, — сказал Максим.

Присутствующие стали давать свою оценку работе железнодорожников. А Максим смотрел на Галину Владимировну: зачем позвала? Она указала взглядом на стул, стоявший у самого стола слева от нее. Он сел и положил руку на полированный стол, в который можно было глядеться, как в зеркало. Она увидела кровавые пузыри на пальцах. Тихо спросила:

— Что у вас с рукой?

— Ах, это? — повернул ладонь со стертыми, смазанными йодом мозолями. — Это от работы.

— От вашей работы? — удивилась она.

— Моего хобби.

Она подождала, что он объяснит, какое это хобби оставляет такие мозоли. Он не объяснил, и она не решилась спросить.

Овсянников сердито сказал директору кондитерской фабрики:

— Болотько, не пыхти ты, как паровоз. Нагоняешь тоску.

— Легко тебе говорить.

— Кому теперь легко? У меня под угрозой квартальный план.

— Плохо работаешь, — сказал начальник областного статистического управления.

Директор сорвался с места.

— Я плохо работаю? Просто тебе, несчастный статистик, оценивать работу других. Тебе что! Собирай готовые сведения. А у меня модернизация оборудования. Новые машины. Все разворочено, все меняем, а план давай.

Они сцепились и забыли, где находятся. До сих пор говорили приглушенными голосами — за дверью заседает бюро. А тут раскричались, как на ярмарке.

Галине Владимировне следовало вежливо попросить промышленных тузов соблюдать тишину. Но она этого не сделала.

Затеяв спор, присутствующие перестали обращать внимание на нее и Карнача. А ей так хотелось сказать ему какие-то особенные слова, потому что, внимательная к людям, особо чуткая к нему, увидела, почувствовала, в каком настроении пришел он сюда.

Сказала:

— У вас усталый вид.

— Неделю назад я похоронил мать.

— У вас умерла мать? — Галина Владимировна даже вздрогнула.

Максима тронуло, что ее так взволновало его горе, но он не понял, что именно ее потрясло. Вздохнул.

— К сожалению, даже матери умирают.

Забыв о присутствующих, Галина Владимировна схватила его за руку.

— Я скажу Герасиму Петровичу!

Тогда ему стало понятно ее удивление. Она подумала: неужели Герасим Петрович не знает о его горе, вызвал в такое время на бюро, чтоб сурово осудить? Но Игнатович действительно не знает, потому что не знает Даша, он не позвонил ей, не мог позвонить... Вернувшись с похорон, он даже не побывал у Шугачевых.

И хорошо, что Игнатович не знает!

Он остановил Галину Владимировну, потому что она уже поднялась, чтобы идти в кабинет.

— Нет! Не надо! Не хочу! Не хочу никаких поблажек! Можете вы это понять?

Теперь на них смотрели с любопытством, недоуменно, а кое-кто с язвительной ухмылочкой — те, кто прослышал о письме жены главного архитектора. Ухмылялись, считая, что сделали сенсационное открытие: вот где причина — в приемной Игнатовича, и очень может быть, что первый об этом не знает, не догадывается.

Галина Владимировна, заметив, как на них смотрят, отняла руку, села, уткнулась взглядом в список вызванных на бюро. Размашисто написала синим карандашом на красной папке:

«Вас будут бить».

Максим нарочно, чтоб выручить ее, засмеялся и громко сказал:

— За одного битого двух небитых дают.

Овсянников, который ни о чем не догадывался и даже не знал, по какому вопросу вызывают главного

архитектора, возразил:

— Устарела, брат Карнач, твоя поговорка. Теперь за битого ни черта не дают. Его просто выбрасывают. — И вдруг с удивлением спросил: — Что? И тебя будут бить? За что?

— За что! — хмыкнул в усы худой статистик. — Архитекторов нужно каждый день сечь на площади. Всенародно. Да еще писателей. Дармоеды.

Нельзя было понять, то ли человек шутит, то ли настроен против тех, чей труд не поддается статистическому учету.

Всем даже неловко стало от этих слов. Один Овсянников не растерялся, отплатил за «плохо работаешь».

— Кого б я сек, так это статистиков и плановиков, — сказал он. — Путаники. Плановики двенадцать раз в год план меняют.

— Широко размахнулся, — угрожающе сказал статистик. — Гляди, от такого размаха не устоишь на ногах.

Максим подумал: вот так, архитекторов и писателей надо сечь на площади, а плановиков... Упаси бог сказать о них слово критики. Крамола.

В приемную вошел Макоед, раскрасневшийся, запыхавшийся — слишком быстро поднялся на третий этаж; остатки редких и длинных блекло-рыжих волос, которыми Броник обычно прикрывал плешь, прилипли ко лбу. В руках модный чемоданчик, непрактично плоский, в такой не положишь буханку хлеба и бутылку молока.

Макоед поздоровался за руку с Галиной Владимировной и с Карначом. Остальным кивнул головой. Поздоровался с серьезным видом, сдержанно, но Максим отметил, что физиономия его сияет и в глазах скачут веселые чертики. И Максим вдруг почувствовал,

что ненавидит этого человека, его самодовольную рожу, неряшливо прилипшие волосы, эту его претенциозность, за которой кроется бездарность. Ненависти раньше не было, даже когда Макоед делал явные гадости. Вспыхивала порой злость, но обычно относился к Макоеду с насмешливым пренебрежением, чаще снисходительным, изредка раздраженным.

Он вообще не помнит, чтоб кого-нибудь из тех, с кем работал и жил, действительно ненавидел. Не было этого. Ему везло, его окружали хорошие люди. И он любил людей, хотя и высмеивал их слабости.

Теперь он ненавидит когда-то самого близкого человека — Дашу. Хватит с него одной этой ненависти, На черта ему еще Макоед! Этот тип просто не стоит того, чтоб тратить на него столько эмоциональной энергии. Но успокоиться уже не мог. Заводился все больше и больше. Почему Макоед сияет? Надеется свалить его и занять кресло главного архитектора?

«Свалить меня ты можешь. Теперь это легко. Но чтоб ты на мое место? Никогда этого не будет, Бронислав Адамович! У меня хватит силы повоевать против твоего назначения. Любой мальчишка, вчерашний студент! Но только не ты! Слишком много я вложил души в этот город, чтоб отдать его тебе на разор».

Макоед поставил чемоданчик на свободный стул, а сам ходил по приемной. Чемоданчик его подвергся обсуждению:

— Вроде акушерского...

— Да нет, акушерский не такой. Это как у взломщиков сейфов. С набором инструментов.

Максим усмехнулся. Остроумный человек директор деревообделочного, взломщик — это метко.

Макоед словно не слышал шуток или, может быть, действительно не слышал. Обдумывает выступление? Радуется победе? Волнуется? В самом деле, сквозь

бетонную маску уверенности и самодовольства пробивается, как тонкий стебелек сквозь толщу асфальта, волнение. Даже тревога. Что тебя тревожит, Бронислав Адамович? Неужто совесть? Как же она живуча, если сохранилась даже у тебя!

Макоед остановился перед Максимом, ему хотелось наладить хоть какой-нибудь контакт. Чтоб не было отчуждения и враждебности. Как многие люди его склада, он боялся нажить врагов. Любые подлости старался прикрыть интересами дела и сохранять если не дружеские, то хотя бы официальные отношения. Вражды Карнача он особенно боялся. Карнача можно уволить со всех должностей, все разно он останется известным в республике архитектором, у него не отнимешь таланта, острого глаза, ума. На ближайшем пленуме или съезде архитекторов Карнач может от его творчества камня на камне не оставить. Этого Бронислав Адамович всегда опасался. Пока его бог миловал. Монографий, правда, о нем не писали и в докладах ему не посвящали страниц и абзацев, обычно он попадал в «поминальник» — длинный список тех, кто что-то сделал за отчетный период. Это его устраивало. А славы ему хватало, его имя часто появлялось под разными статьями. Кстати, в статьях своих он почти никогда не задевал известных и подвергал критике только молодых. И добился удобного положения: его побаивались и старые и молодые. На кой черт с таким связываться! Умеет писать, вхож в редакции.

Макоед почти обрадовался, когда вспомнил, с чего можно начать разговор:

— Что с матерью? Грипп? Я звонил Даше...

Максима передернуло, он съежился, как от удара. Зазвенело в ушах. Галина Владимировна смотрела на него испуганными глазами. Он взглядом успокоил ее: не бойтесь, я не сорвусь.

— Ты мог бы ознакомить меня со своими выводами... Или это секрет?

— Никакого секрета, — доброжелательно уверил Макоед. — Но ведь ты исчез. Завидую твоей уверенности. Работает комиссия горкома, а тебе трын-трава. На неделю исчезаешь. Вольности у вас... Если б я исчез, в институте сделали б из этого чепе.

Галина Владимировна коснулась лица руками, ей так хотелось сказать им всем: «Оставьте вы в покое человека! Разве не видите, что ему не до дел, ни до своих, ни до ваших?»

— Ты будешь выступать первым?

— После тебя.

— После меня?

— А как же. Ведь ты отчитываешься.

Максима качнуло как на палубе. Кровь отлила от головы, утих звон в ушах. Но слабость в ногах усилилась. Он со страхом подумал, сможет ли выстоять долгий отчет.

Пришли начальник областного управления Голубович и Рогачевский. У Рогачевского был еще более испуганный вид, чем когда он приезжал в Волчий Лог. Макоеду он не протянул руки, видно, во время проверки они поцапались. Максима развеселил вид Рогачевского.

— Борис Нахимович, не бойтесь. Снимать будут меня, не вас.

— Вот этого я и боюсь, — отвечал Рогачевский, бросив красноречивый взгляд в сторону Макоеда.

— Видишь, как весело люди идут «за столик», — сказал Овсянников директору кондитерской фабрики. — А ты все еще потеешь. Пропахнешь потом, носы отвернут от тебя члены бюро.

— Легко тебе шутить...

— А мне все легко. Кроме плана.

Игнатович некоторое время просматривал бумаги, давая возможность тем, кто вошел, сесть и перевести дух. Потом оглядел присутствующих — все ли в сборе — и сказал вежливо, неофициально:

— Просим, Максим Евтихиевич.

Его вежливость почему-то больно задела Максима. Он с трудом поднялся и пошел к столику, который стоял против длинного стола, как бы отпиленный от него, такой же конфигурации. Над «трибуной» этой подсмеивались, вместе с выражением «попасть на ковер» было в ходу «попасть за столик», но Игнатович упорно не менял интерьера.

Увидев, как смотрят на него члены бюро, люди, с которыми он столько лет вместе работал, с некоторыми даже играл в преферанс, Максим и смутился и взбунтовался. Странно смотрят, необычно, отчужденно. Почему? Или, может быть, ему только кажется? Не все же так. Кислюк, например, смотрит с укором и жалостью. Но опять же почему? Что им сказать? Зачем им тот доклад, который он мысленно подготовил, — с перечислением объектов, с цифрами, с проблемами, решенными и нерешенными? Если он выступает в этом кабинете последний раз, то должен сказать о чем-то существенном, самом главном. А что главное? Что главное? В той застройке, которая будет вестись без него. Заречный район. Да, он должен сказать об этом. Сидят же умные люди. Может быть, зерна, которые он рассыплет в последний раз, прорастут и кто-нибудь когда-нибудь поддержит Шугачева, которому здесь работать и работать.

Без вступлений и оговорок он стал докладывать о своей и шугачевской идее застройки Заречного района.

Сперва слушали с недоуменным любопытством, потом члены бюро начали перешептываться и поглядывать на Игнатовича. Но Герасим Петрович не перебивал, он и Кислюк слушали серьезно, вдумчиво.

Явное нежелание членов бюро слушать объяснения его

архитектурных замыслов взволновало и взбунтовало еще сильнее. Максим сам чувствовал, что говорит действительно слишком профессионально, академично, без того пафоса, с которым раньше отстаивал свои идеи, и даже путано, не с этого надо было начинать. Напрасно он понадеялся на себя, на свою память. Это тот, может быть, единственный случай, когда надо было все загодя продумать и написать.

Забилось сердце, кровь застучала в висках, сильней закружилась голова. На какой-то миг длинный стол и люди за ним качнулись, наклонились и скользнули вниз.

Максим умолк на полуслове.

С минуту ждали, что он продолжит.

— У вас все? — удивленно спросил второй секретарь Довжик.

Прокурор Матвейчик скептически хмыкнул:

— Небогато.

— А что еще нужно?

— Ваш доклад о работе...

— Зачем?

— Как зачем?! — сказал Игнатович тоном учителя, предупреждающего непослушного, упрямого ученика.

Голова кружилась. Максим испугался, не упасть бы. Осторожно прошел к своему стулу, сел под возмущенными взглядами большинства членов бюро. Оттуда сказал:

— У вас есть заявление моей жены. С него и начинайте. Какое отношение имеет архитектура к моим семейным делам?

Игнатович встал, его чуть сутулая фигура сразу

приобрела официальную строгость.

— Товарищ Карнач! Решает горком, кого, когда и о чем слушать. До ваших отношений в семье мы дойдем, не беспокойтесь, Между прочим, не вам надо объяснять, что в жизни все взаимосвязано. Ваша бытовая распущенность не могла не отразиться на работе... — но тут же понял, что перехватил с распущенностью, что нельзя так, особенно учитывая характер Карнача, и потому смягчил, посоветовал почти доброжелательно:
— Не усложняй своего положения, Максим Евтихиевич. Кто докладывает от комиссии?

Поднялись Языкевич и Макоед.

Игнатович кивнул Макоеду: «Давайте вы».

Бронислав Адамович по пути к столику достал из папки стопку бумаг, протер платком очки, пригладил и без того прилипшие к лысине редкие пряди.

Игнатовича раздражала макоедовская медлительность. Гневная вспышка против Карнача, которую он напряжением воли погасил, как бы отняла душевную энергию, и он почувствовал усталость — заседали уже четыре часа.

Тревожило, что злость на Карнача не проходит, нельзя решать судьбу человека в ожесточении, в любой ситуации он обязан быть объективным.

Герасим Петрович думал о своих отношениях с этим человеком и о том, какую позицию он должен занять. Собственно говоря, позиция может быть только одна. Нельзя не согласиться с Лизой, которая упрекнула, что, мол, все карначовские выходки от его либерализма и примиренчества. Не может он ждать, пока такой же упрек ему бросит Сосновский или еще кто-нибудь сверху.

Лиза требовала самой жестокой кары Карначу. Но Игнатович не любил, чтоб партийные дела решались за домашним обеденным столом или тем паче в постели. И

чем больше жена нажимала на него, тем больше он внутренне сопротивлялся и искал другое решение, не такое, какое подсказывала разъяренная Лиза. Пускай это будет последнее проявление его либерализма. Карнач этого, конечно, не оценит, но его совесть будет чиста. У него были все основания и возможность крепко ударить бывшего друга за хамство. Но он не делает этого по доброте своей. Решил строгого выговора, как требует Лиза, не записывать. Члены бюро согласятся, что освобождение от должности — наказание немалое, для кого-нибудь другого самое тяжкое. Но Игнатович знает, что для такого архитектора, как Карнач, это не трагедия. А учитывая его отношения с Дашей, это будет для Максима наилучший выход. Освобожденный от работы, но с чистой учетной карточкой, он, разумеется, сразу уедет в Минск или другой город, может быть, даже за пределы республики, потому что ничто его здесь не держит, и дело будет закрыто. Навсегда. Для него, Игнатовича, будет закрыто. Он избавится от Карначовых фортелей, от проблем, которые тот без конца создает своими действиями, своим беспокойным характером.

Надежда Лизы, что строгий выговор может вернуть Даше мужа, наивна. Женская логика. Да и на черта ему брать на себя эти поповские или судейские функции — возвращать «заблудшего мужа в лоно семьи». Пускай разбираются сами. Если б Даша была умнее, то не рассчитывала бы на сестру и секретаря горкома. Да, решение его правильно...

Справившись с собой, Игнатович прислушался к тому, что говорил Макоед.

Вчера вечером Бронислав Адамович поссорился с Ниной. Она просмотрела тезисы его доклада и назвала его подонком. В отчаянии крикнула: «Как я живу с таким человеком!» Утром он смягчил доклад. Рассудил, что, если Карнач падает, ему нет необходимости подталкивать его, это сделают другие. Но, добравшись до заветного столика в качестве обвинителя, почуяв внимание, с каким его начали слушать, Макоед опьянел

от возможности хоть раз в такой удобной и выгодной ситуации лягнуть Карнача. Он вернулся к прежним тезисам и прямо захлебывался, даже слова глотал, торопясь высказать все.

Когда до Игнатовича дошел смысл его слов, Макоед с не свойственным ему сарказмом разносил застройку южного сектора Набережной. Полностью разрушенный во время войны, район долго не восстанавливался, бывшие руководители города ждали лучших времен и лучших архитектурных решений. Видно, тут был свой резон. Но Игнатович решил поправить предшественников и свою деятельность председателя исполкома начал с застройки этого района. Когда пришел Карнач, многое было сделано, и сделано, к сожалению, не слишком хорошо. Он, Игнатович, должен был согласиться с Карначом, что надо менять принцип застройки городского «фасада», потому что оттуда, из низового Заречного района, это действительно был фасад, он создавал силуэт города. Но застройка последних лет уже по плану, разработанному Карначом, в сочетании с тем, что строилось раньше, внесла эклектику, разнобой стилей. Если раньше горожане не обращали внимания, как строится — строится, и ладно! — то теперь в самых разных кругах идет дискуссия о застройке Набережной. Школьники и те спорят. Игнатовичу следовало вынести такую серьезную архитектурную проблему на широкое обсуждение. Но он этого не делал. Он был согласен с Карначом, который оставался оптимистом и доказывал, что, когда проект будет полностью осуществлен, общий вид изменится и всем станет ясно, что это в целом хорошо, хотя прежняя застройка несколько и портит. Без нее было бы лучше.

Кто-то сказал: «Врачи прячут свои ошибки в землю, архитекторы прикрывают плющом».

Игнатовичу хотелось, чтоб ошибки его хозяйственной молодости прикрыли чем-нибудь более прочным, чем плющ. Карнач делал это умело.

Игнатович знал, что некоторые члены бюро могут

поддержать Макоеда, потому что высказывались раньше почти так же. Но если Карнач вдруг станет оспаривать Макоеда, то, конечно, припомнит историю застройки Набережной и назовет первых авторов. И рот ему не заткнешь. Придется проглотить горькую пилюлю.

Вот почему Игнатовичу не понравилось, что Макоед так долго топчется на этой теме. И тон не понравился — захлебывается, брызжет слюной. Стало противно.

Подумал: «Услужливый дурак опаснее врага».

Посоветовал пока доброжелательно:

— Спокойнее, товарищ Макоед.

Но и такое предупреждение сбило Броника.

Дальше, по мнению Игнатовича, Макоед говорил о мелочах — обвинял Карнача в посадке жилого дома железнодорожников на привокзальной площади. Когда-то, правда, уже досталось главному архитектору за то, что он так легко сдался железнодорожникам. Но удалось управлению железной дороги добиться такого места — их счастье. Не брал же за это Карнач взятки. Все организации стараются получить площадку в центре города. Таких обвинений можно набрать десятки: почему тот или иной объект посажен тут, а не там? Другой архитектор, наверно, решил бы иначе. Но попробуй доказать, какой вариант лучше.

А Максима как раз больше возмутил неожиданный наскок Макоеда на этот дом. Несравненно более обоснованный и серьезный разнос Набережной он слушал спокойно, даже не очень внимательно, со скептической улыбкой. Это было не ново.

А дом... Тут Макоед действовал по принципу: попробуй, мол, доказать, что это не черное, а белое, попробуй снять тень. А тень брошена не только на него, главного архитектора. Это дом Шугачева, один из лучших его проектов. Максим действительно постарался, чтоб хоть

один дом архитектора, который всю жизнь проектирует жилье, был построен в центре города, на видном месте. Чтоб от его дома «танцевали» те, кто будет организовывать площадь. Может быть, кто-нибудь и будет ругать Шугачева. Но все вынуждены будут считаться с его архитектурным решением.

Макоед это понимал. И его зависть и злоба не только против Карнача, но и против его друга вылились даже здесь, на бюро.

Затем Макоед раскритиковал «привязку» музыкальной школы на шумном перекрестке центральной улицы. Когда-то Карнач сам признал это своей ошибкой. Признание дошло до Макоеда и стало теперь его козырем. Но и тут он бил мимо. Музшкола — тот случай, нередкий в практике, когда архитектор-планировщик сам признает «привязку» неудачной, а горожане, в том числе Игнатович, Кислюк, никакой ошибки не видят, наоборот, считают, что школа «села» именно на свое место и в архитектурном плане украшает этот участок главной магистрали.

Школа членам бюро показалась проблемой, на которую не стоит тратить дорогое время. Чисто профессиональный спор архитекторов. Пускай разбираются у себя. На часы взглянул Довжик, за ним Матвейчик. Но Макоед так увлекся, что до него ничто не доходило, никакие сигналы. Токовал, как тетерев.

— Позиция, которую занял главный архитектор в вопросе о строительстве химического комбината в нашем городе...

Это не школа. Это вопрос номер один, не только и не столько архитектурный... В комбинате были заинтересованы все, даже прокурор, хотя и знал, что такая стройка подбавит ему работы. Но где работа, там слава. Естественно, что когда зашла речь о строительстве комбината и позиции главного архитектора, сразу прекратились усталые зевки. Все повернули головы к Макоеду. И удивились, что Игнатович прервал оратора в такой момент, и прервал

раздраженно:

— Товарищ Макоед, вы говорите уже двадцать две минуты...

Макоед, который только что был на седьмом небе, растерялся, покраснел, начал быстро перелистывать свои заметки.

— Три минуты... три минуты... Герасим Петрович...

Максим тоже удивился. Макоедовскую «песню» о школе он почти не слушал. У него опять закружилась голова, и он думал, что ему следовало бы встать и уйти, пока не поздно. Разумеется, это будет принято как демонстрация и возмутит членов бюро. Но теперь уже все равно, что о нем подумают. Наконец, он может признаться Галине Владимировне (только ей он может это сказать), что ему плохо, и она, конечно, тут же передаст это Игнатовичу.

Но намерение оратора рассказать о его позиции в деле «привязки» комбината остановило и даже как-то странно взбодрило. Он едва удержался, чтоб не крикнуть: «Давай, Броник! Высыпай весь мешок!»

Неожиданное раздражение Игнатовича было загадкой и для Максима. У него даже радостно екнуло сердце: поддержана его идея! Но почему же в таком случае Игнатович злится? Только бы дали комбинат городу! А если бы не дали, Игнатович не на Макоеда злился бы.

Загадка простая, потому и разгадать ее трудно.

Если отбросить семейную историю, комбинат был, по сути, единственным серьезным деловым основанием конфликта. Игнатович холодел от мысли, что упрямство Карнача, его протест против строительства комбината в Белом Береге могут привести к тому, что такой выгодный во всех отношениях объект передадут другому городу, химики грозились это сделать.

Вместе с тем Игнатович, хоть и не архитектор, понимал заботу Карнача о будущем города и в душе уважал его

принципиальность. Ни перед чем человек не остановился: ни перед угрозой увольнения, выговора, ни перед разрывом дружбы. Более того, Игнатович тайком завидовал такой смелости и принципиальности. Сам он чаще останавливается и отступает, оправдывая это тем, что на его месте иначе нельзя.

На совещании в обкоме он одобрил выступление Макоеда. Когда решалось, быть или не быть комбинату, уместна была и определенная дипломатия. Но когда решается судьба человека, твоего товарища, и ты хочешь вылить на его голову даже то, что при других обстоятельствах было бы его заслугой, тогда прости, товарищ Макоед. Если ты в самом деле не понимаешь тревоги и озабоченности Карнача, то ты как архитектор ничтожество. Если же ты делаешь это, выбрав подходящий момент, чтоб угодить начальству, выдвинуться самому и утопить коллегу, то ты подлец и вступать с тобой в союз ему, Игнатовичу, не пристало. Во всяком случае, совершенно нежелательно, чтобы Карнач или еще кто-нибудь подумал, что выступаешь ты по нашей режиссуре.

Растерянный оратор, который вначале говорил увлеченно, с подъемом, не знал, чем кончить, и упавшим, вдруг охрипшим голосом промямлил что-то невнятное и чересчур общее о тех задачах, которые поставлены перед архитектурой в «историческое время, когда народ создает материально-техническую базу коммунизма». Макоеду хотелось, чтоб заключительный аккорд прозвучал на высокой ноте. Он потерял ощущение трибуны и аудитории, где пафос к месту, а где некстати.

В кабинет вошла Галина Владимировна. Положила перед Игнатовичем лист бумаги. Повернувшись, чтоб выйти, взглянула на Максима и смутилась, виновато опустила глаза. Максим понял, не выдержала-таки, сообщила о смерти матери. И у него вырвалось нечто среднее между вздохом и стоном: «Ах, зачем ты это сделала?! Меньше всего мне сейчас нужна жалость». Этот его вздох испугал Галину Владимировну; обычно

неторопливая, она почти выбежала из кабинета.

Максим не ошибся. Игнатович прочитал написанное мелким женским почерком: «Герасим Петрович, Карнач только что вернулся с похорон матери».

Сделала она это не только потому, что хотела помочь Максиму, но, рассудив, сочла это своей служебной обязанностью. Герасим Петрович, наверно, будет недоволен, если выяснится, что она знала, но промолчала. Однажды уже было так. Слушали на бюро театр, резко критиковали главного режиссера, у которого жена была в больнице в тяжелом состоянии. Герасим Петрович потом очень сердился и на отдел пропаганды — обязаны были знать! — и на директора театра, секретаря партбюро — почему не сказали?

Если б Галина Владимировна знала, какие чувства вызовет у Игнатовича ее сообщение, она, несомненно, смолчала бы.

А чувства были весьма сложные. Сперва растерянность. Что в таком случае делать? Остановить обсуждение? Выразить соболезнование? Возможно, Карнач ждет этого. Посмотрел на него. Взгляды их встретились. Но в глазах у Карнача не было просьбы об участии. Только усталость и грусть. Можно было подумать, что разговор идет не о нем и он с нетерпением ждет, когда все кончится. Игнатович вдруг разозлился. Вот так получается: жене не сказал о смерти матери, потому что если б Даша знала, то знала бы и Лиза, знал бы и он; а этой женщине сказал. Что она ему? Как далеко зашли их отношения? Взбудоражила и возмутила мысль, что он, человек, который знает, кажется, все, что делается в городе, во всяком случае, обязан знать, оказывается, не знает, что происходит в его приемной.

Злость обратилась на Галину Владимировну. Скажи, пожалуйста, как сговорились растрогать его смертью матери! В какой момент! Пожалейте, мол, пятидесятилетнего сироту! Постыдились бы! Но тут же устыдился сам, опять подумал, что злость — плохой советчик, что его пост обязывает сохранять самую

высокую объективность при любых обстоятельствах. Выдержка — ценное качество.

И Герасим Петрович затоптал злость, как окурок, от которого может возникнуть пожар. Но от этого не стало легче. Вдруг и он, как Карнач, почувствовал усталость и желание поскорей покончить с этим неприятным вопросом. А еще появилось странное ощущение: он будто что-то потерял или в чем-то потерпел поражение от неведомого противника. В самом деле странно. Что он мог потерять? Кто и в чем одержал над ним верх?

Языкевич говорил мягко и уважительно. В архитектуру не лез, пускай разбираются специалисты. Главными недостатками считал запущенность делопроизводства, несвоевременное рассмотрение жалоб и заявлений трудящихся. За это здесь, на бюро, досталось уже не одному руководителю. Языкевич подчеркнул то, чему Герасим Петрович уделял особое внимание и за что карал безжалостно.

Не согласиться с Языкевичем Максим не мог. Бумаги действительно залеживаются, и порядка в них мало. Увлеченный творчеством, он не любил бюрократической работы, надеялся на Рогачевского. Но у заместителя тоже не тот характер, чтобы копаться в бумагах. Было обидно, что работники управления, вообще хорошие люди, не лодыри, подвели в такой мелочи. Кстати, не в первый раз. Максим сразу понял, почему Языкевич выдвигает на первый план заявления и жалобы. Год назад их проверяла комиссия народного контроля и записала это же; Языкевич сразу увидел, за что можно зацепиться.

В общем масштабе своей работы Максим мог считать «бумажные дела» второстепенными и перепоручать их заместителям и помощникам. Однако он отлично понимал, что здесь, на бюро, жалобам и заявлениям могут придать больше значения, чем всем архитектурным просчетам. «Привязка» дома или музыкальной школы, даже застройка Набережной, а тем более посадка «химика» — вещи сложные и спорные. Не каждый член бюро отважится забраться в

такие архитектурные дебри. А заявления и жалобы трудящихся — это так понятно и так актуально после известного постановления ЦК.

Вопросов по архитектурным делам не было. Но Матвейчику не терпелось, и он, опережая события, спросил:

— Скажите, Карнач, откровенно, кто та женщина, из-за которой вы собираетесь бросить жену?

Игнатович съежился и в душе выругал прокурора. Со страхом смотрел, как после минутного раздумья поднялся Максим. Что будет, если он назовет Галину Владимировну?

— Неужели вы не знаете? — как будто удивленно и наивно спросил Максим.

— К сожалению, не знаю.

— Плохо работают ваши детективы.

Кто-то засмеялся. Остальные опустили головы, пряча улыбки.

Игнатович мысленно похвалил Карнача: «Молодчина».

Гневно покраснев, Матвейчик сурово сказал:

— Я бы на вашем месте, Карнач, не шутил, Не забывайте, где вы находитесь.

— Я не забываю.

Игнатович боялся, что еще один-два таких неуместных вопроса, и порядок обсуждения, детально продуманный им, будет сорван. Правда, Карнач сам требовал, чтоб начинали с заявления его жены. Но как сделать те выводы, которые необходимо сделать, на основе одного этого заявления? Нет, широкое обсуждение необходимо.

— Кто желает выступить?

— У меня вопрос, — сказал Довжик. — Скажите, Карнач, почему вы не выполнили постановления обкома и облисполкома о нарушениях в садово-огородных кооперативах?

— Что вы имеете в виду?

Максим больше не вставал, у него опять кружилась голова, стало жарко, даже трудно было дышать.

— Я имею в виду вашу дачу.

— Могу ее сжечь. Разрешаете?

Матвейчик прямо подскочил.

— Как он себя держит! Герасим Петрович, я не могу не выразить своего возмущения! Главный архитектор просто распоясался...

— Я уже не главный...

XXIV

В предвесенние дни на город обрушилась эпидемия гриппа. У Шугачевых захворало сразу трое: сам хозяин, Толя и Катька.

Поля, которая уже много лет не знала, что такое отдых, хотя никогда не жаловалась, теперь со страхом думала, что долго не выдержит — день и ночь на ногах, и очень боялась, как бы болезнь не свалила ее тоже.

Шугачев, обычно добрый и мягкий, становился нервным, злым, придирчивым, когда заболевал. Иногда даже обижал Полю, а потом сам страдал, каялся. Жадный к работе, он не мог примириться с тем, что какой-то нелепый грипп на много дней отрывает от мастерской, от проекта. Считал, что и без того у него крадут рабочие дни. Плохая организация, заседания, семья. А работы много. И такое ощущение, что еще только начинаешь ее. То, что делал до сих пор, было лишь учебой, подготовкой, вступлением. Все лучшее,

что ты способен сделать, впереди. Жалко было каждого дня, потерянного для работы, раньше никогда так не было жалко. Это молодые могут пускать на ветер не только дни — месяцы и годы. В институте молодежь с нетерпением ждет конца рабочего дня. А ему восемь часов кажутся коротки, если б не строгое Полино требование, он оставался бы в мастерской до поздней ночи.

Захворав, он всегда ругал медицину и докторов. Как никто ни в одной области науки и практики, медики расписывают свои достижения, а банальный грипп не могут одолеть.

На этот раз Виктор был особенно раздражителен. Но, видимо, не столько из-за болезни, сколько по другой причине. Поля сразу поняла, когда Виктор вернулся домой с температурой, что, кроме болезни, есть еще что-то, что его так растревожило. Прямо почернел. И все его выводило из себя — любой вопрос, любой совет, любое лекарство, которое она ему предлагала.

Раньше, когда он ругал докторов, это было снисходительным, несколько ироническим, безобидным ворчанием. Так он иногда ворчал на детей. Теперь в его тоне чувствовалась злость. Даже капризы больной Катьки, любимицы, его раздражали. На Полин вопрос, что случилось, ответил сердито:

— Ты не видишь, что случилось? Грипп! Что б он провалился вместе с врачами, на которых ты молишься.

Но когда она поставила ему горчичники и села рядом, Виктор, лежа на животе, покряхтев и побрюзжав, что, мол, только средства, изобретенные тысячу лет назад, и выручают эскулапов с диссертациями, вдруг начал громко ругаться:

— Идиот! Допрыгался, дурень! Сколько раз я предупреждал его! Доиграешься! Цацкаться с тобой не будут...

Поля встревожилась: уж не Игорь ли что-нибудь

натворил?

— О ком ты?

— О ком! Любимчике вашем!

Виктор приподнял голову, стукнул кулаками подушку, чтоб взбить ее повыше. Увидев, что Поля не понимает, крикнул:

— О цыгане! — уткнулся носом в подушку и засопел. — Авантюрист несчастный!

— Витя!

— Что Витя? Что Витя? У Вити душа болит за город. А цыгану твоему на все наплевать! Демагог! Клялся в любви к городу! Что ему до него? Приехал, думал, что ему дадут совершить переворот в архитектуре. А ему дали коленкой под зад. Не лезь куда не надо! Нашелся гений! Таких гениев...

— Ты несправедлив, Витя.

— А как же! Я всегда несправедлив, потому что я ишак. Я работаю.

— А Максим не работал?

Виктор подскочил на постели, сбросил с себя одеяло.

— А кому теперь польза от его работы? Сядет какой-нибудь Макоед на его место, и все Карначовы идеи, все его начинания разлетятся, как пух по ветру. Об этом он думал? Ни черта он не думал! Если б думал, не лез бы на рожон. Не заедался бы...

— Есть же у него принципы.

— А если есть принципы, так умей их защищать с умом.

— Каждый защищает свои принципы по-своему. И притом я думаю, что сняли его не за работу. За Дашу.

— Много ты понимаешь! Его прожекты у Игнатовича

уже поперек горла стоят.

Однако задумался. Помолчал. Посопел.

— Вот когда они начали жечь, твои горчичники. А Даша... Неужели можно так перегрызться с собственной женой, чтоб другого выхода не было? Мы с тобой могли бы так поссориться?

Поля тайком улыбнулась.

— Мы не могли бы. А другие могут. Сам ты доказывал когда-то — психологическая несовместимость...

Виктор хмыкнул.

— Двадцать лет совмещались, а теперь не совмещаются? Человек сорвался с тормозов, вот что. Знаешь, есть такие моральные тормоза. Иной раз человек срывается с них. А жизнь — крутая гора... Можешь представить, как и куда полетишь без тормозов. Цыган твой считал, что ему все можно. А дурак. Такое было положение! Свояк и друг...

— Витя! — удивилась и возмутилась Поля. — Что ты говоришь? Хорошо, что дети не слышат. Неужто ради того, чтоб не лишиться такого свояка, надо все терпеть? Зная Дашу, я не осуждаю Максима.

Виктору стало неловко, потому что говорил он это не по убеждению, от раздражительности, злости и на болезнь, и на Максима. Он вовсе не хотел, чтоб друг шел на унижение, чтоб он ломал свой характер. Но уже со времени партийной конференции считал, что Максим ведет себя глупо, непрактично, по-мальчишески. Черт с тобой, разводись, женись, но делай это так, чтоб твои выкрутасы не отражались на работе!

Шугачев был в том возрасте и в том состоянии одержимости, когда считают, что все мелочь, кроме дела, которому ты служишь. Да еще разве детей, из них надо вырастить достойную смену.

Вере, когда та вернулась и пришла в спальню проведать больного отца, он сообщил с некоторым злорадством (это неприятно поразило Полю), что «Карначу дали по шее».

Вера расстроилась чуть не до слез, упрекнула отца:

— Ты, папа, говоришь об этом так, будто радуешься. Тебе же будет хуже.

Разозлился:

— Почему это мне будет хуже? Я до Карнача проектировал жилые дома. И при нем не перешел на монументы. Я рабочая лошадь с громкой кличкой — архитектор. Тащил и буду тащить свой воз. Насколько хватит сил и умения.

Нехорошо, что больной человек разволновался, но Полю это успокоило: значит, злорадство деланное, а на самом деле он крепко расстроен.

Сыну эту новость Виктор сообщил в тот же вечер совсем иначе, с болью и горечью:

— Бюро горкома сняло Карнача.

— Ну и что?

— Как что?

— Никому от этого ни холодно ни жарко. Подумаешь, должность! Что он решал?

Виктор раскричался так, что испуганная Поля прибежала из кухни.

— Много ты понимаешь, молокосос! Лепите с Макоедом бездарные сундуки...

— Сундуки мы одинаковые лепим. Твои не лучше.

Поля поспешила выставить сына из спальни.

— Как не стыдно! Отец болен, расстроен, а тебе

непременно надо наперекор... Чтоб не смел больше попрекать его проектами! Слышишь? Распустился. Поработай ты столько...

— Мама, ты глушишь творческую дискуссию.

— Не нужна мне такая дискуссия. Мне нужен мир в доме.

На другой день, когда упала температура, а с ней и возбуждение, наступила гриппозная слабость. Виктор больше не ругал Максима, а как бы жаловался на него каждый раз, когда Поля входила в спальню. Внимание его отвлекала только Катька: ее не отпускал жар, она попросилась к отцу, и Виктор читал ей сказки вслух.

Раскипятился только раз, когда Поля сказала, что Максим, верно, меньше расстроен из-за своего увольнения, чем он.

— Что ему расстраиваться! Вольный казак. Ни жены, ни детей. Собрал чемодан и поехал искать счастья в Минск, Москву, Киев. Куда хочешь. Страна большая. И архитектора такого везде примут с дорогой душой. Я так не сорвусь. Я связан не только работой... Как ты не понимаешь... У меня был друг, советчик. Я надеялся, что с его пробивной силой мы добьемся чего-нибудь в Заречном районе. А что я сделаю без него? Ты знаешь, какой я пробивала.

— Может быть, он никуда не уедет... — попыталась утешить мужа Поля. Виктор саркастически хмыкнул— какая наивность!

— А что, пойдет в мастерскую к Макоеду?

На третий день Виктор примолк. Его угрюмая задумчивость не понравилась Поле, это признак не только физической слабости, но и душевной депрессии, чего Поля всегда боялась больше гриппа, ангины, воспаления легких. Когда она кормила свой «лазарет» обедом, Виктор сказал:

— Слушай, почему он не заходит?

— Максим?

— Максим. Может, тоже захворал? Валяется в Волчьем Логе один...

Полю растрогала, задела за сердце и... обрадовала забота мужа о друге. Но сама она через несколько минут, моя посуду, уже почти с такой же тревогой, как о детях и о Викторе, думала о Максиме.

Не утерпела, пошла будто бы в магазин, из автомата позвонила Даше, спросила, где Максим.

В ответ услышала холодный, враждебный голос:

— Это я должна у вас спросить, где он собакам сено косит. Вы его опекаете, вы его наставляете. Добренькие... Да на что хорошее наставили? Семью разбили...

Ошеломленная Поля повесила трубку. Выходит, Даша обвиняет в своей беде их, Шугачевых. Это так обидело и взволновало, что Поля даже не решилась сразу рассказать Виктору. Только сказала:

— Его действительно нет в городе. Я звонила Даше. А еще через полчаса не выдержала:

— Я поеду, Витя. Мне все равно надо взять малиновое варенье, поить вас. Я там в погребе оставила баночку.

Он потом не мог разобрать, где был сон, а где бред. Помнил только, что реальные события, голоса живых людей перемежались невероятными, фантастическими картинами, разговорами с теми, кого уже нет. Хоронил мать с той же доподлинностью, как это и было, и тут же мать приходила живая. И он, помня, что она умерла, не удивлялся, ему было хорошо с ней, но иногда становилось тревожно и страшно — не за себя, за нее. Вдруг начинало казаться, что из-за него мать куда-то опаздывает. Но тут же думал: куда она может опоздать, если она умерла? Да и при жизни она никогда никуда не спешила и никогда никуда не опаздывала. Он об этом, между прочим, тоже думал в своем сне-бреду.

Иногда события развивались с той логической последовательностью, с какой происходили. Даже с большей. На бюро горкома ему надо было выступить с обширной речью. Эта мысль жила где-то в подсознании. И он выступал. Говорил долго и очень убедительно, с необычайным красноречием. Защищал город. Свой город. Тот, о котором они мечтали вместе с Шугачевым. И показывал проект, которого не существовало. И сам восхищался сказочной неповторимостью города, который будто бы уже строится. Удивился, что Игнатович не понимает этой красоты и неповторимости. Игнатович всегда так хорошо его понимал. Что случилось? Ах, Даша. Все запутала Даша. И сразу после такого реального воспроизведения событий — кошмар. Он бросается в реку, чтобы спасти девушку. Хватает ее и — о ужас! — видит, что держит Вету. Нет, не Вету, только половину ее тела, без головы.

А потом появлялась Даша. Она появлялась много раз. То они мирно купали маленького ребенка, Максим только не знал, девочка это или мальчик. В другой раз вели не менее логический, чем его выступление на бюро, диалог об их отношениях. Он даже удивился, что Даша может говорить так спокойно, рассудительно, разумно. А потом она вдруг со страшной злобой, отвратительно исказившей ее лицо, замахнулась на него, но ударила по большому зеркалу, оно разлетелось вдребезги. Зеркало было не одно, их было много — анфилада зеркальных дверей, конца и края нет. И он не видел живой Даши, он видел ее отражение, и в каждом зеркале она была другая — добрая и злая, красивая и уродливая, плачущая и смеющаяся. Потом зеркала начали разлетаться со звоном, с зелеными брызгами стекла. С портального крана сорвалась железобетонная балка. Он подумал, что где-то там Даша, ведь, если он видел ее отражения, значит, и сама она где-то там. И он бросился ее спасать, пробирался сквозь невероятное нагромождение покореженного металла, обломков бетона и стекла. Тогда он, будто проснувшись, подумал, что разбились не зеркала, которые он видел во сне, а разрушен его город, тот, реальный, неповторимый, который спроектировали они с Витей Шугачевым.

Стало больно и жутко, потому что он вдруг догадался, кто разрушил его город. И ему захотелось поговорить с этим человеком — президентом далекой страны. Он рвался в его кабинет, а его не пускала Галина Владимировна. Не пускала странно и смешно — пыталась обнять. Ему тоже захотелось обнять ее. Но он отлично понимал, что если обнимет эту женщину, то уже не выполнит своей высокой миссии, от которой зависит судьба других городов. Он все-таки прорвался к президенту и был возмущен, увидев в президентском кресле Макоеда. Грубо, по-матросски плюнул на устланный пластиком пол. Макоед хлопнул в ладоши, как шах, и выскочила стража — какие-то фантастические существа, словно пришельцы из других миров, в блестящих касках пожарников. Они больно скрутили ему руки, бросили на пол и потащили по очень скользким и очень холодным мраморным плитам. Через минуту «марсиане» исчезли, и он сам скользил, вставал и падал на реальных плитах — в центральной аллее Купаловского сквера в Минске. Автор этих необыкновенных «дорожек» стоял сбоку, показывая на него пальцем, и хохотал над тем, как Карнач отбивает себе зад. Потом снова пришла мать, вся в белом, точно подвенечном. Пощупала его лоб и грустно сказала: «Ты захворал, сынок. Идем со мной». Он хотел подняться и пойти за ней, но не смог.

Только под утро, когда, должно быть, упала температура, он уснул глубоким сном.

Проснулся от солнечных лучей. Новый день начинался весенним солнцем и глубокой синевой неба, глядевшего в незашторенное окно. Но солнце не обрадовало — с ним вместе вернулся мороз, и легкое строение остыло, хотя и был включен всю ночь масляный электрорадиатор.

Кот сидел на кресле у постели и смотрел на хозяина недоуменно и несколько испуганно: может быть, он во сне кричал и этим напугал кота.

— Что, Барон?.. Будем собираться в дальний путь?..

Кот жалостно мяукнул, как будто понял смысл слов и высказал свое огорчение.

Максим имел в виду, что засиживаться ему тут нечего, надо куда-нибудь уезжать, устраиваться на работу. Но вспомнился сон, как звала его мать, и слова приобрели другой смысл, смысл последнего пути, о котором думает каждый старик или тот, кто в силу каких-то обстоятельств подвел определенную черту подо всем, что им сделано за его долгую или недолгую жизнь. У него таких обстоятельств было не одно, несколько за очень короткое время, и каждое действительно заставляло подводить итог: любви, семейной жизни, творчеству, трудовой и общественной деятельности. Что же осталось?

Не будучи мистиком, он сперва подумал об этом с грустным юмором. Но тут же почувствовал, как сердце пронзила боль — боль обиды, отчаяния. И страх. Страх от этого жуткого вопроса — ч т о ж е о с т а л о с ь?

После потери жены, матери, дочки (снова подумал, что дочку он тоже потерял), друга оставалось у него одно — работа и город, который он полюбил и которому отдавал свой талант. Теперь отняли и это. За что?

Душевная боль перешла в физическую — нехорошо сжало сердце.

— Нет, не хочу уезжать! Хочу жить и работать, как раньше. Очевидно, наступил тот возраст, когда менять жизнь — задача нелегкая. Нелегко вообще начинать с начала, с нуля. Однако придется. Но почему надо все начинать сначала, буквально все? Можно полюбить другую женщину; очевидно, несложно завести новых друзей... Но, чувствовал, самое трудное для него теперь — полюбить другой город. Потому что его любовь не потребительская: была бы квартира да хороший гастроном недалеко. Его любовь — любовь творца, зодчего, строителя. Даже плохо оформленная витрина его раздражает. А плохо спроектированный и построенный дом надолго портит настроение, бездарно спланированный район причиняет боль — больно за

авторов, за архитектуру, за городские власти, которые недоглядели от непонимания или равнодушия. Возможно, он этот город любил еще и за то, что здесь руководители не были равнодушны к архитектуре. Иногда не до конца понимали, как в истории с комбинатом. Но тут случай исключительный. Не каждому дано увидеть завтрашнюю архитектуру, завтрашний день.

А почему ты считаешь, что ты видишь его? Теоретики всего мира не одно десятилетие спорят о том, каким он будет, город будущего. А для тебя все так просто? Нет, я тоже не знаю, какими будут города через сто — двести лет. Скорее всего самые разные. Но я вижу, куда растет мой город, каким он станет через двадцать лет... Твой город? Со вчерашнего дня у тебя нет города. Ничего у тебя нет... А моя голова, руки? Мой талант? Мой опыт?

Мучительные мысли. Наверно, они были бы менее мучительны, если б он не был прикован к постели, ходил бы, ездил, встречался с людьми, и мозг не был разгорячен болезнью.

С большим трудом вылез из-под теплого одеяла, оделся, сходил за дровами. Надо протопить печь и хотя бы выпить чаю.

Принес охапку дров — задохнулся, закашлялся. Долго сидел на табурете, отдыхал, по-старчески сгорбившись, упершись руками в колени онемевших ног. Растопил печку, сделанную в виде камина, весьма декоративного, — использовал старые, восемнадцатого века, изразцовые плитки от печей снесенного дома, строители эти плитки выбросили в мусор. С горечью подумал, что если б Довжик побывал здесь и видел эту экзотику, то вчера, наверно, обвинил бы его в использовании служебного положения. А так фактов не имел. Странно, что Игнатович ему не подсказал и вообще держался непонятно.

Попробовал представить, как бы он вел себя, если б они с Игнатовичем поменялись местами. В чем обвинил бы

главного архитектора? Да уж совсем не в том, в чем обвиняли его! Даже Макоед не увидел, дурак, подлинных промашек в работе управления, тех, которые целиком зависели от него, от Рогачевского, от других работников. Одну из них откопал Языкевич.

Мысли потекли по новому руслу, более широкому, а потому уже так не бурлили. Успокоил огонь, на который он смотрел, и приятная теплота от него. Даже Барон повеселел, ласково терся о ноги, по-домашнему уютно мурлыкал, ожидая угощения.

Когда напился чаю и еще больше согрелся, захотелось спать. Проспал до обеда. Проснулся обрадованный, что спал спокойно. Но к вечеру опять подскочила температура, и опять была тяжелая ночь, правда, без бреда, но с короткими отрезками сна и долгими горькими размышлениями.

Он сперва не удивился, когда пришла Поля. Это так естественно, что пришла Поля. Кто же еще мог прийти сюда, в Волчий Лог, в такое время? Но когда Поля, увидев его в постели, воскликнула: «Существует-таки, видно, предчувствие! Виктор сегодня говорит: боюсь, не захворал ли он там. О вас, Максим. Виктор сам лежит с гриппом. И Катька. И Толя. Лазарет в доме», — только тогда Максим понял, что Поля приехала специально проведать его, бросив своих больных, и в горле словно застряла горячая картофелина, никак не мог проглотить ее и ответить Поле, поблагодарить. Да и потом, когда проглотил комок, слов таких не нашел. Устроил трагедию из того, что он все потерял, в том числе и друга (в лице Игнатовича), а ни разу не подумал о том, что у него осталось такое сокровище, как верная дружба Шугачевых. Но и об этом не скажешь Поле — стыдно! Может быть, он когда-нибудь расскажет обо всем, что передумал за эти два дня болезни и одиночества, Виктору. А теперь просто стало хорошо, что приехала Поля.

Поля и минуты не посидела. Только взглянула на таблетки, которые он принимает, и взялась за работу.

Осмотрев его запасы, Поля удивилась:

— Вы болеете на одном хлебе?

— До сегодняшнего дня было масло, есть сахар.

Она тихо вздохнула, но он все равно услышал.

— Ты меня не жалей, а то я расплачусь.

— Я не жалею. Так вам и надо.

— Вот это правильно.

— Но те, кто так часто приезжал сюда летом...

— Я ведь больше не главный архитектор.

Она заглянула в дверь спаленки, раскрасневшаяся от плиты, с тряпкой в руке — вытирала пыль. Спросила, ему показалось, со страхом:

— Вы так обо всех них думаете?

Да, эту женщину могла испугать мысль, что он во всех и во всем разочаровался. Успокоил ее:

— Нет. Я так не думаю. Многие не знают, где я зализываю раны. Другим не приходит в голову, что я мог захворать. А приезжать с соболезнованиями...

Позже он спросил весело:

— Виктор меня ругает?

Она ответила коротко:

— Ругает. Честит, как только может. Уши прожужжал за три дня.

Максим представил, как Шугачев это делает, за что и какими словами его честит, и от Викторовой брани ему тоже стало хорошо и весело. Жаль, что Виктор заболел и выпускает пары заочно. Был бы здоров, конечно, еще вчера отвел бы душу здесь, где не надо остерегаться,

что услышат дети или еще кто-нибудь. Тут он крыл бы его так!..

Когда он сидел на кровати, закутанный в одеяло, и ел необыкновенно вкусный бульон, Поля присела в углу на лавку и пристально посмотрела на него, так пристально, что он смутился, подумал, что, небритый, он, наверно, ужасно выглядит.

— Что ты так смотришь на меня?

— Не нравится мне ваш вид, Максим. За три дня гриппа так измениться...

— Хватило и до гриппа...

— Вы больно переживаете это... свое увольнение?

— Откровенно? Очень. А тут еще все сразу. Даша... Смерть матери...

— У вас умерла мать! Максим! — Больше Поля не сказала, ни о чем не спросила, но в том, как произнесла его имя, он услышал упрек и обиду — обиду на то, что они, Шугачевы, узнают о его горе так поздно.

Когда Поля собралась уходить, уже одетая пришла попрощаться, Максим признался, считая, что это лучшая благодарность:

— Мне было тяжело, Поля. Я хочу, чтоб ты знала... И Виктору передай, насколько мне стало легче. Я просто ожил.

Она поправила на нем одеяло.

— Не храбритесь. И не раскрывайтесь. И не вздумайте выходить на двор. Пейте настой, который я сварила.

Поля понимала, как нелегко будет направить врача в Волчий Лог. Вообще нелегко. А тут еще такая дорога, по которой обычная «скорая помощь» не пройдет. Нужна специальная машина. В каком медицинском учреждении есть такая? Разве что в областной

больнице! Но как договориться? Кто ее послушает? Был бы хоть на ногах Виктор. Позвонить Даше? Нет, Даше она звонить больше не будет! Даша в своей слепой злобе может ответить невесть что. Как же направить сюда врача? И вдруг вспомнила женщину, с которой сидела в театре.

XXV

Поля позвонила без четверти девять, когда Галина Владимировна только вошла в приемную, сняла пальто и переобувалась — сменяла тесные сапоги на туфли.

Она слушала Шугачеву затаив дыхание, так что Поля несколько раз повторяла «алло!» и спрашивала: «Вы слушаете?»

Галина Владимировна слушала далекий глухой голос и удары собственного сердца, которые с каждой минутой все учащались, радуя и пугая.

Она горячо уверила Шугачеву:

— Да, да, я все сделаю, я все сделаю. Не беспокойтесь, пожалуйста.

А положив трубку, долго стояла неподвижно, забыв, что на одной ноге сапог, на другой туфля.

Но что она сделает? Как? Через кого?

Никогда она не использовала авторитет учреждения, в котором работала. Никогда не позволяла себе и не может позволить позвонить кому-нибудь от имени секретаря. Значит, надо просить Игнатовича. Вздрогнула. Испуганно оглянулась, сделала шаг и почувствовала, что на ногах разная обувь.

В коридоре послышались голоса сотрудников. Она засуетилась, словно ее захватили за чем-то предосудительным.

Но, причесываясь перед зеркальцем, укрепленным на

внутренней стороне дверцы шкафа, она как будто вдруг увидела не отражение своего растерянного лица, а его, больного, одинокого, и почувствовала, как не чувствовала еще никогда, насколько дорог ей этот человек. Для него она готова на все. Какое теперь имеет значение, что подумает Игнатович? Пусть что хочет думает,.. Она даже не скажет, что это просьба Шугачевых! Это ее просьба!

И сразу успокоилась, теперь уже веря, что она действительно, как пообещала Шугачевой, сделает все, даже если Игнатович... Нет, нет! Не может быть! Ей не хотелось дурно думать о Герасиме Петровиче. Ее вера в людей, в их доброту и чуткость здесь, на работе, все укреплялась.

Она разбирала почту, когда вошел Игнатович. Как всегда, поздоровался за руку. Ее порадовало, что Герасим Петрович нынче веселее, чем в последние три дня.

— Что у нас сегодня, Галина Владимировна?

— В десять исполком.

— Помню. Ох эти заседания! Все заседаем. А работать когда? Когда работать будем? Почта большая?

— Нет. Лично вам несколько бумаг.

Она зарегистрировала эти бумаги, положила в папку «Для доклада», вошла в кабинет.

Герасим Петрович уже работал — читал записку и проект постановления исполкома по коммунальному хозяйству. Факты возмутительные. Он почти с удовольствием подумал, что Аноха придется снимать с большим треском, чем Карнача. Этим он как бы оправдывался перед Карначом, который спокойно говорить не мог о коммунальном хозяйстве города, Аноха считал жуликом, кажется, не без оснований.

Галина Владимировна положила папку и осталась стоять у стола. Ждала. Он сперва бросил на нее

быстрый взгляд и сказал «спасибо», вспомнив, что забыл поблагодарить сразу. Подумал, что она ждет этого привычного «спасибо», которое одновременно означало: вы свободны. Но она не уходила. Ему показалось, что она дышит громче обычного. Волнуется, что ли?

Герасим Петрович оттолкнулся локтями от стола, приник спиной к спинке кресла и с любопытством посмотрел на свою аккуратную и сдержанную секретаршу. Увидел, как она спазматически проглотила что-то. Она проглотила его имя, потому что он услышал только «...Петрович». Но дальше заговорила ровно, отчетливо:

— Заболел Максим Евтихиевич. Лежит на даче. Один. Нужен врач. Но туда не каждая машина пройдет... от шоссе... Вы же знаете... Только вы можете помочь. Позвоните, пожалуйста.

Он с натугой оторвался от спинки кресла и снова склонился над столом, над проектом постановления. Галина Владимировна увидела, как покраснел пятак его проплешины.

Да, он разозлился. Что они лезут к нему со всякой мелочью? Нянька он, что ли, диспетчер «Скорой помощи»? Есть поликлиники в городе, амбулатории на селе. И у каждого есть право на лечение. Вызывайте любого врача. Больному не откажут.

Но тут же опомнился. Так ответить было бы бездушным бюрократизмом, а он никогда не был бюрократом, особенно если дело шло о судьбе или здоровье людей. Он может наказать, но может и помочь. В такой ситуации обязательно должен помочь! Снова откинулся на спинку кресла, взглянул на Галину Владимировну с усмешкой, сказал без иронии, без осуждения, почти шутливо:

— Далеко вы с Карначом зашли... В Волчий Лог.

— Эх, Герасим Петрович! — Она так блеснула глазами и

так произнесла эти слова, что показалось, дала пощечину, и он сразу съежился, смутился, как не смущался уже давно, во всяком случае, перед подчиненными. Выкинул вперед длинную руку, сорвал листок настольного календаря, написал на нем: «Карнач — Коляда». Писать он стал, чтобы спрятать лицо. Потом схватил маленькую телефонную книжку и, отыскивая номер, торопливо, будто очень спеша, заверил:

— Да-да. Я позвоню, позвоню. Врач будет. Не волнуйтесь.

И повернулся к столику с телефонами.

Она попросила тихо, вежливо, но (он потом вспомнил) совсем не так застенчиво, как просила о чем-нибудь раньше, например, отпрашиваясь с работы, когда болели дети:

— Я хочу туда поехать сама. Разрешите?

— Да. Конечно... Пожалуйста, — так же торопливо согласился он, только бы она скорей ушла, отстала. Не мог он говорить с этой женщиной так, как говорил с другими работниками аппарата. Любая другая сотрудница должна была бы дать подробное объяснение.

Когда она поблагодарила и вышла, рука его застыла на телефонном аппарате. И весь он застыл, словно прислушиваясь к чему-то. К себе. Опять появилось чувство, которое пережил на бюро, как будто он потерпел поражение. В чем? В борьбе с кем? Из-за чего? Глупости. Нервы. Но чем больше он думал о Галине Владимировне и Максиме, тем сильнее овладевало им это чувство.

Максим почти испугался, когда вместе с врачом вошла Галина Владимировна.

«А она тут зачем?» Меньше всего ему хотелось, чтоб в таком состоянии его увидела она. Даже во сне она ни

разу не приснилась. И не подумал о ней ни разу, не пожелал, чтобы она пришла.

Врач с мужской галантностью, а может быть, и с умыслом пропустил ее вперед. Она первая переступила порог и первая должна была заговорить.

— Здравствуйте, Максим Евтихиевич. Как вы тут?

— Ничего. Спасибо.

И оба смутились, как подростки.

Врач был мужчина лет тридцати пяти. Способный, поэтому самоуверенный. Знал себе цену. Держался как старый профессор.

Когда заведующая отделением сказала ему, что поедет человек из горкома, он разозлился:

— Это еще зачем? Для контроля?

Контроля он никакого не боялся, но сразу подумал, что горкомовцу придется уступить место рядом с шофером в кабине, а самому лезть в кузов санитарной машины на носилки, где удобно лежать, но неудобно сидеть. Но когда увидел Галину Владимировну, настроение его сразу поднялось. Заходил вокруг нее петухом. Всю дорогу через оконце рассказывал ей медицинские анекдоты, даже спел арию — похвастал своей музыкальностью и голосом. И пытался что-то плести о любви с первого взгляда.

Между прочим спросил:

— Вам поручено проведать архитектора?

— Да.

— А какой черт его туда занес?

— Не знаю.

— Оригинальничают. Классиков разыгрывают. Типа этого я знаю. Подумаешь, Растрелли!

Сообразив, что женщина приехала не по поручению горкома, а по велению сердца, доктор весело свистнул и заговорщицки подмигнул Максиму: мол, все понимаю и молчу, ибо сам грешен.

Максиму не понравилась его бесцеремонность и то, что он догадался об их отношениях. Но тут же подумал: какие отношения? Один на один они оставались несколько минут в приемной да в машине, когда он пригласил ее в театр. Он был недоволен, что она приехала. И что доктор приехал. Зачем? Он чувствует себя лучше. Это все Поля. «Что-нибудь придумаем». Придумала!

Галина Владимировна почувствовала недовольство Максима и совсем растерялась, не знала, где сесть, где стать, что делать.

Максиму не хотелось раздеваться при ней, под теплой пижамной курткой было просоленное по́том белье. Он взглядом попросил ее выйти. Она обрадовалась этой возможности.

Очень она разволновалась. Как девочка. Однако не жалела, что приехала. С любопытством разглядывала уникальную дачку. Сразу поняла, что все тут сделано его руками. Удивилась порядку, такой не мог навести мужчина, да еще больной. Ревниво подумала: кто-то тут был. Кто? Вспомнила: Шугачева, и успокоилась. Прислушалась, что говорит врач.

— Что вас сюда занесло? Строите город, а своего угла нет?

— Нет.

— Парадокс.

— Разве их мало, парадоксов?

— Это верно. Дышите глубже. Еще. Так. Не дышите. Сердце не тревожит? Сколько вам лет?

Галина Владимировна не услышала, сколько ему лет. В

самом деле, сколько? Даже этого она не знает. Из того, что говорил Максим Евтихиевич, она многого не слышала, словно он нарочно говорил тихо. Гремел один доктор. Крикнул, как, наверно, привык кричать сестрам:

— Галина Владимировна! Ложку!

Она кинулась в миниатюрную кухоньку, где, однако, не было тесно, и в стенном шкафчике сразу нашла ложку.

Посмотрев горло, доктор задумался, но серьезности у него хватило ненадолго. Тут же бросил игривый взгляд на Галину Владимировну.

— Могу забрать в больницу. Карета есть. Но если за вами будут ухаживать такие женщины, не как врач, как человек, не советую. В больнице вам не будет лучше.

— Я останусь здесь. Не люблю шума. Предпочитаю одиночество.

Доктор хмыкнул.

— Такое одиночество и я предпочитаю.

Максим подумал: «Нахал. Бестактный тип».

Делая назначения, доктор обращался к Галине Владимировне:

— Поставьте ему горчичники. Горячее молоко с боржомом. Хотя боржом труднее достать, чем коньяк до повышения цен, но вы достанете. Малиновый чай. С медом. Только мед не кладите в чай, а лижите с ложечки, — это он сказал больному. — По таблетке этазола четыре раза в день. На ночь — две аспирина...

— Аспирин принимаю. Средство старое. Каждому известное.

— Не все старое худо. Скорее наоборот.

Одеваясь, доктор спросил у Галины Владимировны:

— Вы поедете? — В хитрых глазах его блеснули смешинки.

У нее и мысли не было остаться. Конечно, она собиралась тут же вернуться назад. Но, наверно, из-за этих смешинок ответила резко и решительно:

— Нет. Я остаюсь. Выполню ваши назначения.

Максим удивленно посмотрел на нее. Она отвернулась. Проводить доктора не вышла. Стояла у окна и смотрела, как отъезжает машина, буксуя в размякшем снегу. Как машет рукой галантный доктор. А Максим не сводил с нее глаз. И что-то очень теплое, очень приятное разливалось в груди. Нежность? Благодарность? Умиление? Нет, что-то более глубокое, что трудно выразить словами.

Когда машина отошла, она повернулась к нему, растерянная и даже как будто испуганная своей дерзостью, с виноватой улыбкой сказала:

— Мне надо было ехать. В аптеку. И в гастроном... Я приехала, как гостья, с пустыми руками, — совсем по-детски показала ладони. Этот жест ее особенно понравился и обрадовал. Никогда не думал, что такая мелочь может обрадовать, так поднять настроение.

— Ничего не надо. У меня все есть, кроме разве боржома. Вчера привезла Поля Шугачева. Это она вам позвонила?

— Да.

Галина Владимировна вспомнила, что Герасим Петрович не сказал, на сколько времени отпускает ее. Будет сердиться, что ее так долго нет. Но тут же подумала по-девичьи дерзко: «Ну и пускай! Так ему и надо», — и засмеялась своей независимости и бесстрашию. Она уважала Герасима Петровича, но и боялась его. А вот сегодня не боится. Как это хорошо — никого не бояться!

Максим не догадывался, чему она смеется. Подумал, ее

рассмешил его вид.

— Простите, что я с такой бородой.

— Так это ж теперь модно, — и она опять рассмеялась.

Обыкновенные, почти пустые слова, но каждый из них читал в этих словах другой, глубокий смысл, тот, который так был им нужен.

— Нет, для вас я побреюсь.

— Не надо, прошу вас. Вы похожи на ассирийца из учебника истории.

— Да, из истории...

— Не вспоминайте о грустном. — Она вдруг приблизилась и провела мягкой горячей ладонью по его колючей, с блестками серебра щеке. Он взял двумя руками ее маленькую руку, согнул пальцы в кулачок и прижал этот кулачок не к губам, к виску, и она почувствовала на его виске пульс — частый-частый.

XXVI

Сосновский возвращался из поездки по области. Четыре дня месил колесами вездехода весеннюю грязь. Объехал все западные районы, проверял подготовку к весеннему севу. Картина открылась неровная, пестрая. Одни хозяйства вызвали радостное удовлетворение, другие — разочарование. Особенно неприятно, когда подводят те, на кого надеешься. Попадались и такие, Правда, зазнайки эти будут долго помнить его приезд. Распекал он их не за закрытыми дверьми. Там, где не требовались оргвыводы, «подтянул» председателей колхозов и директоров совхозов перед общими собраниями колхозников и рабочих. Собрания эти, не сомневался, запомнят не только руководители хозяйств, но и районное начальство.

Обдумывая результаты своей поездки, пришел к выводу, что уровень подготовки к севу, безусловно, выше, чем в

прошлые годы, — больше порядка, точности, лучше отремонтированы машины, больше на полях удобрений. Значит, залог урожая налицо. Так почему ж не порадоваться? Почему не отдаться весеннему настроению? Сосновский, как все здоровые, жизнерадостные люди, умел приводить себя в доброе настроение даже после крупных неприятностей. А эта поездка дала удовлетворение. Везет целый воз фактов для доклада на пленуме. Это совсем другое дело — свои собственные факты, не то что представленные инструкторами отдела.

Зашлепанный грязью «газик» мчался по подсохшему шоссе. Весеннее солнце под вечер остыло и уже не жгло, а ласково грело щеку сквозь открытое окно. Леонид Минович снял шляпу, подставил солнцу лысину.

Шофер, не одобряя, глянул на секретаря и закрыл окно со своей стороны. Посоветовал:

— Наденьте шапку. Продует. Поросль у вас негустая.

— О небо! Это ты, чертов сын, так говоришь о моей голове?

Шофер засмеялся.

— Не о голове. О лесозащитной полосе.

— Микола! Удивляюсь, как я тебя терплю так долго? Ты без конца намекаешь на наши промашки. Я знаю, какие ты полосы имеешь в виду. Лучше спой.

Случалось, в далекой дороге, когда было скучно и хотелось спать, Микола начинал импровизировать — пел, как тунгус, обо всем, что видел перед собой или увидел за время поездки; своеобразно рисовал людей и события и мог даже пройтись — считал, что в песне все дозволено, — насчет самого Сосновского, показать, к примеру, как тот «промывал» белые косточки «князя Липского», «славного боярина» колхоза «Восход», или «рыцаря железного» «Сельхозтехники», короля

неотремонтированных тракторов.

Леониду Миновичу очень нравились эти импровизации. Слушая их, он хохотал. Но по заказу Микола никогда не пел. Для этого ему нужно было особое настроение.

А если нет песни, анекдота, доброй беседы, думаешь о делах. Куда от них денешься?

Подъезжали к городу, отходили заботы деревенские, подступали городские. Думал о завтрашнем заседании бюро обкома. Очень серьезный вопрос — о перестройке руководства промышленностью, о создании производственных объединений. Работает комиссия во главе с Игнатовичем. Герасим, конечно, наметит существенные мероприятия. Человек аккуратный. Сверхаккуратный. И считает себя лучшим знатоком промышленности, города, руководителем новой формации. Сосновский хорошо знает, что секретарь горкома думает о нем. Ничего дурного. Но признает его компетенцию лишь в вопросах сельского хозяйства. Да еще, безусловно, думает, что, мол, постарел Леня, едет на старом методе. Постарел — это правда. Но не устарел. А что касается методов, то он, Сосновский, считает, что в их работе ни новых, ни старых методов нет, партийная работа — не свод правил и инструкций, старых и новых, а неустанное творчество, ежедневное и ежечасное. Можно применить и ЭВМ. Но если вот эта, полученная от родителей ЭВМ работает не на уровне требований времени, тогда, как говорится, слазь с крыши, не порти гонта.

Вот так, Герасим. Парень ты хороший, современный. Но был бы еще лучше, если б тебе немножко меньше самоуверенности и немножко больше самокритики. И еще одно: если б в дела твои не вмешивалась твоя слишком умная жена.

Сосновский все знал о своих сотрудниках. Не собирал эти сведения специально. Просто в нем жило естественное внимание к каждому человеку, к жизни любого работника. Может быть, поэтому он редко ошибался в подборе кадров, когда подбирал сам, никто

не навязывал.

О Елизавете Игнатович, активной профсоюзной деятельнице, подумал с юмором. Но тут же вспомнил другого человека — Карнача. Без юмора уже. Серьезно. Карнач был на его совести. Это было одно из тех дел, которые он считал незавершенными, к которым собирался вернуться.

Разумеется, с формальной стороны постановление горкома — комар носа не подточит. Все пригнано по-игнатовичски. Карначу можно было дать по шее не только за все вместе, но и по каждому пункту в отдельности. Можно за жену — стоим на страже морали и семьи. Можно за архитектуру — там сам черт ногу сломит, это область, где легче всего белое сделать черным и наоборот. Можно стукнуть за позицию в «привязке» химкомбината — не лезь поперед батьки! Можно даже за казарму, как он называет дом на Ветряной. Секретарь обкома дает указание надстроить, а он, упрямый черт, не визирует постановления исполкома. Можно за дачу — воюем с частнособственническими тенденциями! Можно... если забыть о главном и рассматривать все с высоты своей амбиции или под нажимом разгневанной жены. Он, Сосновский, никогда так не решал судьбу человека. Допустим, для Карнача не такая уж трагедия увольнение. Но улучшится ли от этого архитектура города? Уверен ли ты в этом, Герасим Петрович? Конечно, право горкома заслушать любого работника. Но по всему видно, что решение о главном архитекторе возникло не в процессе обсуждения. Вот это и насторожило, когда Игнатович пришел и сообщил, что бюро горкома освободило Карнача от должности. Все правильно, дорогой Герасим Петрович. Но обычно, будучи человеком осторожным, ты в подобных ситуациях не ставил меня перед фактом, а советовался загодя. Между прочим, это совсем не плохое качество — умение посоветоваться, если, разумеется, качество это не перерастает в обыкновенную перестраховку.

С Карначом Игнатович проявил подозрительную

поспешность. Сосновский сразу же подумал об этом и решил лично поинтересоваться некоторыми деталями этого дела. Покуда неофициально. За две недели о многом узнал. Как, например, шло обсуждение работы архитектурного управления. Как кто себя вел на бюро. Объяснить поведение Карнача можно по-разному: как анархический взбрык, что с ним случалось, и как реакцию человека, который заранее знал свой приговор, знал, что его выступление ничего не изменит, поэтому нечего зря тратить энергию. Тем более что был он, очевидно, нездоров, так как сразу же после бюро свалился — грипп.

Странно вел себя Игнатович. Не по-игнатовичски. Явно неуверенно. Понять его нетрудно.

Заслуживает особого внимания позиция председателя горисполкома Кислюка, который один долго и упорно, как ни нажимали на него, не соглашался — и не согласился! — с предложением об освобождении Карнача от должности. А Игнатовичу очень хотелось, чтоб решение было единогласным. Независимо от того, прав был Кислюк или не прав, он как бы реабилитировал себя перед Сосновским, потому что после истории с квартирой мнение Леонида Миновича о председателе было не из лучших, считал, что выдвижение Кислюка на этот пост — одна из их ошибок. Кислюк как бы подтвердил старую истину: каждый человек загадка, и разгадать ее сразу нелегко.

Он, Сосновский, совсем не хочет бросить тень на других членов бюро, дело сложное и деликатное. Но, может быть, один Кислюк понял, что из-за второстепенного, личного кое-кто забывает о более важном, существенном — интересах города. Конечно, это пока его субъективные соображения и догадки. Их следует проверить. Каким образом? Несомненно одно: сделать надо так, чтоб не дать повода заподозрить его в недоверии к серьезному коллегиальному органу.

— Микола, знаешь, где Волчий Лог?

— Деревня?

— Деревня на шоссе. Садовый кооператив нашего актива.

— У меня у самого там участок.

— У тебя? — Сосновский удивился и разочарованно крякнул. «Вот тебе и знаю людей! Три года езжу с шофером и ни разу до сих пор не слышал ни от него, ни от кого другого о такой немаловажной стороне его жизни».

— Сверни. Посмотрим ваш хутор.

Шофер глянул настороженно: что это секретарю пришло в голову?

Леонид Минович решил слегка пугнуть его за то, что тот так долго скрывал свою частную собственность,

— А что, если мы прикроем эту лавочку? Микола тяжело вздохнул.

— Помрут некоторые.

Сосновский едва удержался, чтоб не захохотать.

— Да ну? Что ты говоришь?

— Моя теща первая отдаст концы. Она только и живет здесь, на земле. В городе на пятом этаже чахнет. Прямо жалко старуху.

Сказал Микола о теще так серьезно, что шутить на этот счет показалось неуместным. Леонид Минович хорошо знал и понимал эту «земельную ностальгию».

Максим услышал шум машины и сверху увидел Сосновского. Подумал с недоумением: «А ему что надобно?» Понаблюдал, как секретарь осматривает его «храмок». Спуститься или не стоит? Решил, не стоит. Если Сосновский приехал к нему, пускай поднимается сюда, в мастерскую. Если же заглянул, чтоб убедиться в нарушении инструкции о садово-огородных кооперативах (нарисует потом сатирическую картинку

в очередном докладе), тем более нечего ему показываться на глаза, а то еще, чего доброго, подумает, что он выскочил навстречу в качестве просителя... милости.

После болезни Максим работал так, как в молодости по окончании института, когда верил, что станет великим зодчим. Великим не стал, однако прожил не без пользы, а потому всегда работал с подъемом и радостью, хотя, конечно, не с тем уже молодым пылом, не по пятнадцати часов в сутки. А эту неделю — именно так. Резал портрет матери... Но, еще лежа в постели, в одиночестве, мысленно завершая портрет, он почувствовал, что скульптура получается неплохой, но это не то, что виделось ему поначалу. Чтоб создать такой скульптурный памятник матери, какой она заслужила своей жизнью, у него не хватит ни умения, ни опыта. Памятник он может создать только архитектурный. И, может быть, как раз в ту минуту, когда мать испускала последний вздох, ему подсказали тему такого памятника. Новое родное село!

В тот день, когда он твердо решил, какой построить матери памятник, и, лежа в постели, начал набрасывать проект, за один день создал общий облик новой Карначовки, у него даже подскочила температура. Это напугало Галину Владимировну, которая приехала навестить больного после работы. Милая и мужественная женщина! Ты очаровала меня и вернула к жизни. Но я тебя боюсь. Боюсь, потому что не уверен, что смогу дать тебе то счастье, какого ты заслуживаешь и которого тебе по-женски так хочется.

Галина — единственное, что тревожило в последние две недели. А больше ничего, потому что все осталось позади, за высоким и трудным перевалом. Впереди солнечная долина, и там величайшая и не имеющая конца радость — работа, которую он любит, которой посвятил жизнь.

Сосновский крикнул снизу:

— Есть тут живая душа?

— Есть! Милости прошу.

— Где ты там? На небеси?

Поднимался по крутой и узкой лестнице тяжело, даже бренчали стекла в легкотипной мансарде. Ворчал что-то. Остановился, явно пораженный необыкновенной комнатой, залитой вечерним солнцем, засыпанной мелкой стружкой, с листами проектов на столе, на стене, на рамах, на стульях и даже на полу. А может быть, и хозяин его поразил, который в ожидании гостя стоял возле витража. Максим отрастил бороду, густую и черную. С такой бородой, в парусиновой робе и в сапогах, он являл собой классический образ цыгана. В руке резец, как нож. Только кнута не хватало.

Оглядев мансарду с неподдельным удивлением, Сосновский посмотрел на хозяина с веселой, доброй улыбкой.

— А вы и впрямь на небе. Что бог Саваоф, Теперь буду знать, как выглядит мастерская бога.

Пожал руку, спросил, кивнув на незавершенную скульптуру:

— Мать?

И, сняв шляпу, минуту постоял, склонив голову. Максима тронуло, что Сосновский знает о смерти матери и так тактично, без слов выразил и свое уважение к ней, и сочувствие ему.

Потом, осторожно ступая, словно боясь что-нибудь сломать, разрушить, Леонид Минович обошел скульптуру и осмотрел уже как произведение искусства, внимательно, с интересом, что тоже понравилось Максиму. Он давно уже открыл, что при внешней грубоватости Сосновский — душевно деликатный человек, куда более тонкий, чем некоторые внешне лощеные люди.

— Что ж вы скрывали свой талант скульптора?

— Потому что я не скульптор. Может быть, мог бы им стать, если б не продал душу неблагодарной музе...

Сосновский посмотрел на хозяина, хитро и озорно прищурившись. Но вспомнил, что пережил Карнач, и сказал серьезно:

— Не такая уж она неблагодарная, ваша муза.

— Архитектура? Что неверная жена. Мучаешься, ревнуешь, бранишь, а все равно любишь.

Сосновский засмеялся.

Но подумал, что Карнач сразу вызывает его на разговор обо всех своих грехах, а он ехал сюда совсем не с целью напомнить о них еще раз, — довольно, что ему поставили в счет все, что надо и что, может, не надо, на бюро горкома.

Сосновский повернулся к листам проекта. Посмотрел один на стене, другой на столе, и Максим увидел, что секретарь вдруг насторожился, как боевой конь, заслышав звуки горна. Быстро пробежал глазами эскизы на стене, перебрал листы, висевшие на стуле, и с ватманом в руке резко обернулся к Максиму, без околичностей, ревниво и почти сердито спросил:

— Для кого?

— Для души.

— Не морочь голову. Такой проект для души не делают. Кто заказал?

— Добрые люди.

Сосновский сердито бросил лист с планировкой, колхозного центра обратно на стул. Сказал не шутя:

— Напрасно вам бюро горкома не записало строгача. Работаете у нас...

— Я не работаю у вас!

Вырвалось это с болью — крик души. Но сказал и похолодел, ведь он решил никуда не уезжать, просить работу в институте. Однако после такого заявления секретарю обкома...

Сосновский тоже почувствовал неловкость: нельзя сейчас кидать такой упрек. Это что соль на свежую рану. Сказал примирительно:

— Насчет выговора я пошутил. Не обращай внимания.

Максим тоже осторожно дал задний ход:

— Это деревня, где я родился. Там похоронены мои родители...

Сосновский снова начал разглядывать листы. Расспрашивал о подробностях. О материале. Прикидывал стоимость. И вдруг стал критиковать довольно строго, отбросив ту щепетильность, с какой говорил о скульптуре.

Максим это сперва воспринял как неожиданный щелчок в нос. Он даже разозлился: «Все великие знатоки. Все лезут в критики».

Но, прислушавшись к замечаниям более внимательно, понял, что Сосновский куда лучше его знает современную деревню, ее нужды, перспективы развития фабрик хлеба, мяса и молока, что он делает очень интересные экономические и демографические прогнозы.

— Не нужна будет вашей деревне такая школа. Поверьте мне, Максим Евтихиевич. По количеству мест. И тип школы у вас старый. Он теперь уже не удовлетворяет. Условия производства, научно-техническая революция требуют совсем другой школы, особенно на селе.

Спорили о жилых домах. Максим стоял за одноквартирные, типа коттеджей. Деревня, мол, есть деревня, и хотя экономически, может быть, выгодно, но абсурдно строить стоквартирные дома. Какой

архитектурный облик будет иметь такой поселок? Два-три дома в чистом поле?

Сосновский придерживался другого мнения. Стоквартирных не нужно, но и разбрасывать деревню на километры, растягивать коммуникации непрактично и невыгодно. Если у сельских рабочих исчезнет потребность держать свиней и кур, людям захочется жить в большем коллективе.

— Но большой дом — это не коллектив. Практика говорит о другом. Наиболее коммуникабельны люди в деревне. И меньше всего — в стоквартирном доме, даже когда жители его работают на одном предприятии,

Долго спорили. Максим забыл, что перед ним секретарь обкома. Перед ним был такой же, как и он, горячий полемист, который высказывался без оглядки на свое положение.

Сосновский все больше и больше раскрывался как глубокий и увлеченный знаток новой деревни. Рассказывал о том, о чем Максим и представления не имел; стало даже стыдно, что, увлекшись идеей, он, опытный архитектор, так по-дилетантски, на одних эмоциях взялся за осуществление столь ответственного заказа. Показалось, что проектировать село проще, чем город. А вот выходит, что нет, не легче, а труднее, многое надо будет изучать специально.

Он взял карандаш и отдельные эскизы стал перечеркивать, над другими ставил вопросительные знаки и тут же на ватмане записывал те замечания Сосновского, с которыми согласился или над которыми следовало подумать.

Солнце позолотило набухшие почки берез, росших под окном. От белых берез на проекты упали красные тени. Должно быть, увидев эти тени, Сосновский взглянул на часы. Проговорили часа два.

— Знаешь, я сегодня не обедал. Как позавтракал в Займище...

Максим смутился.

— У меня нечем вас попотчевать.

— Неужто и хлеба нет? — озабоченно удивился Леонид Минович.

— Хлеб есть. Сало... Лук...

— Ха! А ты говоришь, нечем! Зажирели мы с тобой. Да если к такой закуси прибавить бутылку водки, которая есть у моего Миколы, так можем пировать до утра.

За столом все еще продолжали разговор о проекте села. Но Максим уже не спорил с Сосновским, как наверху, в мастерской, а больше соглашался. Здесь, за столом, он как бы вошел в новую роль — хозяина. Да и дистанцию вдруг почувствовал, неведомо почему. А Сосновскому явно не нравилась эта его покорная учтивость, и он цеплялся, как мальчишка-задира. Начал критиковать дачу, которой обычно все гости восхищались. Критиковал дельно: за несоответствие внешней формы внутреннему содержанию жилья. Тут, внутри, все функционально целесообразно, просто, практично, красиво. А извне — конфетка, сказочный домик. Максим не мог объяснить, что строил он для Веты, которой было тогда четырнадцать лет. И для Даши, которая любит все яркое, необычное. А интерьер делал для себя, для работы. Даже кухню оборудовал на свой вкус.

Максима порадовало, что Сосновский говорит о даче не как об атрибуте окулачивания и перерождения, а как о серьезном архитектурном эксперименте, хвалит то, что стоило бы ввести в практику строительства зон отдыха, и не одобряет того, что делалось для удовлетворения вкуса одного или двух человек. Но такое, казалось бы, далекое, весьма косвенное и ненамеренное напоминание гостя о Вете и Даше почему-то ранило больнее, чем когда он в одиночестве сам думал о них; с любовью — о дочери, с гневом и почти ненавистью — о жене... Чтоб отвязаться от этих мыслей, стал внимательнее слушать гостя, любовался, как хорошо,

по-деревенски вкусно Сосновский ест черствый хлеб, лук и сало.

Потом, как и на бюро, Максим подумал, что ему следует воспользоваться случаем, чтобы помочь Виктору Шугачеву. Рассказал Сосновскому о шугачевской идее Заречного района и о тех трудностях, которые встали перед архитектором.

— Шугачев — выдающийся архитектор, а его затюкали, свели до ординарного. Примите его, Леонид Минович, послушайте... Посмотрите эскизы.

Сосновский слушал внимательно, серьезно, но несколько настороженно. Не сказав ничего насчет Шугачева, вдруг спросил:

— Максим Евтихиевич, вы могли бы остаться на прежней должности?

Максим почувствовал, как непривычно екнуло сердце. Радостно. Никогда не думал, что для него это столь важно — такая реабилитация. Без проборки, без наставлений. И очень тактично: может ли он остаться на должности главного архитектора? Не спросил, хочет ли. Именно, может ли? А в самом деле, может ли он? Ни разу на подумал об этом, считая, что никто не станет возвращать его, а сам он никогда просить не будет — гордость не позволит. Что же ответить на такой совершенно неожиданный и, конечно, непростой вопрос?

— А что скажет Игнатович? Он перестал меня понимать.

— А вы его?

— Да. Это, пожалуй, правильнее, я перестал его понимать. А он всерьез занимается архитектурой.

— Не иронизируйте над нашим братом. Мы не универсалы. И не боги. Мы люди, и каждый из нас может ошибиться.

— Я не иронизирую.

— По нашему самолюбию и гордости бьют иной раз и похлеще.

— Я знаю.

— Тогда должны понять.

«Что же ему ответить? — лихорадочно думал Максим. — Сразу согласиться?»

Нет, не мог. Но и отказаться боялся.

А Сосновский как бы спохватился, что превысил свои полномочия.

— Пораздумай на досуге. Но не считай, что архиепископ Сосновский отпускает тебе все твои грехи, грехи свои будешь замаливать сам, — и, засмеявшись, поднял рюмку. — Давай по последней. А остальное на компрессы оставь. Бороду сбрей, на кой тебе это помело?

У Игнатовича был трудный день. Не по работе. В этом смысле легких дней не бывает. Работы всегда достаточно.

Он правил свой доклад для конференции изобретателей и рационализаторов, которая начиналась через час. В кабинет, как всегда неслышно, вошла Галина Владимировна. Его обрадовало, что ее присутствие опять не мешает ему. Было короткое время, когда оно его раздражало. После того как она попросила разрешения съездить к Карначу. Несколько дней он настораживался, когда она входила, отрывался от работы, опасаясь, что опять услышит от нее что-нибудь неожиданное. Но Галина Владимировна работала, как раньше, ровно и спокойно. И он пришел к решению, что молодая вдова имеет право на интимную жизнь и теперь, когда Карнач уже отрезанный ломоть, он может себе позволить не обращать внимания на ее отношения с бывшим главным архитектором. Только не надо ничего говорить Лизе.

Галина Владимировна сказала:

— К вам хочет зайти директор школы Бондаренко. Не сразу дошло, что это директор той школы, где учится Марина, и он, не отрываясь от доклада, вздохнув, сказал:

— Ох, сколько людей хочет ко мне зайти! Назначьте ему на пятницу.

— Он насчет вашей дочки.

Герасима Петровича словно током ударило. Он несмело поднял голову. Галина Владимировна чуть заметно улыбнулась, как всегда, а ему показалось, что она что-то знает и улыбка у нее недобрая, злорадная.

Он прямо испугался, потому что знал, что самый злой враг не может его так скомпрометировать, как собственная дочь. От Марины можно ждать чего угодно. Не ребенок, а чертенок.

— Позвоните, что я сам зайду в школу.

На конференции он выступал без того подъема, какого требовал такой первостепенной важности вопрос, как научно-технический прогресс и задачи изобретателей. Невнимательно слушал ораторов.

В обеденный перерыв поехал в школу.

У директора была молодая учительница, и Бондаренко попросил его минутку подождать. Это царапнуло по самолюбию, тем более что ждать надо было в учительской, где сидели несколько педагогов; они, конечно, знали, кто он, потому и поглядывали с любопытством.

Выскочила из кабинета учительница, вся красная, и он, не ожидая приглашения, вошел, чуть не столкнувшись в дверях с немолодым, но энергичным, стремительным директором. Бондаренко закрыл за его спиной дверь, и он нетерпеливо спросил:

— Что случилось?

Но заслуженный педагог не спешил с ответом.

— Садитесь, Герасим Петрович. Вы у нас редко бываете, — кольнул-таки. — Помните, вам не нравилась наша обстановка? Ну, как теперь? — развел руками, приглашая посмотреть интерьер его кабинета.

— Теперь хорошо. — Герасиму Петровичу было не до мебели. — Что натворила Марина?

— Я хотел бы, чтобы вы посмотрели наши лаборатории. Мы неплохо оборудовали кабинеты. Не хуже, чем в шестнадцатой показательной, где постоянно сидит все гороно. Если б гороно свое внимание делило поровну...

«Он что, издевается, этот хитрец? Таким способом зазвал меня осматривать кабинеты?» — Все больше настораживали независимость и какая-то чрезмерная уверенность Бондаренко.

— Что с Мариной?

— А что с Мариной? Ничего с Мариной. Марина — дитя нашего времени. Умная. Развитая. Бывает, поленивается. Бывает. Но кто из них не ленится, Герасим Петрович? Если б все старались, то нам, педагогам, нечего было б делать. Марина — остроумная девочка, С юмором. Но юмор — это же драгоценнейшее качество. По мне, так я просто не обратил бы внимания. Мало ли что могут написать дети. Но преподавательница молодая, неопытная, у нее не хватило такта. Она показала сочинение своим коллегам. Устроили коллективное чтение. Поэтому, знаете, я вынужден был вас побеспокоить... Марина не должна так писать... При вашем положении...

Говоря это, директор явно нарочно долго копался в стопке бумаг и тетрадей, искал Маринину тетрадку, обернутую знакомой цветной бумагой.

Герасим Петрович (потом неприятно было вспоминать этот свой жест) почти выхватил тетрадь из его рук.

Прочитал сочинение и втайне с облегчением вздохнул: слава богу, не самое худшее.

Марина с юмором, с недетским юмором, описала, как ее дома воспитывают. Ничего такого, что бы могло его скомпрометировать, но все же в живом рассказе все они — он, мать, брат и сама Марина — выглядят довольно забавно. Раза два он не сдержал улыбки, хотя чувствовал, что директор не сводит с него внимательных хитрых глаз.

— Ну, это ерунда, — сказал Игнатович, дочитав сочинение. Сказал даже как бы с укором: мол, из-за этого можно было бы и не беспокоить.

— Так я и говорю, что ерунда. Но я счел своей обязанностью... Знаете, Марине не следовало бы забывать, кто ее отец. Это единственное, что от нее требуется.... Если вы согласны...

— Да, разумеется... Спасибо вам.

— А юмор — драгоценнейшее качество. Юмор, пожалуйста, не глушите... Кабинеты посмотрим, Герасим Петровичу,

— Нет, к сожалению, не могу. У меня конференция.

— Жаль. Признаться, хотел высказать одну просьбу... Но потом, потом... У вас веселая семья.

— Да, веселая.

— Я вам завидую. У моих детей нет чувства юмора. А как сказал старый одессит: пускай меня ограбят, но с юмором. Будет легче.

На вечернем заседании, вспомнив эти слова директора, Игнатович подумал, что Маринины шуточки насчет воспитания совсем небезобидны, они вовсе не детские, это идет от чужих взрослых и недоброжелательных людей. И он настроился против дочки: хватит ей потакать, совсем распустилась девчонка.

Вечером вместе с Лизой он учинил над Мариной суд.

Марина знала, что за сочинение ей достанется либо в школе, либо дома, а скорее всего и там и там. В классе ей сочинение пока что не вернули, учительница сделала вид, что тетради — ее и еще одной ученицы — забыла дома, даже поахала над своей рассеянностью. Наивные люди эти учителя, да и родители тоже, думают, что она ничего не смыслит и так легко поверит их нехитрой выдумке.

По отцовскому виду Марина сразу поняла, откуда ждать грозы, и подготовилась соответствующим образом. Когда «верховные судьи», отец и мать, вызвали ее на допрос, у нее уже была выработана тактика.

— Марина, я прошу серьезно выслушать то, что мы тебе скажем.

— Я всегда серьезна, мамочка, — послушно ответила дочка и даже реверансик сделала; потом ругала себя, что перехватила и испортила интересный спектакль, потому что отца, очевидно, взорвал этот реверансик и он заговорил строго, без предисловий:

— Ты что написала?

Она попробовала продолжить игру:

— О чем ты?

— Ты не знаешь о чем?

— Каюсь, папочка, первый раз написала записочку. Все девочки давно пишут.

— Какую записочку?

— Толику Баранову. Любовную.

— О боже, — простонала Лиза.

Но Герасима Петровича любовная записочка мало волновала, он отгадал дочкину хитрость, его не

обманула ее притворная покорность, не так она обычно разговаривала с ними.

— Не прикидывайся дурочкой. И не заговаривай мне зубы. Я говорю о сочинении...

— А-а... А я ломаю голову, почему эта бестолковая Тамара не отдала мне тетрадку. Она показала ее Ивану, а Иван принес тебе. Не стыдно им из-за таких мелочей беспокоить секретаря горкома? Я на твоем месте...

Не выдержала мать, гневно закричала:

— Марина! Гадкая девчонка! Как ты говоришь об учителях?!

— А как о них надо говорить?

Герасим Петрович ходил вокруг стола, едва сдерживая гнев.

Лиза и Марина сидели за столом друг против друга, и дочка улыбалась так, будто жалела мать.

— Ты чересчур грамотная!

— А как же, папа! Меня ведь учат. Дома... В школе...

— Брось кривляться, чертово семя!

— Если вы хотите, чтоб я молчала, я буду молчать. Я послушная. И я чертова, а не ваша...

— Нет, ты полюбуйся, какую цацу ты вырастила!

— Я вырастила? Вместе растили.

Не хватает еще поссориться с женой!

Герасим Петрович промолчал, походил, заложив руки за спину.

— Нет, ты хоть понимаешь, что ты написала?

Марина изменила тактику и перешла в наступление:

— А что, разве неправду?

— Ты компрометируешь меня и мать!

— Что ты, папа! Я просто хотела показать, какую глупую тему нам дали: «Я и мои родители».

— Чем же она глупая? — спросила Лиза.

— Пускай бы они лучше дали «Я и мои учителя». Вот бы я им написала! Они бы там в обморок все попадали в учительской. Во главе с заслуженным... Лежали бы без чувств.

Герасим Петрович схватился за голову. Крикнул жене:

— Нет, ты послушай, что она говорит! Ты вдумайся!

Не впервые Герасим Петрович с горечью сознавал, что он, которого слушаются взрослые, серьезные люди, кто своей железной, как говорит Довжик, логикой может убедить любого и словом своим поднять на большие дела тысячи, не может справиться с одной девчонкой, собственной дочерью, и часто чувствует себя перед ней безоружным и беспомощным. Какой метод воспитания применить? Дедовский ремень! Но попробуй ударить такую чертовку! Она и правда может пожаловаться Сосновскому. Ведь угрожала! И даст Лене пищу для его неуместных шуток.

Тут Герасим Петрович увидел, что Марина достает из кармана фартучка вату и засовывает себе в уши.

— Ты что делаешь?! — крикнул он так, что Лиза испуганно подскочила, не сразу сообразив, что его так взорвало.

— Затыкаю уши, — спокойно ответила Марина. — Боюсь за перепонки.

Терпение лопнуло, и он, наверно, дал бы дочке добрую оплеуху впервые в жизни, но его остановил резкий телефонный звонок.

Он на мгновение замер, но, когда к телефону двинулась Лиза, бросился сам, понимая, что это спасение от позорного поступка. В трубку крикнул сердито:

— Слушаю!

— Что так грозно? — раздался насмешливый голос Сосновского.

— Простите, Леонид Минович.

— Почему запыхался? Оторвал от приятного дела?

Как, может быть, никогда, Игнатовичу хотелось крикнуть: «Пошел ты... со своими шуточками!»

— Да нет, ничего. Смотрю телевизор.

— Счастливый человек. Что нового?

— Да, кажется, ничего такого...

— А я только что из районов. Заехал в обком и узнал новость. Есть постановление Совета Министров о строительстве комбината в Озерище.

— Я знаю.

— А я хотел тебя обрадовать. Карнач проявил высокую принципиальность, написав письмо. В то время как многие из нас «хенде хох» перед министерством. Будем честны и скажем ему спасибо. Карначу. Это тот вариант, когда и волки сыты, и овцы целы.

Холодный пот залил спину. И ноги — как чужие. Не находил нужных слов. Что ответить на это? Пауза затянулась, и Сосновский окликнул:

— Алло!

Наконец, кажется, пришло то, что надо сказать:

— Карнача освободили не из-за комбината.

— Однако, признайся, ставили и это лыко в строку.

Грехи подбирать мы умеем. Слушай, ты уверен, что мы с тобой в данном вопросе оказались Соломонами?

Игнатович разозлился. Опять «мы с тобой»...

— Людей надо воспитывать. Особенно таких...

«Какой глупый ответ. Что это со мной? А толстяк уже обрадовался...»

— Золотые твои слова, Герасим, — весело прогудел Сосновский. — Но, надеюсь, ты не считаешь, что выбросить человека — это лучший метод воспитания. Ведь не считаешь?

Герасим Петрович вытер лоб. И Сосновский точно увидел этот его жест.

— Нелегко, Герасим, нам с тобой. Понимаю, Но давай подумаем, как самим исправить сделанное. Мы, конечно, можем поправить вас официально. Но зачем это вам? Это уже, как говорится, щелчок в нос. А вы люди взрослые, серьезные, ответственные... Сами умеете исправлять свои ошибки. Поговори с членами бюро... А потом съезди к Карначу, пока его не переманил кто-нибудь из добрых соседей. Такие кадры на земле не валяются. Он у себя на даче. Кстати, знаешь, что он хворал? Конечно, знаешь. Попроси его вернуться.,.

— Попросить? — прошептал Игнатович и сам испугался, что так нелепо выдает себя и так нерешительно, как школьник, держится. Нет, он будет спорить, не соглашаться! Пускай возвращают Карнача, но баз него! Он не пойдет на такое унижение!

В голосе Сосновского послышался смех, этот старый зубр и по телефону видит каждый его жест, выражение лица.

— Ладно. Разрешаю. Попроси от моего имени. Так тебе будет легче. Договорились? Алло! Ты слышишь?

— Я слушаю, Леонид Минович.

— Значит, договорились. С умным человеком легко говорить. Ну, будь здоров. Смотри телевизор. Алло, алло! Между прочим, насколько мне известно, коровы у него на даче нет. И самогонного аппарата тоже. Учти это, когда поедешь.

Игнатович опустил трубку и какое-то время смотрел на нее.

Лиза, которая внимательно следила за мужем, по его коротким репликам поняла, о ком идет речь, догадалась, в каком духе, и, взволнованная не меньше его, нетерпеливо спросила:

— Что он сказал?

Герасим Петрович бросил трубку на рычаг и крикнул:

— Сказал, что ты и твоя сестра... — но увидел дочку и осекся.

А Марина поднялась, собираясь уйти к себе в комнату, и с язвительной улыбкой сказала:

— Говори смело, папа. У меня заткнуты уши. Герасим Петрович испугался сам себя. Выскочил в коридор, схватил с вешалки плащ, забыв шляпу, и выбежал на площадку; перепрыгивая через четыре ступеньки, слетел вниз. На улице жадно, словно вырвался из чадного помещения, полной грудью вдохнул влажный — с реки — воздух.

Вечер был чудесный. Весна. Можно и погулять, Полюбоваться городом.

1970—1974

Послесловие

Художник современности

Известно, что Иван Шамякин — один из наиболее читаемых белорусских писателей, и не только в республике, но и далеко за ее пределами. Каждое издание его произведений, молниеносно исчезающее из книжных магазинов, — практическое подтверждение этой, уже установившейся популярности. Шамякин привлекает аудиторию самого разного возраста, мироощущения, вкуса. Видимо, что-то есть в его творчестве, близкое и необходимое не отдельным личностям, или определенным общественным слоям: рабочим, интеллигенции и т. д., а человеческому множеству. И, видимо, это «что-то» и есть как раз то, что не разъединяет людей, а объединяет их. Не убоявшись показаться банальной, осмелюсь назвать это «нечто» художественными поисками истины. Качество, безусловно, старое, как мир, но и вечно молодое, неповторимое.

Широко распространено мнение о том, что Иван Шамякин — писатель, которого влекут не установившиеся явления, а жизнь, еще полная брожений, проблемы, только наметившиеся в действительности и настоятельно требующие разрешения. Для того чтобы увидеть жизнь в ее каждодневных изменениях, в ее становлении и движении, нужна особая художественная зоркость писателя-гражданина, максимальная ясность общественной и нравственной позиции, осознанность эстетического идеала. Лучшие книги Ивана Шамякина свидетельствуют о гармоничном сопряжении в его творчестве острой публицистичности и психологической достоверности.

Творчество писателя отличается глубокой проблемностью, постановкой вопросов поистине государственного значения, которые не могут оставить нейтральными ни одного социально мыслящего человека. НТР и индивидуальный творческий процесс, природа и человек, судьба сельского хозяйства в технический век, принципы партийного руководства, социалистическая мораль, мера мужества человека на войне и в мирное время — вот далеко не полный круг

проблем, художественно исследуемых писателем.

Иван Петрович Шамякин родился 30 января 1921 года в семье крестьянина-лесника на Гомельщине. В 1940 году окончил техникум строительных материалов в Гомеле и был призван в армию, в зенитные войска. Война застала его на Севере, в районе Мурманска. После войны работал сельским учителем на Гомельщине, руководил территориальной партийной организацией. Это дало ему возможность глубоко и детально изучить жизнь белорусской деревни. Писать И. Шамякин начал еще до войны. Но окончательно сформировали его как писателя школа войны и опыт трудных послевоенных лет.

Шамякин современен в лучшем смысле этого слова. Используя известное изречение Достоевского, можно сказать, что он буквально «одержим тоской по текущему». По горячим следам войны написан роман «Глубокое течение» (1948), удостоенный в 1951 году Государственной премии СССР; тогда же, в 40—50-е годы, создан цикл партизанских повестей «Тревожное счастье»; в 1956 году выходит роман «Криницы», где на животрепещущем материале современности раскрыты остроконфликтные ситуации белорусской деревни середины 50-х годов; 1963 и 1970 годы отмечены появлением романов «Сердце на ладони» и «Снежные зимы», в центре которых — проблемы нравственные, где такие качества, как честность, принципиальность, гражданское мужество, выверяются по самым высоким критериям — критериям народной войны против фашизма.

Следует отметить, что даже тогда, когда Шамякин пишет о войне с определенной исторической дистанции, как, например, в самых последних повестях — «Брачная ночь» (1975), «Торговка и поэт» (1976), — он старается максимально приблизить ее к читателю, как бы напоминая, что это тяжкое время бесследно не прошло и не может уйти в небытие. Да и как иначе может писать человек, сам прошедший войну до последнего победного ее часа!

Иван Шамякин одинаково плодотворно работает как в малых жанрах, так и в крупной эпической форме. Свидетельством этому — составившие данное издание роман «Атланты и кариатиды» (1974) и повесть «Торговка и поэт» (1976).

Герой романа «Атланты и кариатиды» Максим Карнач — по профессии архитектор. Пожалуй, архитектура — именно та сфера современной действительности, где наиболее остро проявилось реальное противоречие, которое существует между принципом утилитарной пользы и принципом красоты. В романе это противоречие предстает перед читателем в конфликте между Карначом, отвергающим проект «посадки» химического комплекса близ города, и защитниками экономической выгодности крупного промышленного предприятия для развития областного центра. Максим Карнач, как сейчас принято говорить, «деловой человек». Но он, не в пример другим «деловым» героям, лишен утилитаризма, он мыслит широко, перспективно, умеет жить будущим, а не только настоящим днем. Карнач решительно выступает против «бога, имя которому — экономия», «бога мудро созданного людьми, но, как многие боги, превращенного в идола — в закостенелый эталон во всех сферах деятельности». Казалось бы, сугубо градостроительная, узко профессиональная проблема решается писателем и как эстетическая и — главное — как проблема духовная.

Максим Карнач, на мой взгляд, наиболее яркий, полнокровный и привлекательный из героев Ивана Шамякина. Нет, это отнюдь не «розовый» характер, идеальным героем его не назовешь. Но все его недостатки, ошибки искупаются полнотой жизни, заключенной в этом человеке, обаянием незаурядной, талантливой личности. Роман «Атланты и кариатиды» довольно густо заселен, но эта «густота» не превращается в пестроту безликих персонажей. Столкновение с богатой, многогранной натурой главного героя высекает из каждого персонажа романа искру его своеобразия, индивидуального отличия. Совсем немного страниц уделено Прабабкиным, но как

колоритны их образы!

В связи с образом Максима Карнача в «Атлантах и кариатидах» возникает очень важная и интересная проблема — проблема талантливой, творческой личности, ее взаимоотношений с окружающим миром. Эта проблема разрешается Иваном Шамякиным не только в этической плоскости, но и в социальной. Экономически развитое общество с высоким материальным уровнем таит в себе опасность возникновения у некоторой части его населения потребительской психологии. Ее признаки многообразны, но главным является отсутствие самоконтроля совести, стремление прожить за чужой счет (неважно, духовно или материально). В одном из разговоров Максим Карнач с иронией замечает, что деньги всегда можно найти, но всегда ли можно найти при помощи денег (или связей, или приспособленчества — автор этого прямо не говорит, но это вытекает из контекста) новое в архитектуре? Мысль эта, конечно же, не нова, однако время от времени ее надо повторять, чтобы человечество не забывало об этом. В свое время она прозвучала в статье Д. И. Писарева о Базарове. «Карьеры, пробитые собственною головою, всегда прочнее и шире карьер, проложенных низкими поклонами или заступничеством важного дядюшки, — писал критик. — Благодаря двум последним средствам можно попасть в губернские или столичные тузы,, но по милости этих средств никому, с тех пор как мир стоит, не удавалось сделаться ни Вашингтоном, ни Гарибальди, ни Коперником, ни Генрихом Гейне».

Эта мысль и получила художественное развитие в романе Ивана Шамякина. Секретарь горкома Игнатович спешит убрать Максима Карнача с поста главного архитектора города, не понимая, что и вне этого поста Карнач останется самим собой, потому что нельзя снять его с поста таланта, с поста партийной принципиальности. Не то же ли самое происходит и с Антонюком в «Снежных зимах»? Освобожденный от высокой должности, он не освобожден от своей совести, от долга перед партией, народом. И ведь не он,

персональный пенсионер, человек «не у дел», боится Будыгу, директора крупнейшего института, а Будыга боится его, ибо его положение, его социальный статут завоеваны не столько личными достоинствами, сколько обходными, окольными путями.

Максим Карнач не боится ничего и никого, истоки его гражданского мужества не в идеализме или жизненной неопытности, а в осознании нужности своей личности, своего таланта обществу. Бездарный Макоед, успешно подсиживающий главного архитектора, даже в момент триумфа трусит от сознания своей внутренней неполноценности, от, быть может, даже стихийного ощущения, что он занимает не свое, чужое место.

Следует сказать, что в процесс поиска истины в произведениях Шамякина так или иначе втянуты все персонажи. И, пожалуй, не меньшую роль в этом процессе играют те, кто участвует в нем негативно, как, например, Гукан в романе «Сердце на ладони» или секретарь горкома Игнатович в «Атлантах и кариатидах». Писатель показывает людей разных профессий, но его интересуют, естественно, не деловые качества героев сами по себе, но сопряжение (или, наоборот, конфликт, разъятие) нравственно-индивидуальной и, как сейчас принято говорить, производственной ипостасей личности. В романе «Атланты и кариатиды» изображены два типа партийного руководителя — Сосновский, человек масштабного, государственного видения, и Игнатович — человек узко-прагматических воззрений. Образ Игнатовича не однозначен, по-своему он даже драматичен, как и образ Гукана. Субъективно честный, Игнатович объективно оказывается честным из трусости. Неспособный на риск, на дерзкий эксперимент, боящийся новых, не апробированных в высших инстанциях решений, Игнатович показан автором как человек несостоятельный. Создав этот образ, писатель раскрыл определенные явления в нашей действительности и вынес им свой нравственный приговор. Приговор, вынесенный Игнатовичу как не единичному, а социальному явлению, нелицеприятен и

бескомпромиссен. Это свидетельствует о том, что писатель связывает свои надежды на общественный прогресс с людьми талантливыми, активными, внутренне раскованными, не страшащимися заблуждений, ошибок и даже падений.

Механистичность, автоматизм мышления страшны, они разъедают не только отдельного человека, но подрывают устои самого общества. Угроза нивелировки личности почувствована Шамякиным остро и точно. Может быть, именно эта опасность заставила писателя в век научно-технической революции со всеми его достоинствами и издержками искать свой идеал в натурах необычных, ярких, одаренных.

Казалось бы, нет никакого сходства между двумя произведениями И. Шамякина, помещенными в этой книге. Разное время, разные обстоятельства, герои из разных социальных слоев. И, однако, мне кажется, есть нечто общее между Максимом Карначом и Ольгой Авсюк, героиней повести «Торговка и поэт». Непосредственность души, стихийность жеста и поступка, внутренняя освобожденность от среднеарифметического регламента поведения. На первый взгляд, все в Ольге предельно ясно и просто. Торговкой была ее мать, известная всему Минску предприимчивая Леновичиха, торговкой стала дочь и легко внушила себе, что торговцам все равно, в чьих руках власть.

Начинается Великая Отечественная война. Как «кошка», как «волчица», мечется Ольга по пустынному Минску, оставленному без властей (свои уже ушли, а немцы еще не вошли в город), в поисках продуктов, хлеба, вещей. Вот она — в числе грабителей продовольственного магазина, вот — сгибаясь под непомерной тяжестью, тащит мешок с хлебом, вот мародерствует (иначе не назовешь) в оставленной беженцами квартире. Но пройдет несколько месяцев, и в феврале 1942 года Ольга поведет полицая Друтьку в партизанский отряд, и по дороге тот покажет немцам награбленное имущество. Из его мешка «высыпались

детские штанишки, рубашечки, кофточки, чулочки, туфельки, много туфелек, пар, может, двадцать, самых разных — белых, красных, черных, со стоптанными каблучками, облупленными носочками...» И она швырнет в него единственную гранату, которую припасла себе, не понимая для чего. Можно сказать наверняка — не покажи полицейский Друтька содержимого своего мешка, и, глядишь, довела бы его Ольга благополучно до партизанской зоны и сдала бы в руки законного суда, и сама бы осталась жива. Более рациональный человек в такой бы ситуации стиснут зубы и промолчал, переждал, чтобы потом расквитаться с врагом, ведь положение отнюдь не безвыходное. Но не такова Ольга. Не случайны эти слова: «Не было уже силы, которая остановила бы ее». Кто знает, что ощутила она в эти последние мгновения своей жизни — увидела пухлые щечки, ручки, ножки своей маленькой дочери, а может — и ту плотину, что строили дети на одной из пустынных улиц Минска. Но очевидно одно — Ольга не думала погибать, она не шла сознательно на подвиг. Ольга погибла во имя того, чтобы не остановилась жизнь, и в финале повести образ «торговки» поднимается Иваном Шамякиным до символического обобщения: «Она собрала последние силы и попробовала встать. Но тогда... серое облачное небо сделалось кроваво-красным и вдруг обрушилось — все огромное небо — на нее одну...»

Вот так же несколько месяцев назад на нее одну обрушилась война. Ольге двадцать лет, отец и мать умерли, муж и брат на фронте, второй брат — совсем чужой человек. И Ольга спасает себя и дочь, как может, как научила ее в свое время мать. «Эта животная жажда самоспасения в человеке — ужасна», — говорил Достоевский. И Шамякин не боится показать Ольгу отталкивающей.

Кто же такая Ольга? Ведь она и торговка не из рядовых. Она и торговала, и жила с азартом, с выдумкой. Личность незаурядная, но анархическая, стихийная, она направила свои способности в узкое русло приобретательства. Конечно, она училась в советской

школе, она родилась и выросла при Советской власти, но ее, Ольгу Леновичиху, никак нельзя было причислить к передовой довоенной молодежи. Нет, она была как раз в самых последних ее рядах. Были и такие. Но и они оставались неотъемлемой частью народа. У таких, как Ольга, убеждения не были четко сформулированы, однако было в ней пусть неосознанное, но верное ощущение социального добра и зла.

Ненависть к оккупантам у Ольги органична, она возникает сразу же, как только впервые Ольга увидела одного из новых «хозяев» на рынке. Ольга — торговка, приобретательница, но она и труженица. А у тех, кто трудится до седьмого пота, есть врожденное чувство справедливости, ненависть к тем, кто стремится забрать то, что тебе так нелегко досталось.

На первый взгляд кажется, что материал повести дает возможность разговора об эволюции героини. Действительно, как будто Ольга меняется, растет, становится более сознательной. Но дело тут не в эволюции характера Ольги, а в той борьбе противоположных начал в душе героини, которая и есть основа этого характера. Ольга иррациональна по сути своей, ею руководит не разум, а инстинкт. В ней, как в самой жизни, все перемешано — и хорошее, и плохое, и правда, и ложь, и добро, и зло. Все в этом мире действует на Ольгу опосредствованно, не через разум, а прямо в сердце, наповал. Там, где срабатывает инстинкт самосохранения, она еще бессознательно ищет выгоду для себя, но в каких-то самых главных проявлениях жизни Ольга способна столь же бескорыстно забыть о себе, сколь корыстно, но тоже неосознанно она думала о своей выгоде минуту назад. Так случилось в лагере для военнопленных. Только что Ольга накричала на Лену Боровскую, решила идти назад, в Минск, но вот она увидела страшную картину, и ей захотелось непременно спасти хоть одного из этих несчастных. Так неосознанно а стихийно вспыхнуло в ней и чувство сострадания к Олесю, самому слабому, самому бессильному из тех, кого она увидела в лагере.

С замиранием сердца она слушает стихи, которые ей читает Олесь, а на другой день — она вновь Леновичиха, «волчица».

Писатель ничего не скрывает в своей героине — ни хорошего, ни плохого. Эгоизм и жажда справедливости борются в ее душе, и побеждает последнее. И щедрость, и расчетливость у Ольги — всегда неожиданны, экспромтны. Сегодня она, испуганная ночным вторжением немецких солдат, может обругать Олеся «большевистским выродком», а спустя несколько дней согласится стать партизанской связной. И ведут Ольгу по этому пути не ее убеждения, а горячее, органично, стихийно, где то в самой последней глубине сердца возникающее сострадание к человеку.

Ольга в начале повести предстает перед нами как существо сильное, но связанное бесчисленными путами эгоизма и просто безотчетной жажды выжить. Но как свойственна человеку любовь к самому себе, так свойственно ему и стремление к истине. Оказавшись лицом к лицу с войной, став свидетельницей гибели сотен безвинных людей, Ольга освобождает себя из плена своего эгоизма, очищается. Короче говоря, становится самой собой — человеком.

А кто же в повести «поэт»? Олесь? В какой-то степени — да. Но, думается, это понятие «поэт» в повести намного шире: не случайно, видимо, характер Олеся очерчен писателем несколько схематично. Поэзией овеяны и образы подпольщиков: Евсея, его жены Янины, Захара Петровича. Она, поэзия, явлена в повести как некая возвышенная субстанция, с которой Ольга соприкоснулась именно в тот момент жизни, когда темная душа ее так нуждалась в духовном насыщении. События войны, неимоверные страдания, обрушившиеся на людей, требовали какого-то нового, неведомого доселе Ольге объяснения, они не вмещались в рамки привычной ей материальной, практической причинно-следственной связи. Именно сейчас она не умом, а всем своим существом поняла, что, кроме идеала сытости, существует какой-то иной

идеал, который не съешь и не наденешь на себя, но без представления о котором не ответишь на простой, казалось бы, вопрос: «За что погибают люди, за что убивают детей? Почему на твоей земле бесчинствуют иноземцы?»

Повесть «Торговка и поэт» — о войне, но не только о войне, она еще и о том, как прозревает человек, познавший подлинную духовность. Повесть многогранна и многозначна. Рассказывающая о событиях войны, она обращена в современность. И образ ее героини современен так же, как образы героев «Атлантов и кариатид». И в этой повести, как и во всех своих предыдущих произведениях, писатель создает характеры яркие, крупные, органичные.

Более тридцати лет работает в литературе народный писатель Белоруссии Иван Шамякин. Созданы десятки романов, повестей, рассказов, пьес, которые в совокупности составляют художественный очерк жизни советского общества середины XX века.

Г. Егоренкова

1. Герой комедии А. Макаёнка «Извините, пожалуйста».

2. Архитектурно-планировочное задание.

Падрыхтаванае на падставе: Иван Шамякин, Атланты и кариатиды. — Москва: Известия, 1978, Библиотека "Дружбы народов"

Новый роман писателя — «Атланты и кариатиды» — посвящен людям, строящим новый, социалистический город. Судьба главного архитектора города Максима Карнача, его труд, семейная жизнь, морально-этические проблемы, которые ему приходится решать, и составляют сюжетную основу романа. В издание также вошла повесть "Торговка и поэт".